Новый Журнал

XXXIII

Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Двенадцатый год издания



Кн. XXXIII

1953

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

ОГЛАВЛЕНИЕ:

М. Алданов — Повесть о смерти 5
А. Величковский — Рассказы 62
Г. Газданов — Пилигримы 70
Ю. Марголин — Галя 107
СТИХИ: — Георгия Иванова — Дневник (март-май 1953), Марины Цветаевой, Вл. Злобина, И. Легкой, Г. Глинки, Л. Алексеевой, А Васильковской *124*
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
В. Вейдле — О религиозном корне русского искусства 134
Г. Кохановский — История янтарной комнаты Царскосельского Екатерининского дворца 144
Вяч. Завалишин — Съезд партии и «рецидив буржуазного декаданса» в литературе 158
З. Юрьева — Новолунье (о поэзии К. Вежинского) 168
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:
Б. Погорелова — Валерий Брюсов и его окружение 176
Р. Березов — По советской провинции 199
З. Гиппиус — Серое с красным 211
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:
Н. Лосский — В защиту Вл. Соловьева 226
Е. Занкевич — Вл. Соловьев, как публицист 238
Д. Анин — Французская компартия, попутчики и Ж. П. Сартр 252
Н. Тимашев — На карательно-террористическом фронте... 263
М. Карпович — Комментарии 272
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:
М. Вишняк — Н. Д. Авксентьев (к 10-летию со дня смерти).. 287
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:
А. Тарсаидзе — День рождения Красной Армии 292
БИБЛИОГРАФИЯ:
Ю. Сазонова — И. Бунин «Весна в Иудее», «Митина любовь» и М. Алданов «Живи как хочешь». *М. Карпович* — П. Струве «Социальная и экономическая история России» и B. Nolde "La formation de l'Empire russe". *Б. Филиппов* — Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки». *Роман Гуль* — Н. Нароков «Мнимые величины». *Н. С. Тимашев* — А. Гольденвейзер «В защиту права». *В. Коварская* — M. N. Kelly "Mirror to Russia" и "Picture Book of Russia". *З. Юрьева* — Н. Федорова «Семья». *В. Булгакова* — Michael Chekhov "To the Actor". *Ю. Иваск* — В. Яновский «Портативное бессмертие». *А. Ш.* — Вестник Русского Христианского Движения. *Вяч. Завалишин* — Б. Пантелеймонов «Последняя книга» и С. И. Гусев-Оренбургский «Глухой приход» 298

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.
317

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ*

I

Храни же в должных пределах выражение подлинного горя.

Плутарх

Тятенька заставил Лилю отложить возвращение в Киев. К нему присоединились Дарья Петровна и Нина, принявшие большое участие в ее горе.

— Что же нам сейчас туда ехать? — говорил Тятенька. – Бедная мама давно похоронена. Дом еще заражен. Я написал, чтобы сделали всё нужное, но так быстро это не делается. Да и как бы ты там жила? Одна? Без прислуги? Или ты хочешь, чтоб и слуги заразились? И я? — спрашивал Тятенька, зная, что это сильный довод.

— Нет, не хочу, — отвечала, заливаясь слезами, Лиля. Он сам долго рыдал после того, как пришло известие о смерти Ольги Ивановны.

— Вот, подождем, скоро дом будет очищен от этой проклятой заразы, вернется папа, выедем туда и мы.

Оставаться в Петербурге было Лиле очень тяжело. Из сочувствия к ней Дарья Петровна и Нина тоже почти никуда не ездили и почти никого не принимали. «Конечно, им это скучно и неудобно, покойная мама была им почти чужой человек. Я им теперь в тягость, как они ни деликатны и как ни

* См. Кн. 28, 29, 30, 31 и 32-ю «Нов. Журнала».

Copyright 1953 by "New Review". All rights reserved.

упрашивают меня остаться. Но и Тятенька ведь тоже прав», — думала она, не зная, что ей делать. До сих пор вся ее жизнь проходила по указаниям родителей, особенно матери. Теперь она должна была сама всё решать. Между тем точно рассчитать день приезда отца в Киев было невозможно; он на их письмо не ответил, они даже не были уверены, что он успел его получить во Флоренции. Таким образом они вернулись в Киев несколькими днями позднее его.

Обратный путь был так же печален, как чудесна была поездка в Петербург. Они проезжали по тем же самым местам останавливались в тех же гостиницах, и каждая остановка была связана у Лили с воспоминаньями о Яне (теперь она мысленно выпускала «мосье»). Дарья Петровна при ней ни разу о нем не упомянула, и это как бы подчеркивало, что она обо всем догадывается. Нина уверяла Лилю, что всё кончится отлично: «Я уверена, что ты за него выйдешь! Конечно, не теперь, а через полгода или через год». Как ни утешительны были эти слова, Лиля всякий раз прекращала разговор: теперь и думать об этом нельзя. Но Нина, хорошо ее понимавшая, говорила то же и на следующий день. Романтизм письма симпатическими чернилами немного действовал и на Нину.

Лиля была очень дружна с Ниной, искренне ее любила, но находила, что уж очень они непохожи одна на другую. «Тятенька шутит, что Ниночка всем хочет показать: «Какая я умная, гордая, решительная и необыкновенная девушка!». Уж этого я не знаю, но у Ниночки всё ясно. Она хочет выйти замуж за богатого, знатного человека, хочет бывать на балах, обедах, приемах, хочет, чтобы ее дети получили самое лучшее воспитание, в Смольном, в Пажеском корпусе. Всего этого она верно и добьется. Конечно, она предпочла бы выйти замуж по любви, по той безумной страсти, о которой она говорит. Но если придется выбирать, то она без любви выйдет за богатого аристократа. Нина не любит Яна, да если б и любила, то никогда за него не пошла бы. Она уже несколько раз могла выйти замуж, так она умна, красива, так хорошо умеет делать что нужно. Я ничего не умею, мне теперь и не нужно ничего.

Мне нужен только он... И как только я могла в Киеве думать обо всяких пустяках!.. Быть может, если б не Ян, то и я была бы точно такая же, как Ниночка, как все. Ведь все хотят того же, что она, и я прежде хотела этого, только никому не говорила. Но я знаю, что для него это пошлость и грязь»...

В дороге Тятенька опять обдумывал вслух обеды, сам жарил шашлык, перед сном говорил: «Совершаем возлиянье — благодатному Морфею». Лиля понимала, что он другим быть не может. Тятеньке просто не приходило в голову, что из за несчастья, хотя бы и самого тяжкого, можно не придавать значенья обеду, сну, удобствам жизни. Как всегда, он много ел, много пил, много болтал, и это было неприятно Лиле. Еще неприятнее было то, что она сама ела, пила, иногда даже печально улыбалась его шуткам. Раз как-то в роще их застала гроза. Тятенька продекламировал из Тредьяковского:

С одной стороны гром,
С другой стороны гром!
Страшно в воздухе!
Ужасно в ухе!

Впрочем, сам почувствовал, что сделал некоторую бестактность, и часа два грустно молчал. Вспоминал Ольгу Ивановну и думал, что верно сам скоро умрет. «Не надо об этом думать, всё равно ничего не поймешь... В Киеве помянут добрым словом. В ведомостях будет и некрология. Что-то они соврут? Суворов, когда умирал, подозвал к себе родственничка — поэта Хвостова и сказал: «Пожалуйста, одолжи меня, друг: не сочиняй стихов на мою смерть»... Нет, что ж, некрологии хороший обычай. Главное в жизни доброта, а я, кажется, никому зла не делал и не желал... А может, и правы люди: вдруг на том свете все сойдемся! Вот и Костя так думал. Там будет видно... А я говорил Оленьке об уютности ее жизни, вот тебе и уютность!..». Он вспомнил: «Выпьем, Тятенька, китайской травки» и украдкой смахнул слезу. «Нет, скорее всего т а м ничего не будет. Прибавится только цветов на Оскольдовой»... Он оживился лишь перед новой остановкой.

«Что ж, я до конца буду любить эту землю, эту жизнь. Прожил семьдесят с хвостиком», — Тятенька предпочитал хвостика не уточнять и в мыслях, — «и еще, Бог даст, поживу»..

Как ни стыдно это было Лиле, она всю дорогу беспокоилась о письме Яна. «Теперь оно пропадет! Ведь он хотел написать бедной маме. Не отошлет ли почта назад?». Ей хотелось спросить Тятеньку, что почта делает с письмами в таких случаях. Но задать этот вопрос было невозможно.

В той комнате, в которую Виер тогда принес ей книгу Жорж Занд, Тятенька ей теперь советовал «посыпать постельку порошком, поскорее лечь и хорошенько отдохнуть». Потушив свечу, она долго думала о Яне, всё вспоминала его улыбку. Он улыбался очень редко, улыбка молодила его лет на десять. Хотя Лиля презирала «мальчишек», его улыбку всегда принимала как награду.

Рано утром снова прошел ливень. Лиля вышла в садик гостиницы и долго смотрела на радугу. «Как хорошо! Воздух какой!.. Мама говорила, что радуга залог... Не помню, какой залог... Не может быть, чтобы я за него не вышла! Неужели Бог над нами не сжалится? Может быть, это залог и для нас? Может быть, мы когда-нибудь опять поедем с ним по этой дороге, остановимся в этой гостинице. И опять будет дождь, и опять в небе появится эта дивная радуга, и я скажу ему, что здесь же в садике у вишен смотрела на нее, не понимала и никогда не пойму, что́ это такое, но думала о нем, думала, что она залог между нами и что, может быть, и он ее теперь видит и хоть немного думает обо мне».

Встреча на Шелковичной была очень волнующей. Константин Платонович выбежал им навстречу. Лиля и Тятенька чуть не ахнули, увидев его: так он изменился. Они плакали, обнимаясь, еще на улице. Затем Лиля долго плакала в зале, в уголке матери у печки.

Но и здесь в первую же минуту она подумала о письме. Спросила отца и узнала, что письма лежат в кабинете на столе. Улучив минуту, прошла в кабинет и, еле дыша, оглядываясь на дверь, всё просмотрела. «Нет!.. Забыл!.. Не любит!»...

Ей тотчас пришлось заняться будничными делами. Они приехали в двенадцатом часу дня, надо было распорядиться о ванне, о чае. Дворник и ямщик переносили вещи Лили в ее комнату. Тятенька свой багаж велел оставить в передней, — считал себя обязанным провести первый день с ними. Заплатил ямщику на чай раза в два больше, чем полагалось, так как торг был бы теперь при Лейдене неудобен: как будто молчаливо предполагалось, что деньги больше никакого значения не имеют (Константин Платонович почти с отвращеньем замечал все эти мелочи). Отпустив ямщика, Тятенька опустился на корточки перед большим чемоданом, достал пакет, тяжело встал и вручил его Константину Платоновичу с таким видом, с каким подают священный предмет. Это были письма, полученные им в Петербурге.

Лейден ушел в кабинет, там прочел всё в первый, во второй, в третий раз и вернулся без кровинки в лице.

Дворник принес самовар и собрал на столе всю бывшую в доме нехитрую еду. Тятенька на нее покосился. Масло было куплено третьего дня, хлеб вчерашний, ветчина высохшая. Лиля уже доставала из ящиков буфета другие ножи и вилки. — «Никифор ничего не знает! Завтра всё наладим», — говорила она, и видно было, что она вступает в роль хозяйки дома. Ее взгляд даже незаметно скользнул по водке, когда отец налил себе четвертую большую рюмку. Точно так на него за обедом в таких случаях искоса смотрела Ольга Ивановна.

Тятенька тоже всё поглядывал на Лейдена: «Что это у него тик какой сделался? А я-то его считал бесчувственным человеком!.. Ну, да пройдет, не может не пройти. Жизнь ему Лиля наладит, и я помогу. Надо будет первым делом подыскать хорошего повара вместо Ульяны».

Дворник опять рассказал о последнем дне барыни. Лиля снова заплакала и Тятенька прослезился, дожевывая бутерброд. Часа в три все поехали на кладбище. Там больше не плакали. Говорили о памятнике, о том, какую сделать надпись, смотрели на другие надписи. Тятенька восхищался красотой вида: «Она так любила Днепр!». На обратном пути долго молчали. При виде далекого монастыря Тятенька прочел: «Под

Киевом, где Днепр широкий — Меж диких скал кипит, шумит, — На склоне, на горе высокой — Обитель иноков стоит». При этом опять поздно вспомнил, что не следовало читать стихи, хотя бы и такие. «И всё преувеличено: и Днепр не шумит и не кипит, и диких скал никаких нет. Правду говорил когда-то Костя, все они, литераторы, привирают. Сам его Пушкин очень привирал. Описал в «Полтаве», как сошла с ума Мария Кочубей, а никакой Марии никогда и не было, дочь Кочубея звали Матреной и, главное, она и не думала сходить с ума из за Мазепы, а преспокойно вышла потом замуж за полковника Чуйкевича, я еще его родных знал... А Лилька, милочка, смотрит на монастырь и верно думает, что сама ушла бы к этим инокам на гору».

Обеда не было приготовлено. Пришлось отправиться в ресторан. Там настроенье стало уж совсем будничным. Тятенька сказал «что-то не обедается», заказал семь блюд и всё старался шутить. Константин Платонович сердито морщился. «Какой-то он стал н а р о ч и т ы й и очень утомительный»...

В ресторане появились знакомые. Они подошли к Лейденам с грустными лицами, сказали, что собирались к ним зайти на следующий день, попросили разрешения «присесть» и долго выражали сочувствие. «Верно, досадуют, что попались... Они оба мне написали, тоже, как все, писали об и с к р е н н е м сочувствии, точно без этого слова сочувствие было бы признано фальшивым», — думал Константин Платонович. Но и ему, и Лиле, и Тятеньке странным образом стало легче при посторонних людях. Знакомые очень тепло говорили об Ольге Ивановне, старательно прибавляя всякий раз слово «покойная». Затем все немного помолчали. Погода была не жаркая и не холодная, так что за нее ухватиться для разговора было трудно. Один из знакомых сильно чихал, и Тятенька это использовал, — задавал обычные в таких случаях бессмысленные вопросы: «да где вы так простудились? да как это вас угораздило?»... Затем разговор понемногу пошел. Лиля рассказывала даже о петербургской опере, а под конец обеда сам Константин Платонович что-то сообщил о революции в Вене.

О Константинополе и Флоренции он не сказал ни слова и

не ответил на вопрос Тятеньки, очень ли он там скучал без единой знакомой души. Тятенька даже несколько насторожился, как ни далека от него была мысль, что его друг мог иметь заграницей любовную связь. Один из их знакомых был врачем. Он решил, что надо поговорить о Лейдене с Тятенькой. «У него глаза душевно-больного», — сказал он своему приятелю, когда они остались одни, — «и ты заметил, он на дочь ни разу и не взглянул». — «Не до поросят свинье, как сама на огне», — ответил другой, и ему стало тотчас совестно, что он привел столь грубую поговорку. Врач только взглянул на него укоризненно.

Ресторан находился внизу между Подолом и Липками, у Жандармского сада, где застраивался Крещатик. Таким образом ехать им приходилось в разные стороны. Тятенька нерешительно предложил, что останется у них и ночевать. Ему очень хотелось поскорее вернуться в свой домик, в котором перины были чуть не до потолка, а погреба, шкапы, кладовые ломились от бутылок, варений, солений. «Вещи разберем завтра, старуха всё и без меня сделает. Вот только меню я сам спрячу», — думал он: в Петербурге не раз обедал в дорогих ресторанах и всегда уносил меню для своей коллекции. Он с удовлетворением чувствовал, что опять началась тихая, устоявшаяся жизнь: уютный, киевский быт, где ничто никогда не изменится, не может измениться и не должно: «Так было верно при Кие, при Оскольде, так будет и через пятьсот лет, и слава Богу!.. Олечки больше нет, что ж тут поделаешь. Бедный Костя верно теперь выдумывает филозофию, а тут никакой филозофии не надо или она давно выдумана. Сделаю всё, чтобы они утешились поскорее. Они мне теперь, особенно Лилька, самые близкие люди на земле».

— ...Да нет же, Тятенька, вам пора домой. Чем вы нам сейчас поможете? — сказала Лиля со вздохом. Подумала, что дома ничего нет, а Тятеньке понадобится и ужин. Она очень устала и хотела лечь спать поскорее.

— Ты права, деточка, вам лучше остаться вдвоем, — радостно ответил Тятенька. — Так до завтра. Возьмите оба себя в руки. Вонми, Костя, гласу моления моего, сосни, —

посоветовал он. «Если он еще скажет что-либо такое, я не выдержу и устрою скандал!» — подумал Лейден.

Ему не очень хотелось и оставаться вдвоем с дочерью: всё было уже сказано. Жизнь вошла в колею. «Винить некого, Лиля молода, но тяжела эта «колея»! И слово какое гадкое для гадкого понятия... Как им всем не совестно так лгать? Везде фальшь, всё фальшь».

В коляске они опять молчали. Затем Лиля спросила отца:

— Папа, только те письма были, какие лежат на письменном столе?

Лейден смотрел на нее непонимающим взглядом.

— Письма? Какие письма?.. Ах, да... Нет, больше никто не писал. Не все ведь и знают, что я уже вернулся в Киев.

— И для меня ничего не было?

— Не было. То же самое: люди верно думают, что ты еще в Петербурге.

— А что, папа, тот польский граф? Мама вам о нем писала.У него тогда читал Бальзак. Он теперь в Киеве?

— Бальзак?

— Нет, этот граф.

— Не знаю. Откуда же мне знать?

Когда они вернулись домой, он попросил ее лечь спать. «Всё остальное завтра». Константин Платонович поцеловал дочь и пошел купаться. Лилю несколько встревожило, что он оставался в ванной очень долго, больше часа. «Уж не случилось ли что?..». Она на цыпочках вышла в коридор и испуганно остановилась: Константин Платонович разговаривал сам с собой и вскрикивал. «Что такое? Что с папой!». Так же на цыпочках она вернулась в свою комнату. «Надо сказать Тятеньке»... Не погасила у себя свечи, пока не услышала, что отец направился в кабинет. «Может быть, ничего нет нехорошего? Просто от рассеянности... Но этого никогда с папой не было».

В кабинете Лейден хотел снять халат, но на это не было сил; он опустился, почти повалился, на диван и задремал. Опять был сон и опять бессмысленный. Снилось, будто Тятенька у ж е говорил тем знакомым, что надо было бы найти

Косте вторую жену. — «Помилуйте, что вы! Он конченный человек!» — возмущенно отвечали знакомые, оказавшиеся графом Бобринским. Хотя мысль о новой женитьбе показалась бы самому Лейдену дикой и отвратительной, его раздражило, что граф считает ее невозможной, а его конченным человеком. Затем снился уж совершенный, постыднейший вздор, — будто он в халате — и не в новом термоламовом, а в старом — пришел в гости на прием к графу Бобринскому (о котором верно с год ни разу не вспоминал) и был от этого в ужасе, — вдобавок, на рукаве было большое пятно и все гости смотрели на него с презрением... Он точно велел себе проснуться и со злобой подумал, какие идиотские сны могут сниться человеку в таком положении, как он, точно жизнь старается испачкать комическим всё.

На следующее утро началась работа, скоро вернувшая дом в его прежнее состояние. Лиля никогда хозяйством не занималась, однако домовитость была ею унаследована от матери. С утра люди из аптеки во второй раз что-то жгли, окуривали комнаты. В средине дня появились повар и горничная. Константин Платонович до приезда дочери спал на диване без белья, на кожаной подушке, — теперь на том же диване была белоснежная постель. Перевести отца в спальную Лиля не решилась. «Да и не всё ли равно? Кабинет нам и не нужен, верно, никаких гостей в доме несколько месяцев не будет». Она не спрашивала себя, как поступила бы мама, но, делала именно то, что сделала бы Ольга Ивановна. Повару был тотчас заказан обед, и даже обильный: Лиля понимала, что Тятенька в первое время будет у них обедать каждый день. Сама разыскала ключи, спустилась в погреб, достала наливку и вино.

Мысли у нее были всё те же: как бы узнать, что с Яном? «Я к этому графу никак поехать не могу. Попросить Тятеньку? Неловко». Кроме польского графа, никто в Киеве ничего о Яне знать не мог.

Тятенька действительно приехал к обеду. Собирался было

повезти их опять в ресторан, но узнав, что обед будет дома, обрадовался и очень всё одобрил.

— Молодец Лилька, так и надо. За один день дом неузнаваем, — сказал он и заговорил с Константином Платоновичем.

Хотя Тятенька раздражал и Лилю шутливым тоном и прибаутками (ей вообще казалось, что он несколько ослабел после смерти ее матери), на этот раз он поразил ее своей тонкостью и деликатностью. Садясь за стол, сообщил, — не ей, а ее отцу, — что встретил того польского графа, у которого зимой читал Бальзак.

— Тебя тогда не было, а мы с покойницей и с Лилькой были. Удостоил нас тогда приглашения и принял небезвнимательно. Это нам устроил пан Ян.

— Ах, да, что же Ян? — рассеянно спросил Лейден.

— Должно быть, цветет как роза, но он ни к кому не писал. Ни граф, и никто от него не получил ни строчки, все его прежде ругали. Да оказалось, что теперь письма задерживаются цензурой на границе.

— Как задерживаются на границе? — быстро спросила Лиля и вспыхнула.

— Так, очень просто. Не велено пропускать.

— Это давно?

— Чуть не с первых дней, как стало известно о революции в Париже. Скоро был разослан из Петербурга приказ всё задерживать. Теперь и сами они ни о чем правды знать не будут, только и узнавали из иностранных ведомостей. Якова Долгорукова у нас больше нет. Как-то, Лилька, Петр Великий вернулся домой в сильном гневе: Яков Долгорукий ему всё выпел. Екатерина царю и говорит: «Зачем же ты его не удалишь?». А он в ответ: «Э, Катинька, как его удалю, то кто же будет мне говорить правду?». Нынешние не то, — говорил Тятенька. Лиля нетерпеливо его слушала.

— И долго не будут доходить письма?

— А уж этого не скажу. О предъидущем судить рановременно. — Тятенька часто, следуя летописям и Карамзину, называл будущее предъидущим. — Не думаю, чтобы уж очень

долго: у нас хоть и Турция, но не совсем Турция. Пройдет несколько месяцев, и сношения возобновятся, не могут не возобновиться... Помнишь панну Зосю? — небрежно вставил он. — Еще говорили, что наш пан Ян на ней женится! Вранье было, конечно, она недавно вышла замуж за другого. Но он с ее семьей были друзья, и, граф говорит, старик очень обижался, почему Ян не пишет: хоть бы два слова написал. Ну, а потом и они узнали, что письма не проходят. Да я и свою «Аугсбургер Цайтунг» получил только до марта. Она кстати в последнем номере сообщает, что из Франции все бегут. Скоро и Ян к нам вернется.

— Почему бегут?

— Потому, деточка, что после революций везде всегда начинается собачье житье. Сказывают, гоноровый пан вернется в Киев, — врал Тятенька. Он по прежнему нисколько не желал, чтобы Лиля вышла замуж за Виера, но хотел ее утешить. «Скоро пройдет, мало ли таких вьюношей, найдется кто-нибудь и получше». — Ну, ладно, так выпьем за здоровье пана Яна. А, и венгерское есть? Молодец, Лилька. Тогда тем паче за него выпьем. «Поляк, венгер то братанки, — Як до шабли, так до шклянки».

Лиля залпом выпила бокал венгерского. Она еле дышала. По ее убеждению, Тятенька, как и ее отец, знали всё. «Слава Богу! Ах, слава Богу!»...

За обедом Тятенька угощал Константина Платоновича:

— Ты должен есть побольше, иначе ты заболеешь, что ж тут будет хорошего? — убедительно говорил он. Лейден злобно молчал. — Ну, возьми же еще кусочек индейки. Это самая здоровая еда. Индейка изряднейшая, одобряю нового повара. Положить тебе?

— Не хочу. Сыт.

— Ты не можешь быть сытым! И венгерского пей по бутылке в день. Ну, просто пей как лекарство. Это самое что ни есть укрепляющее вино.

— Вино папа пьет, — многозначительно вставила Лиля.

— Да что ж вино без еды! И еще я посоветовал бы тебе

нюхать табак, это, люди говорят, очень успокаивает. Знаешь, что? У меня есть старинная табатерка, я тебе ее дам.

— Иди к чорту с твоей табатеркой! — сказал Лейден и встал из за стола. И Лиля, и Тятенька смутились.

— Dixi quod dicendum, — сконфуженно сказал Тятенька. — Ну, не хочешь слушаться, так не слушайся. Что ж злиться то! упусти мне, естьли что не так сказал.

Когда ее отец ушел в кабинет, Лиля попросила Тятеньку на него не сердиться.

— Да я и не думаю! — ответил Тятенька, хоть он в самом деле немного сердился на своего друга. «Всё же коеза-что мог бы быть мне теперь благодарен. А он то лает как пес, то холоден как полюс».

— Уж я просто не знаю, что с папой происходит. Представьте себе, что было вчера...

Лиля с волненьем рассказала, что отец в ванной разговаривал сам с собой. Тятенька слушал, вздыхая. Он сам был напуган. «Вдруг вправду спятит»!..

— Я не хотел тебе говорить, но уж если ты заговорила, Лиленька... Да, что-то с ним творится. И не мы одни, замечают и чужие... Как бы его уговорить позвать доктора? Я этим эскулапам ни капельки не верю и бегу от них как от огня, но он прежде любил лечиться.

— Да что же доктору сказать? Что папа сам с собой разговаривает?

— Найдем что сказать. Ты не волнуйся, деточка. Просто он измучен, и это натурально после такого несчастья. Ведь папа, как те рыцари-однолюбы, у которых девиз был: «Autre n'aurai», — с игреком на конце... Вот летом поедете в Боярку, воздух там чудесный, он живо отойдет. Я буду к вам наезжать.

— Нельзя в Боярку, я уже думала. Там всё будет напоминать о маме, — сказала Лиля и прослезилась. Тятенька ее поцеловал.

— Ты права, я не подумал. Ну, быть может, на теплые воды? Вот что, ты ему скажи, что ты худо себя чувствуешь. Пользы не будет, но, Бог даст, не будет и вреда: какой же

вред от теплых вод, особливо естьли не купаться в них и пить вместо них венгерское?.. Не плачь, деточка, всё устроится. Вот скоро приедет пан Ян, мы с ним посоветуемся.

— Подумать только, что он еще и не знает о кончине мамы! Надо известить его! Ведь этого требует просто вежливость. Но как? Значит, цензура и отсюда задерживает письма? Вы это наверное знаете, Тятенька?

— Наверное. Задерживает, проклятая, все. Да я ж тебе говорю, он скоро будет здесь, комнату для него готовь, — сказал Тятенька. Лиля просветлела. «Ох беда!» — подумал он и простился. По своему характеру он не мог долго находиться в обществе несчастных, горюющих людей. Кроме того голова у него тяжелела в этом доме, где еще стоял запах курений. Обещал приехать к обеду и на следующий день.

— Каждый день буду приходить, пока не выгоните.

— Тятенька, милый, я вам так благодарна! Без вас мы совсем пропали бы, — сказала Лиля, целуя его.

— Ну, вот! И знаешь что, Лилька, ты опять зови друзей. Хочешь, я им скажу? — Он назвал двух-трех человек, общество которых было ему приятно: они тоже умели весело есть и пить. — Папу надо теперь развлекать.

— Вы правы! — горячо сказала Лиля. — И, пожалуйста, скажите им, чтоб они не боялись. В аптеке ручались, что после второго окуриванья ни малейшей опасности нет.

— Завтра же и приведу кого-нибудь.

Лиля отдала еще несколько распоряжений по хозяйству, затем зашла к отцу в кабинет. Он сидел, в термоламовом халате, не за письменным столом, а у стоячей лампы, в том покойном кресле, в котором Ольга Ивановна иногда по вечерам слушала его споры с Тятенькой.

— Мне так совестно, папа, что я вчера для вас не вынула ни белья, ни подушек, — сказала Лиля. — Себе взяла из чемодана, а вы так и спите на голом диване! Я просто не подумала, не сердитесь на меня!

— Не сержусь, — ответил он, едва ли поняв ее слова.

Она поцеловала его в лоб и зажгла две свечи на маленьком столе у дивана. Ни ночного столика, ни других вещей из спальной в кабинет, по ее распоряжению, не переносили. Проверила, есть ли под подушкой ночная рубашка, принесла стакан еще не совсем остывшей отварной воды: она приказала целый день кипятить в огромных чанах воду, чтобы сырой никто в доме не пользовался. Затем пожелала отцу доброй ночи и ушла к себе.

«Ах, как это хорошо, тот девиз: «Autre n'auray», думала она. — Только у нас с Яном будет не так, как у папы с мамой. У них тоже было хорошо, у нас же будет другое, совсем другое, но тоже «Autre n'auray»... Что он теперь делает? Думает верно, как доставить письмо... Он мне сказал: «Вы узнаете мои планы, наши планы... Наши планы... Милый Тятенька говорит, что он вернется. И папа кивал головой... Но как же мы будем жить? И папу мне теперь нельзя оставить? Что, если б мы поселились вместе все трое? Наш дом большой, папа взял бы первые две комнаты. А из зала я сделала бы кабинет Яна, зачем нам зал?»...

II

> Ведь никто не знает, что такое смерть. Может быть, она величайшее из всех благ. Тем не менее все ее боятся, как еслиб было достоверно известно, что она величайшее из всех зол. Разве постыднейшее невежество не заключается в том, чтобы думать, будто ты знаешь то, чего ты совершенно не знаешь?
>
> *Платон*

Он чувствовал, что не заснет до утра. Зажег еще свечи и стал расставлять по полкам привезенные им книги, приводить в порядок бумаги. Как всегда, на полках книги были так тесно прижаты одна к другой, что он вытаскивал их нелегко и ронял с проклятьями на пол; из многочисленных же тетрадок находил последней именно ту, которую хотел найти первой. Затем бросил эту работу.

Думал, что надо как-то наладить жизнь, чем-то заполнить остающиеся ему годы. Он собирался перевести на имя дочери свои плантации и киевский дом. У него было и немало наличных денег. «И есть мой труд. Но над чем же мне трудиться? Основать, например, издательство с просветительными целями? Найти что-либо другое, б е с с п о р н о е, если только есть такое? Не могу больше жить только для себя. Не могу теперь и заниматься платанами... Собственно и это н о в о е — те же платаны, только с денежным убытком вместо прибыли? Меня теперь не так интересует общее благо или то, что они называют общим благом: та же сумма нолей. Значит, как прежде, заниматься делами, чтобы Лиля была богаче? Да, прежде это занимало и беспокоило. Но уехал я заграницу не для этого, а потому, что для меня, как для большинства людей, настала пора, когда и делать в жизни больше нечего, и ждать тоже нечего... А что, если я уехал от холеры?» — вдруг с ужасом и отвращением подумал Лейден. — «Нет, нет, неправда, этого в мыслях не было! Иначе я был бы совершенный негодяй!.. Если не буду ничего делать, то совсем помешаюсь и в доме умалишенных окажусь личным другом Аллаха или Миноса. Если же хоть полдня буду занят, то, быть может, выздоровею. Сам чувствую, что уже кое-как выздоравливаю. Человек так подло устроен, что нет такого человека, без которого он не мог бы обойтись. Быть может, помогла и моя гимнастика смерти. Было ли у меня вправду растроение? Может, и было. Мальбранш, Локк, Лейбниц создали науку психологии, она исходит из однородного понятия души. Между тем, и без всяких растроений, без всяких ненормальностей, душа самое неустойчивое из явлений. Она изменяется, если не каждый день, то уж наверное каждый год, она не вполне однородна и в течение одного дня. Первое деление ясно: душа, показываемая людям, и душа, видимая только себе. Но это деление элементарно, оно не принимает во внимание наслоений, которые переходят от предков, накапливаются веками, скрываются в тайниках души, — пока вдруг при подходящей обстановке не проявляются к ужасу самого человека. Ведь всё-таки в нас живут, не могут не жить, черные души далеких предков, души

непонятные, тупые, преступные. Религия, цивилизация, быть может, понемногу их и просветляют, но до сих пор не очень просветили, мир густо насыщен даже не грехом, а преступленьем. Следы этих душ есть в каждом из нас, и, быть может, сложность человека определяется числом таких наслоений. У Шекспира, у Наполеона их верно были десятки. А человеческая чистота, вот та, что была у Оли, это приближение к однородности, к лучшей из однородностей»...

Он раскрыл книгу Шопенгауэра. Читал по прежнему с восхищеньем, но всё больше убеждался, что не для него этот выход, с литературным и философским блеском, не для него бессмертие с «Unendlichkeit *a parte post*» и с «Unendlichkeit *a parte ante*». Конечно, он в сто раз умнее и глубже меня, допустим, он глубже всех философов в мире, однако не может быть выходом бессмертие, основанное на признании каждой отдельной жизни бессмыслицей. Что мне от его бессмертия? Да может ли быть и его бессмертие, если не бессмертна сама вселенная?.. А что предлагают люди, как Тятенька: «не думать обо всем этом»? А я никогда не умел «не думать обо всем этом», разве это от меня зависит?.. Мне неизвестно, кто этот Шопенгауэр. Я, оказалось, никак не Би-Шар: если б был Би-Шаром, то и мысль о смерти преодолел бы по своему, очень легко. Но он, быть может, Би-Шар почище моего Неизвестного... Человек всё-таки лучше того, что он о человеке думает: ненамного лучше, но лучше. И я, быть может, лучше, чем сам о себе думаю. У многих других не было бы и того, что называют угрызеньями совести. Люди очень меня не любят преимущественно потому, что им со мной скучно и что я этому рад. Я никак не ставлю себе целью их забавлять или развлекать, пусть этим занимаются скоморохи. И как ни слаба была моя «новелла», в ней была доля правды, и именно правды моральной. В чем же эта доля? В том, что бессмертие заключается в любви, не в той общей любви к людям, о которой говорят положительные религии, а отдельной, частной любви, в каждом случае сво-

ей и ни на какую другую не похожей. Оленька пишет: «Помни одно: я не думаю, а знаю, что мы снова сойдемся в лучшем мире, где нет ни печали, ни воздыхания». Если бы так!..».

Он вспоминал каждое слово из прощального письма жены, и слезы катились у него по щекам. «Как же люди живут, почти не думая об основном важнейшем вопросе человеческого существования? Они спрашивают: «Да что же нам делать?». А я отвечаю: «Надо *создать* бессмертие, пусть субъективное и, как ни странно это звучит, пусть ограниченное во времени», — вдруг подумал он. — «Я отвечаю, что если я всегда, весь остаток моих дней, буду думать о ней, буду думать каждый день, каждую ночь, буду думать вечером засыпая, буду думать утром просыпаясь, то это и есть бессмертие, тогда для меня ее кончина не существует. Конечно, это не то, что было в жизни, но это лучшее, что было. У нас были мелкие раздоры, даже мелкие ссоры, была мелкая проза существования. Всё это, всё наносное теперь отпало. Осталась *она* и осталась для меня навсегда».

Он встал, прошелся по комнате, сел в кресло. «Да может быть, этот *мой* выход просто заключает в себе старую мысль: надо сохранить любовную память об умершем? Нет, это не то, совсем не то. Я могу довести себя до полного общения с Олей, до такого общения, при котором ее смерть просто не существует! Тогда, по дороге в Краков, я разговаривал с ней так, точно она сидела рядом со мной в дилижансе: я видел ее как живую, слышал ее голос, ее интонации, слышал — знал доподлинно, — *что́* она говорит, как принимает каждое мое слово, как отвечает, что мне советует. И я доведу себя до того, что всегда буду в таком состоянии. Не всегда в буквальном смысле слова, как ведь не всегда она бывала со мной и при ее жизни. Но когда я буду один, вечером, ночью, в любую минуту, я буду знать, что она со мной, что она *тут*... Да, какая у нее была жизнь! Всё у нее было так однообразно, так неинтересно, и она сама, конечно, думала об этом и утешала себя, что работает для меня. Отдыхала два-

три часа в день. Тогда читала». — Константин Платонович вспомнил, что нашел в кабинете какой-то русский исторический роман с князем Аникитой. — «Никаких других женщин в моей жизни не будет... А пусть люди считают меня сумасшедшим, я ведь вижу, как они все на меня поглядывают, даже Лиля. Они еще больше будут считать сумасшедшим м о й выход... Почему? Я читал, какой-то немецкий врач или физик говорит об энергии, об ее сохранении, о том, что энергия не гибнет, она только меняет форму. Над ним еще недавно смеялись, теперь же ученые, кажется, больше не смеются. Этот врач не сделал выводов из своего учения, он остался материалистом. Но если он прав в отношении своих видов энергии, то нет никаких оснований отрицать энергию духа, которая также исчезнуть не может. Лавуазье отрубили голову в цвете лет, Декарт тоже в цвете лет умер внезапно от простуды, куда же делась огромная энергия их мозгов? Материалисты скажут, что она именно превратилась в кристаллы, землю, растения. То же здесь в сущности говорит и Шопенгауер. Но ведь это нелепость: мозг барана дал бы столько же всего этого, сколько мозг Декарта! Вечна энергия духа, вечна и одна из ее разновидностей: любовь. И как надо создавать известные условия, например, для проявления теплоты, так надо себе — каждый себе — создать условия для проявления духовного бессмертия. Эта энергия не в е ч н а? А кто может утверждать, что по настоящему вечна та, другая? Мир, вероятно, вообще кончится в результате какой-нибудь планетной катастрофы. Для меня достаточно и бессмертия ограниченного временем. Н а ш а любовь с Олей, наша душевная связь останутся пока я жив, они продлятся до моего последнего вздоха, а это главное! И я знаю, это утешило бы ее, как сейчас утешило меня... Затем, в неизмеримо меньшей мере, связь продлится в памяти, в душе Лили. Потом, быть может, еще сохранится смутная память на веру у ее детей. Затем всё исчезнет. Но н а ш е бессмертие останется, и этого достаточно. Я нашел свой выход».

III

Herr Omnes.

Luther.

Виер каждый день ходил по городу в поисках работы. Но работу в средине 1848 года в Париже было трудно найти и французам. К полякам же работодатели относились враждебно, считая их всех революционерами. Паспорт у него был русский, но Виер тотчас говорил, что он поляк. Обычно ему кратко отвечали, что сейчас ничего нет. В худших же случаях, правда очень редких, иронически предлагали вернуться к себе на родину: «Rentrez chez vous».

— А что ты умеешь делать? — спросила его в ресторане Роксолана через неделю после их первой встречи.

— Я ищу любой работы, — ответил он. Ее вопрос его снова несколько озадачил: почти ничего делать не умел. Но он о себе говорил с ней редко. Ему уже и вообще, как прежде Лейдену, казалось, что разговаривать с ней скучно, не о чем и незачем. — Я ищу любой работы, но мое настоящее занятие это революция. Скоро таких, как я, будет много.

— И вам будут хорошо платить?

— Нет, платить ничего не будут.

Роксолана вздохнула. Она очень его жалела. До того у нея никогда не было любовника, который ей не платил бы. Одни давали много, другие мало, но не получать ничего ей было странно и даже смешно. «Вот как если бы я пришла в ресторан и потребовала обед бесплатно!» — думала она. И тем не менее никто не нравился ей так, как этот мрачный молодой поляк.

Ей пришло в голову, что она сама могла бы ему предложить работу: он мог бы вводить к ней клиентов, как у старой гадалки тот человек в шляпе с пером. Это было бы очень полезно для дела. «Тогда у меня и поселился бы, и костюм я

ему купила бы самый красивый!». Но хотя она совершенно не понимала, что он за человек, почувствовала, что он денег не возьмет. «Может быть, пока не возьмет, а потом сразу потребует много? Что ж, если не очень много, то я дам!».

Когда подали счет, она сказала ему:

— Знаешь что, сегодня заплачу я.

Он вспыхнул и, несмотря на свою обычную вежливость, назвал ее дурой. Сам тотчас смутился, слово у него сорвалось. Роксолана испугалась: «Еще бросит!».

— Ты меня не понял! Я думала так: сегодня заплачу я, а завтра ты.

До тех пор всегда платил за обоих Виер. Правда, они обедали в очень дешевом ресторане. Мужчины всегда за нее платили, но его ей было совестно вводить в расход. Заметив его смущение, Роксолана тотчас это использовала; так полагалось по правилам мудрости. Сделала вид, что очень обиделась. Виер чувствовал, что виноват, и старался загладить свою вину. Сохранив обиженный вид сколько было нужно, она пригласила его на обед к себе. Он тотчас принял приглашение. Угостила его константинопольскими блюдами, которые готовила хорошо. Стряпать вообще не любила, но для него стряпала с удовольствием и у плиты ласково улыбалась. Купила южное сладкое вино, хотя оно стоило недешево.

— Ах, как жаль, что у французов летом не едят устриц, — говорила она. — Ты любишь жареные устрицы? Верно, ты ел их в Константинополе?

— Нет не ел. Или не помню.

— «Не помню»! Когда мы оба заработаем много денег, съездим вместе в Константинополь. Ах, какой город! Я так по нем скучаю!.. Но прежде надо разбогатеть. Вот ты такой умный, такой ученый, а денег у тебя нет, — сказала Роксолана.

— Надо разбогатеть? Едва ли я разбогатею. Да ведь ты сказала, что у меня короткая линия жизни.

— Нет, не короткая! Бывают длиннее, но твоя не короткая... Как я рада, что ты пришел. Вот спасибо.

В средине июня он, потеряв надежду найти занятие в частных предприятиях, зашел в Национальные Мастерские, созданные Временным правительством в начале революции. Многочисленные безработные принимались туда на работу за плату от одного до трех франков в день.

Приемная была полна. Издали доносился гул машин. Разговаривать было трудно. Заведывавший приемом человек всем отвечал одно и то же:

— Какой теперь прием! — кричал он, стараясь покрыть гул. — Не сегодня, так завтра эти господа всех нас выбросят на улицу. Разве вы не знаете, что в их Национальном Собрании уже обсуждается вопрос о закрытии мастерских?

— Что же нам делать?

— Наши говорят, что, если рассчитают, то все выйдут на улицу. Пора, чтоб была настоящая революция!

— Надо, чтобы к власти пришел принц Наполеон! — прокричал какой-то старый рабочий. — Никто не голодал при императоре!

— Да, так говорят многие. В мастерских всюду прокламации: «Vive l'Empereur!».

— А нет ли прокламаций «Vive la Sociale»? — спросил Виер тоже неестественно громким голосом.

— Есть и такие, только их меньше.

— Напрасно! — сказал Виер.

Он пошел по грязным коридорам, мимо механических мастерских. Отовсюду слышался грохот. Виер приотворил грязную боковую дверь, заглянул и чуть не отшатнулся: так оттуда дохнуло жаром. Что-то громадное поднималось и тяжело падало. Горели кроваво-красные огни. Вокруг них что-то делали полуголые люди. Пожилой человек в блузе поспешно подошел и, грубо выругавшись, захлопнул дверь перед носом Виера. «Нет, этот ад не для меня. Всё равно свалился бы через месяц. Они не сваливаются, они привыкли с детства и к этой работе, и к этой грубости. Теперь «Свобода, равенство, братство», но здесь такое же хамство, как всегда было. И этот ведь тоже рабочий!».

Виер вышел на улицу. Было очень жарко, но жарко по

человечески. Было и шумно, но шумно по человечески. Спокойствие скоро к нему вернулось. Если он теперь еще о чем-либо жалел, то разве лишь о том, что погибнет на баррикадах в малом чине, просто рядовым. «Или опять проснулась моя тайная, детская любовь к военному делу?» — спросил он себя с улыбкой. — «Ну, рядовым так рядовым. Всех, без различия чина, закопают в грязи, в общей могиле».

Несмотря на свою бедность, он в этот день взял билет на концерт. Исполнялась «Героическая Симфония». Она уже входила в моду в Париже. То, что Бетховен посвятил ее Бонапарту и снял посвящение когда генерал принял корону, способствовало ее успеху: одним нравилось, что посвятил, другим нравилось, что снял, третьи же находили, что венский композитор ничего не понимал в политике, ибо первый консул в своем отношении к идеям свободы и народоправства уже ничем почти не отличался от императора. Виера симфония потрясла. «Что, если это не хуже «Гугенотов»? — задал он себе смелый чуть ли не до кощунства вопрос. — Лейден говорил, что каждый человек иногда соприкасается с потусторонним миром. Если так, то музыка к этому вернейший путь... Какое счастье верно испытывают Мейерберы и Бетховены, когда это пишут! И какая же может быть справедливость, какое равенство, если это счастье дается одному человеку из миллиона, а понимает его как следует один человек из десяти. Зачем же жить людям как я? Мы пыль земли, мы воплощение посредственности, но посредственность может скрасить смертью никому не нужную жизнь. А там увидим, правы ли были дервиши и все думающие о загробной жизни приблизительно как они. Почему же не раскрывается мне хоть смутно, хоть намеком, этот потусторонний мир, если приходит конец, если смыкается мой круг?».

В начале июня хоронили рабочего, случайно убитого в стычке с полицией. Виер пошел на похороны. Собралось человек пятьдесят. Лица у людей в блузах были хмурые и злые. Он проводил гроб до самого кладбища. Там уже оставалось

не более двадцати человек. С кладбища зашли куда-то выпить. Он не пошел. Возвращаясь к себе через весь Париж пешком, вспомнил слово, сказанное когда-то Дидро: «Каждому из нас под конец жизни случается следовать за собственным своим гробом».

IV

Эти безумства были в свое время вбиты им в голову легкомысленным английским священником из Кентского графства, которого звали Болл и который за свои безумные слова часто сидел в тюрьме архиепископа Кентерберийского. Этот Болл по воскресеньям, после мессы, когда все выходили из церкви, отправлялся на кладбище, собирал там народ и говорил ему: «Добрые люди, дела не могут и не будут хорошо идти в Англии, пока все имущество не будет составлять общей собственности, пока будут существовать дворяне и холопы, пока мы не будем все равны»... Многие простые люди его за это хвалили, а неблагонамеренные говорили: «он говорит правду»... Об этом стало известно архиепископу Кентерберийскому. Он сажал Болла в тюрьму и держал его там в наказание по два-три месяца. Уж лучше бы он в первый же раз приговорил его к вечному заключению или умертвил его.

*Фруассар**

Баррикады появились еще раньше, чем думал Виер.

Июньское восстание 1848 года было одним из самых кровопролитных в истории. Погибли десятки тысяч людей, раза в четыре больше, чем в Варфоломеевскую ночь. Оно отличалось еще многим другим. Никаких вождей у него не было, все главари крайних были в тюрьме. Кто руководил им, в сущности неизвестно. Вероятнее всего, никакого руководства не было. Не было и никакого плана. Прудон, с делающей ему

* Хроника 14-го столетия.

честь откровенностью, писал: «До 25-го я ничего не предвидел, ничего не знал, ничего не угадал». Это восстание было в истории, быть может, единственным, в котором личное честолюбие, стремление прославиться, желание сделать карьеру не сыграли никакой роли.

Оно было вместе с тем и совершенно бессмысленным делом. Народ будто бы хотел «войны с Россией за освобождение Польши». Так, по крайней мере, уверяли многие очевидцы событий и историки. Если даже допустить, что народ, — весь народ, или хотя бы значительная его часть, — когда бы то ни было, где бы то ни было в самом деле хочет войны, в 1848 году было совершенно ясно, что война теперь невозможна. К революционной Франции никакая держава не присоединилась бы. Да и та война, которую несколькими годами позднее начал с Россией Наполеон III в союзе с тремя государствами, не ставила себе целью освобождение Польши и к этому освобождению не привела. Не было и никакой возможности установить во Франции социалистический строй; он не был установлен и в течение следующего столетия. Если бы 23-25 июня революционеры победили, то они 26-го уже не знали бы что делать, и начался бы совершенный хаос.

Не менее бессмысленны были и действия их противников. Они в парламенте постановили закрыть Национальные Мастерские, ссылаясь на необходимость сокращения расходов. В идее Национальных Мастерских не было ничего нового или революционного. Во все времена разумные государственные деятели устраивали работы для нуждавшихся в них людей. Римские императоры, да и не они одни, шли и гораздо дальше: раздавали безработным хлеб бесплатно. Как многие государственные предприятия, особенно новые, Национальные Мастерские работали не очень хорошо. Причин было несколько, от общего хозяйственного кризиса до соперничества и глухой борьбы между двумя школами французских инженеров. После того, как революционеры 15 мая произвели неудачную попытку захвата власти, правые и умеренные всё настойчивее требовали закрытия Национальных Мастерских. Их довод был: «государство не богадельня». Эта ценная мысль настолько

овладела умами, что против нее не очень спорили и левые, даже умеренные социалисты. Они только настаивали, чтобы закрытие производилось постепенно.

Дело было не в сокращении расходов. Обе стороны говорили о любви к ближнему, и ни у одной из них не было и следов этой любви. После 15-го мая члены правительства и парламента руководились только ненавистью к революционерам. Национальные Мастерские действительно стоили довольно дорого, но июньское восстание, его подавление, его последствия обошлись Франции гораздо дороже и в денежном отношении. Между тем очень легко было понять, что закрытие мастерских грозит восстанием: выброшенных на улицу рабочих ждал голод в самом точном смысле этого слова. Они предпочли баррикады, — кто с «Vive la Sociale!», кто с «Vive l'Empereur!». Всё это дело лишний раз доказало, что в политической борьбе интересы людей имеют гораздо меньше значения, чем их страсти, в особенности чем ненависть.

Восстание началось на следующий же день после закрытия Национальных Мастерских.

Человек не слишком радикальных взглядов, вообще мало интересовавшийся политикой, скульптор Тони Этекс, лепивший статуи и бюсты королей, кардиналов, писателей, в своих воспоминаниях рассказывает, что 23 июня 1848 года его чуть было не убили революционеры. Проходя поздно вечером мимо баррикады, он, по живости своего характера, стал увещевать рабочих: зачем вы бунтуете? это безумие! разойдитесь пока не поздно. — Один рабочий прицелился в него из ружья.

— Вы хотите меня убить? — воскликнул Этекс.

— Да. Вы нас предаете, вы мешаете нам исполнить наш долг.

Этекс «истощил весь свой запас разума и красноречия», чтобы переубедить рабочего. Тот мрачно слушал, затем сказал: «Идите за мной».

«Ночь была темная», — рассказывает скульптор. —

«Шел дождь. Он повел меня вверх по лестнице старого дома. Вдоль стены тянулся грязный канат. Под крышей этого дома нищих я при свете ветхого фонаря увидел молодую, очень худую женщину с желто-зеленым лицом. Она хрипела на тюфяке, возле нее было трое чахлых детей, старшему было не более семи лет. Я опустошил карманы и убежал».

Однако не все бедняки были на стороне восставших. Солдаты и «подвижные гвардейцы» были в большинстве такими же бедняками. Многие из них подчинялись военной дисциплине и исполняли приказ командиров. Другие искренне хотели восстановления порядка и предпочитали консервативное правительство революционному. Третьи же оказались в правительственном лагере совершенно случайно. «Подвижная гвардия» была новой воинской частью; в нее входили очень молодые люди, почти дети; их прельстили красивый мундир, верховая лошадь и сытная еда. В июньские дни не раз случалось, что сражавшиеся внезапно перебегали с одной стороны баррикады на другую и там продолжали драться не менее храбро, с таким же ожесточением. Пели с обеих сторон вначале «Марсельезу». Затем, верно оттого, что скучно было петь всё время одно и то же, революционеры затянули «Mourir pour la patrie». Они считали эту песенку главным революционным гимном 1793 года. На самом деле огромную популярность ей создала поставленная незадолго до февральской революции пьеса «Кавалер Красного Дома», написанная «маркизом де ла Пайлетери», — так в то свое ройялистское время любил себя называть Александр Дюма, имевший на титул весьма сомнительные права.

Очевидец, Максим дю Кан, сражавшийся на стороне правительства, пишет: «Один наш унтер-офицер, человек очень сильный, внес на руках воина из подвижной гвардии. Окровавленная голова его откидывалась назад и качалась при каждом движении. На землю поспешно бросили матрац, рядом с моим, и положили на него бедного мальчика. Это был ребенок. Пуля пробила ему шею. Он умирал... Его спрашивали: «Чего ты хочешь? Не хочешь ли чего-нибудь?». Он сделал усилие и глухим неслышным голосом медленно сказал: «Я

хотел бы выпить мадеры, я никогда ее не пил». У де Лабушера, который стоял около меня, как раз была в мешке фляжка с мадерой. Он поднес ее к губам мальчика. Тот отпил долгий глоток и сказал: «Это вкусно, спасибо!». На минуту он как будто оживился... Потом откинул голову, чтобы опереться на стену... Торговка вскрикнула: «Господи, он кончается!». Она опустилась на колени и стала читать молитву. Умирающий еще раза два дернулся, затем стал неподвижен, он был мертв».

Другой мальчик, пятнадцатилетний сын слесаря, Вар, так отличился в борьбе с повстанцами, что барон Ротшильд послал ему в подарок пистолеты. Повидимому, «классовое самосознание» было не очень развито у этих защитников капиталистического строя. Так же мало понимали в том, что происходило, и очень многие повстанцы. В июньских боях случай играл столь же большую роль, как в других событиях февральской революции и всех революций. Привела же она к воцарению Наполеона III. Он был во всех отношениях хуже Людовика-Филиппа: при нем свободы во Франции было много меньше, чем в царствование последнего короля, и закончилась Вторая Империя такой военной катастрофой, какой при Бурбонах вообще никогда не было.

Утром 23 июня парижане, особенно те, что жили на окраинах города, еще ничего о восстании не знали. Только на следующий день в газетах появились о нем сведения. Статья «Constitutionnel» начиналась словами: «Страшный бунт сегодня залил кровью Париж». Сообщалось, что главные бои идут около моста Сен-Мишель. Легче всего было преграждать баррикадами многочисленные узенькие улицы города. Однако, ожесточенный бой велся и на широкой площади Пантеона. Она была окружена большими, существующими и по сей день зданиями; вели же к ней со всех сторон узкие, часто кривые улицы. На них тотчас появились баррикады. Из мостовой вырывались камни. Опрокидывались омнибусы и телеги. Повстанцы захватывали соседние дома. Вооруженные силы правительства подходили к площади с разных сторон.

V

Du hast gehofft, dein Lohn ist abgetragen,
Dein Glaube war dein zugewognes Glück.*

Schiller.

В последние три дня перед восстанием Виер больше не заходил к Роксолане. Было не до того, и ресторан стал для него слишком дорог. В среду 21-го июня он сосчитал деньги в кошельке. Оставалось пятнадцать франков. «Если в течение недели восстания не будет, то хоть иди воровать!».

Он с усмешкой вспомнил давний разговор с каким-то крайним революционером, озлобленным, циничным человеком (о нем говорили худо). Тот доказывал, что кража у богатого человека должна считаться бесспорным логическим выводом из их учения, — простым восстановлением социальной справедливости: «У него миллионы, да еще нажитые способами, нечестными даже с их точки зрения; но их так называемые служители закона старательно закрывают на это глаза. А я порядочный человек, я хочу работать, но мне работы не дают, и я голодаю. Поэтому я имею право у него отобрать деньги силой или тайком. Наши теоретики либо брезгливо отмалчиваются от такого вывода, либо прибегают к разным умственным выкрутасам, — «нецелесообразно», «бесполезно» и т. д., — либо просто боятся попасть в тюрьму, да еще без героического ореола. Зато если отбирание чужой «собственности» происходит в массовом порядке, тогда это для них, разумеется, совершенно другое дело: тогда это революция. Что они понимают? Между коллективным революционным действием и личным по существу разницы не больше, чем, например, между красным вином и белым: кто любит красное, кто белое, когда нет одного, пьют другое». — Виер тогда слушал очень неодобрительно. Теперь

---

* «Ты взял мечты — ты принял награжденье, — Ты веру взял — она твой клад». (Перевод Г. Данилевского).

это расуждение казалось ему логически неопровержимым. Всё же он, невольно улыбаясь, представлял себе, как бы он пошел воровать или грабить. «Конечно, скорее умер бы с голоду!».

У него были знакомые, которые охотно ссудили бы его небольшой суммой, но он никогда ни у кого взаймы денег не брал. «А напоследок менять правила не стоит. Да и что теперь думать о безденежьи, даже о голоде? Если дом горит в стужу, люди выскакивают на улицу не думая о простуде».

Почти весь день 22 июня он провел то на улицах, то в разных cabinets de lecture, где читал газеты. Выйдя под вечер, он встретил знакомого, — рабочего Пьера, которого в свое время встречал у Бланки. Тот очень торопился, но остановился на минуту, крепко пожал ему руку и вполголоса сказал, что завтра начнется восстание. Виер ахнул.

— Завтра? Ты знаешь наверное? — спросил он. Там, где они встречались, людям полагалось быть на ты, как в братское, Робеспьеровское время. Но как те революционеры, что уцелели после Террора, понемногу смущенно вернулись к «вы», так и некоторые единомышленники Виера с неловкостью чувствовали, что и им пора бы это сделать: братство явно не выходило. Самому же Виеру оно не очень удавалось и вначале.

— Наверное. Наконец, дело решится. Мы готовы на всё. Многих завтра не досчитаемся. Но мы знаем, за что идем на смерть, —сказал Пьер, впрочем без жара. — Наши отцы не знали. К концу недели будет социалистический строй во Франции, а затем во всем мире. Или же мы с честью погибнем. Мы исполним свой долг.

— Нет, не только свой долг, Пьер! Слушай, я где-то читал, что в Австрии есть такой орден, кажется орден Марии-Терезии, самый высокий из всех орденов. Он дается только тем, кто докажет, что «выполнил больше чем свой долг». Каждый из нас должен заслужить такой орден... Я, конечно, говорю фигурально.

Пьер недоверчиво на него посмотрел.

— Ордена, Мария-Терезия... Какие там ордена! Ты слишком для нас ученый. Мы говорим не фигурально, холодно сказал он.

— Дело не в словах!.. Куда же мне явиться завтра?

— Не знаю. Завтра сам увидишь. Прощай, я спешу.

Повидимому, этот брат не знал и его имени. Он снова, менее крепко, пожал руку Виеру и пошел дальше. «Не верить. Никому не верить — плохой признак. А мы единомышленники, «соратники». И Бланки не верил никому, не очень верит, кажется, и в дело... Собственно еще не поздно отказаться: просто завтра остаться дома. Тогда этот Пьер будет говорить, что я изменник, полицейский осведомитель. Это у нас делается просто, о самом Бланки так говорили. Нет, всё давно решено, передумывать поздно. В идею я твердо верю во всяком случае: надо уничтожить рабство, то рабство, в котором и я живу с девятью десятыми человечества».

Он в этот день почти ничего не ел и решил напоследок себя побаловать. Купил полбутылки вина, хлеба, котлету, немного сыра и даже пирожное, — давно себе всего этого не позволял; с улыбкой вспоминал, как питался у Лейденов и в Верховне. Когда он возвращался домой, по улице шла толпа рабочих, нестройно певшая «Mourir pour la patrie». Лица у всех были мрачные. Пьяных не было.

В гостинице словоохотливая хозяйка (Виер давно ее интересовал) игривым тоном сказала, что к нему заходила дама:

— Записки не оставила, но велела передать вам, что умоляет вас зайти к ней возможно скорее. Имени не оставила. Очень красивая дама. Иностранка. У нее такой приятный голос. И чудные зеленые глаза!

Виер пожал плечами и поднялся к себе в комнату. Засветил «кенкет», — вспомнил каганцы с салом времен детства, — стал готовить себе ужин. Выпил вино до последней капли, разогрел кофе: сахара у него оставалось шесть кусков. «Как раз хватит на остаток жизни», — подумал он. «Как же идти на такое дело, когда мало веришь в успех?

Еще никогда нигде не было настоящего социалистического строя, и попытки установить его неизменно кончались разгромом. Немного шансов, чтобы победили и мы. Если нас раздавят, то и мне пропадать. Скорее всего им тайно отдан приказ пленных не брать, кончать тут же. Людовик XIV не предписывал убивать гугенотов, он только объявил в декрете, что ошибаются люди, думающие, будто король запрещает maltraiter еретиков. А если даже потом будет «суд», их суд, всё равно расстреляют или сошлют в Кайенну. Бежать не удастся, и некуда: кто меня впустит, да еще без денег? Да, в идею я верю твердо, это главное. Может и идея хороша лишь пока не осуществлена? Да, мы обреченное поколение». Ему снова представился давний, длинный, скучный, ход рассуждений: «Из наших костей что-то вырастет, кто-то явится, сделает то, что нам не удалось, и т. д. Из за этого «и так далее» завтра десятки тысяч людей отдадут жизнь! И я отдам, так мало от нее взяв, так мало ее узнав, так мало даже увидев... Вот и луны больше не увижу, умру верно до наступления вечера... Но если завтра с утра пойдет дождь, то восстания не будет. Тогда останусь цел. Что ж, хочу ли я, чтобы пошел дождь?».

Он долго сидел у окна. Перестал думать о восстании, думал о Лиле и в сотый раз задавал себе вопрос, поступил ли он п р а в и л ь н о. Всю жизнь в этом для него было главное; теперь впервые он подумал, что, быть может, этот вопрос сам по себе праздный или не столь важный. «Еслиб восстания не было, еслиб я остался жив, всё равно я с ней больше встретиться не могу: ни меня, вероятно, больше не впустят в Россию, ни ее из России не выпустят. Я по настоящему любил ее и теперь люблю. Она забудет, как Зося. Но это кончено. И всё вообще кончено, это мысли т а к, впустую», — подумал он, всё неприятнее удивляясь, что у него настроение беспрестанно меняется, что у него к о л е б а н и я, — то, что, по его понятиям, всегда было непозволительно, недопустимо, постыдно.

Долго — впрочем больше по традиции: так полагается перед смертью — думал о всей прошлой жизни, о своих дет-

ских, отроческих годах, о хуторе матери, о школе. Вспоминал прошлое как его вспоминают старики: с тоской, с любовью, с умилением. Всё теперь казалось ему прекрасным. Почти так же, как о Лиле, вспомнил о своей первой любви: прогулки в Государевом саду над Днепром, запах акаций в ее садике. «Когда в Киеве узнают, ее родители будут качать головами, вздыхать, говорить: «Он был всё-таки герой», — а думать: «Он был всё-таки болван». И они тоже были хорошие, добрые, по старинному гостеприимные люди. В беседке угощали нас чаем из самовара, печеньем, сливками. Не было нигде такого печенья и сливок»... Прекрасной ему теперь казалась даже школа, дисциплиной которой он когда-то тяготился. Вспоминал первую дружбу. «Какой был милый, благородный мальчик Стась! Был? Вероятно, он и есть, но для меня всё — прошлое... Он гостил у нас, мы вместе ездили верхом, охотились. Были шалости. Нет, ни он, ни я почти не шалили. Вместе читали тайком недозволенные книги, обменивались планами, как жить... О том, для чего жить, спорить не приходилось: было ясно, что для освобождения Польши. Мы с ним были настоящие идеалисты, и не мы одни, и, конечно, не только поляки. Та русская молодежь в Киеве была тоже такая. Жаль, что это всё проходит с годами и очень быстро проходит. Перед выпуском мы со Стасем клялись не забывать друг друга, а через четыре года он был в Южной Америке инженером и больше не писал, и я даже не знаю, в каком он городе; куда только нас, поляков, не заносила судьба. Может быть, он там разбогател, имеет какую-нибудь гациенду и наживает деньги. Женился? Тогда скорее не на польке... Лиля!» — опять с мучительным чувством вспомнил он и подумал, что поступил он с ней всё-таки и не совсем «правильно». — «А что как это на самом деле не кончено, хоть теперь кажется безнадежным? Ко времени Лили я успел состариться, если только не родился стариком. Предположим, — лишь на минуту предположим, — что я не приму участия в восстании. Тогда, со временем, вернуться в Киев, к себе, в те места, будет всё же возможно. Что скрывать, и Волынь, и тот хутор, и даже Киев это «к себе», а

Париж, как я ни люблю его, это чужое, он не мой. Да разве Лиля будет меня ждать годами! И что я там стал бы делать? Жить «человеческой жизнью», говорил Тятенька? Такой жизнью, которой тысячелетьями жило и живет громадное большинство людей. Тятенька — милый, хороший старик, в нем была необыкновенная, заразительная сила уютности, уютность ведь тоже сила... Почему же именно мне надо было жить иначе? Ведь именно эти мои колебания показывают, что я средний человек, а история с Лилей показывает, что и не слишком хороший. В этом моя беда: б ы л обыкновенный человек и почему-то считал себя необыкновенным (незачем теперь и это от себя скрывать). Я считал себя человеком твердой воли и им не был. Есть люди типа «я хочу», а я человек типа «я хотел бы». И единственное мое качество в том, что я верил в идею, в великую идею эпохи. Верю и по сей день и за нее умру. Лейден говорил о разных «выходах». Мой выход самый достойный, всё равно, как смерть на войне, если война за правое дело. У многих ли это так? Завтра многие погибнут не ради убеждений, а просто потому, что надоела, стала бессмысленной жизнь, или потому, что жить не на что: т е ведь часто ставят людей в такое положение, когда ничего другого не остается. А вот этот недоумевает и сердится: он ведь сделал всех французов свободными людьми!» — со злобой подумал Виер, взглянув на лежавшую перед ним «Историю Жирондистов» Ламартина. — «Надо бы кстати вернуть ее в библиотеку. Не успею. Впрочем, я оставил залог». — Он вздохнул и стал читать. Описание последнего ужина в Консьержери его взволновало.

Проснулся он в седьмом часу утра. Первым делом взглянул в окно. Д о ж д я н е б ы л о. «Ну, вот всё и в порядке... Нет, не боюсь! Сегодня? Пожалуйста, когда угодно!» — говорил он кому-то. Умылся с головы до ног, надел чистое белье, свой лучший костюм. «Лилиной розы нет»... Он положил в карман то ее письмо. Подумал, что хозяйке заплачено до 25-го. «А если она будет держать для меня комнату дольше, то покроет убыток продажей моих вещей... Лейден в свое время старался при-

учить меня к аккуратности в денежных делах. И приучил. Он хороший человек, хотя не совсем нормальный, и ни для какого дела не нужный. Надеюсь, он на своих платанах нажил немало денег. Всё пойдет Лиле... Да, она, конечно, уже давно в Киеве и волнуется больше, чем я сейчас».

День был солнечный, чудесный, такой день, когда хочется забыть обо всех заботах, бросить дела, уехать за город. И опять Виер подумал, что еще не поздно. «Нет, не буду жить как все!»... Ни тревоги, ни волненья, ни даже простого оживления на улицах не было. Настроение было унылое — или так, по крайней мере, ему казалось. Он предполагал, что восстаниям всегда предшествует «нарастание грозного настроения». «Неужто могут быть будничные унылые восстания? Или просто революция уже надоела? Но ведь вначале она у всех вызывала такой же восторг, как у меня когда-то в Петербурге» (ему теперь казалось, что в Петербурге он был много лет тому назад). На террасах кофеен вяло разговаривали люди, — менее громко, чем в обычное время. В лавках велась вялая торговля. Он зашел в кофейню купить газету. Два старика у стойки говорили, что в городе начались беспорядки.

— Всё это делают иностранцы, особенно поляки, — сказал один. — Смехотворное правительство дало миллионы на Национальные Мастерские, а там эти господа часть себе прикарманили, а часть роздали на устройство революции.

— Я слышал, что они приготовили отравленную водку для раздачи подвижной гвардии, — сказал другой. — Хоть бы водку не портили. Ну, что ж, сыграем партию в домино?

В газете тоже ничего особенно важного не было. Говорилось, что «атмосфера в Париже тревожная», но и это говорилось как будто вяло. Виер пошел дальше. Никаких признаков восстания всё не было. «Что такое? Неужто ничего не будет?». Не знал, что при восстаниях, даже очень серьезных, на расстоянии какого-либо километра или двух от места кровавых боев может идти самая обыкновенная будничная жизнь.

Внезапно откуда-то справа послышалась пальба. «Слава Богу, началось»! — подумал он, бледнея, и поспешно направился в ту сторону. Действительно там происходило что-то тревожное. Хозяева с озабоченными и серьезными лицами выходили из лавок. Некоторые их запирали и опускали навесы. Бакалейщик втаскивал в комнату лежавшие на ларьках фрукты и овощи. В подворотнях шептались люди. — «Что такое случилось»? — спросил он в одной подворотне. Кто-то окинул его подозрительным взглядом. — «Не знаю. Беспорядки», — уклончиво ответил другой. В одной из кофеен лакеи, ругаясь, убирали стулья террасы, уносили их внутрь и ставили на столы. Клиенты поспешно расплачивались и уходили, оглядываясь по сторонам.

У забора перед афишей собралось человек пять. На большой желтой афише было напечатано: «L'Oldridge's Balm fortifie les cheveux et les restaure. 4 fr. 50, 8 fr. et 15 fr. le flacon. Pharmacie, 26, place Vendôme». Но ниже, на плохо приклеенном белом листе бумаги, огромными, кривыми, точно трясущимися буквами написано было чернилами: «Aux armes, citoyens!». Подошел человек в мундире, выругался и сорвал белый листок. Остался только «L'Oldridge's Balm».

— Что, это правда, будто началось восстание? — робко спросил кто-то из собравшихся.

— Эти мерзавцы захватили Пантеон, там их центр. Ничего, им свернут шею!

— Будем надеяться, но это еще как Бог даст, — сказал другой. — Национальная Гвардия не очень надежна. У меня сын служит в девятом Легионе, он говорит что настроение нехорошее.

— Это неправда! — резко сказал военный. — А кроме того, слава Богу, есть регулярная армия. И есть генерал Кавеньяк! Он им покажет!

«Это офицеры и лавочники, что ж по ним судить о настроениях Парижа?» — подумал Виер и направился дальше, соображая, как пройти к Пантеону. Пальба слышалась уже сильнее, с разных сторон. Улицы пустели. Слева показался отряд пехоты. Лица у солдат были мрачные. «В Пантеоне центр

восстания?» — спрашивал себя Виер. Он не очень представлял себе, что это значит. «Очевидно, там заседают в о ж д и? Кто же они, если Бланки и другие арестованы? Но хорошая ли это мысль — устроить центр в огромном церковном здании? Те подвезут артиллерию и разгромят Пантеон. Впрочем, наши верно об этом подумали и знают что делают»...

Стоявшая у дверей убогого дома старая женщина посоветовала ему дальше не ходить.

— Там эти... Баррикады, — хмуро произнесла она необычное, не-житейское слово. — Я всё это когда-то видела!

— Да что же мне делать? Я живу около Пантеона.

— Не ходите туда! Уже есть раненые и убитые, много убитых! — негромко сказал пробегавший мимо них человек в соломенной шляпе. Он был бледен и растерян.

— Когда они только перестанут резать друг друга! — сердито сказала старуха.

Виер подумал, что со стороны реки будет легче подойти к Пантеону. «Старуха верно видела и взятие Бастилии, и гильотину на Площади Согласия. Насмотрелась! У нее хорошее, жалкое лицо. Жалко ее, всех жалко. За них и погибаем»... Он сделал большой крюк и опять попал в кварталы, где ничего тревожного не происходило. Минут через пятнадцать он вышел к реке и увидел боковой фасад Notre Dame. Почему-то остановился и долго смотрел на это здание, всегда казавшееся ему самым прекрасным в мире. «Оно в с ё - т а к и переживет всё... Вот и начинается смыкаться мой круг. Спустится навсегда черный занавес. Но, может быть, т а м за занавесом начнется настоящая жизнь? Ах, еслиб это было правдой!» — думал он. Мимо него на рысях прошел отряд кавалерии. «Пора!»...

На перекрестках стояли дозоры. Его остановили люди с кокардами и строго сказали, что дальше идти нельзя. Сейчас начнутся бои.

— Да что же мне делать? Я живу у Политехнической Школы.

Они окинули его взглядом и, повидимому, по одежде признали с в о и м.

— Ну, что ж, попробуйте. Может, еще успеете пройти, — сказал один из них.

«Уж скорее у этих есть подъем. Подъем, чтобы защищать свои луидоры», — подумал он и пошел быстрее. Минут через десять он оказался в с в о е м лагере. На rue de la Montagne Ste Geneviève была воздвигнута б а р р и к а д а, первая баррикада, которую он увидел. «Так вот они какие! Я и их представлял себе иными.. Верно, другие крепче, эту снести очень легко, она и невысока. Да где же п о в с т а н ц ы?». Люди, очевидно, бывшие повстанцами, закусывали в подворотнях, сидели и стояли неподалеку на террасе небольшой кофейни. «Самые обыкновенные блузники... Да какими же им и быть? Не носить же им гусарские мундиры!». Один вертел в воздухе дубинкой и что-то говорил, невесело смеясь. «Еслиб сейчас прискакали те кавалеристы, то захватили бы баррикаду без выстрела!». Занять место на пустой баррикаде ему было неловко. — «Да и как же это занять место? Лечь, что ли, на камни? И прежде всего, конечно, надо достать ружье»...

Блузники сообщили ему, что ружья раздают в Пантеоне.

— Время еще есть, — сказал один из них, точно отвечая на его молчаливый упрек. — Они ждут ту сволочь, подвижную гвардию. Когда начнется огонь, мы займем места.

— Да, лишь бы вы не опоздали! — хмуро ответил Виер. Ему становилось всё более ясно, что восстание обречено на гибель и что эту обреченность понимают все его участники. И тем не менее он чувствовал, что драться они будут храбро. «Без энтузиазма будут делать то, что делали бы с энтузиазмом. Именно потому, что нам нечего терять». — Он почувствовал, что говорит неправду. — «Как же нечего! Жизнь, жизнь, вот это солнце, эти деревья, этот воздух!».

Его внимание обратил на себя дом против баррикады. Дому было наверное лет триста. Над невысокой porte со-

chère, уходившей в длинный, извилистый, необыкновенно мрачный двор, было маленькое жилое помещение с окном тоже довольно необычного вида. С подоконника растворенного окна испуганно смотрела на баррикаду девочка лет десяти. «Вот она, быть может, на всю жизнь сохранит в памяти мое лицо, если я тут погибну».

Он вспомнил рассказ Ламартина о том, как вождя жирондистов Верньо перед казнью навестил в тюрьме его родственник с маленьким сыном. Увидев бледного измученного человека в лохмотьях, с отросшей бородой, ребенок отшатнулся и заплакал. «Mon enfant, lui dit le prisonier en le prenant dans ses bras, rassure-toi et regarde-moi bien; quand tu seras homme, tu diras que tu as vu Vergniaud, le fondateur de la république, dans le plus beau temps et dans le plus glorieux costume de sa vie: celui où il souffrait la persécution des scélérats et où il se preparait à mourir pour les hommes libres».

«Может быть, Ламартин и приукрасил всё это со слов племянника. А может быть, и правда», — подумал Виер. — «Но зачем же мне вспоминать то, что кто-то когда-то сказал, если мне самому осталось жить не больше, чем тогда оставалось Верньо. Лейден говорил мне, что мы оба с ним книжные люди, и приписывал это своему влиянию на меня! Хорошо влияние! Уж он-то на баррикадах не погибнет. У него платаны и полоумные книги... Но отчего же я теперь, в высший день моей жизни, не чувствую восторга? Верно на войне не так? Неужели потому, что там строй, мундиры, музыка, что там нет ненависти к врагу? А здесь всё так просто, так просто, так не картинно. Разве этого я ждал? Я ведь всю жизнь мечтал о баррикадах! Что ж поделаешь, жил безвестно, погибну безвестно, как солдаты убитые под Вальми. Лишь человеческое лицемерие говорит, будто память о них никогда не умрет. Никто, никто не знает их даже по имени. И ничего в этом нет ни страшного, ни удивительного. Потом будет какой-нибудь другой Oldridge's Balm, всё же мы секунда в непонятной истории человечества. Да, да, смотри!» — мысленно сказал он, встретившись глазами с девочкой. — «Смотри, — перед тобой безвестный солдат революции, — «мятежников убито

столько-то» — впрочем даже и этого не будет сказано в их победном бюллетене. Перед тобой не Верньо, а символ. Как символ, меня навсегда и запомни!».

Пальба всё усиливалась. На площади перед Пантеоном стояли кучки людей. Какой-то человек объяснял, что главное это удержать за собой Юридическую Школу: «Если они ее возьмут, то расстреляют нас из окон в пять минут». Виер, нервно зевая, посмотрел на окна: на тех, что были ближе к Пантеону ставни были затворены, на других ставней не было. «Нам первым делом надо устроить наблюдательный пункт. Где? На купол Пантеона не подняться, да там и стоять негде», — подумал он и поморщился. У него на высоте кружилась голова.

Огромный, странно светлый, зал Пантеона уже был переполнен. Было шумно, но и тут особенного подъема не замечалось. Мужчины с ружьями, пиками, саблями ходили по залу, сидели на ступеньках или лежали вокруг колонн на мраморном, в косых квадратиках, полу. В ту пору в Пантеоне было еще очень мало статуй, картин, фресок: но почти у всех мужских фигур тоже были в руках мечи. «Вот, вот, и здесь меч, всё в мире решается мечом, тут католики сходятся с социалистами. А я и социалист, и всё-таки католик. И мы правы».

Ему сказали, что оружие можно получить в подземелье. Темно-зеленая тяжелая дверь была отворена настежь. На него пахнуло затхлой сыростью. Он спустился с толпой других людей. В конце полутемного подземелья раздавались ружья. Кто-то старательно-восторженно сказал, что на этом месте был похоронен Марат. Виер поморщился. «Жаль. Наше дело чистое, зачем пачкать его симпатией к злодеям?». При свете фонаря он осмотрел свое ружье. «Старье, но стрелять можно».

Никаких вождей и в Пантеоне не было, хотя более энергичные люди уже пытались взять в свои руки дело обороны. «А то попробовать мне?» — подумал он и почувствовал, что теперь и слава ему больше не нужна, почти не нужна. «Да и кто там разберет? Ну, что ж, другие умрут

от рака или чахотки»... С радостью видел, что ничего не боится, ни о чем не жалеет.

— Следовало бы подняться на крышу и устроить там наблюдательный пункт. С крыши легко будет обстреливать атакующую колонну, — сказал он одному из более энергичных людей. Тот, услышав военные выражения, остановился.

— Прекрасная мысль, гражданин, — сказал он. — Возьми кого-нибудь с собой и поднимись.

Пальба загремела теперь уже очень близко. Лежавшие и сидевшие на ступеньках люди стали быстро подниматься. Лица стали еще бледнее.

Подавляя зевки, он простоял на крыше несколько часов. Часто подходил к краю, чтобы преодолеть волей головокружение. Около здания Юридической школы начались бои. Свои и враги так тесно смешивались, что стрелять было невозможно. Иногда на крышу поднимались рабочие, с некоторым недоумением на него смотрели и спускались. Делать здесь в самом деле было нечего. На людях было легче. К тому же начался дождь, впрочем продолжавшийся не долго. Вдали видна была быстро проезжавшая правительственная артиллерия. «У нас никаких пушек нет. Значит, ясно, что они нас сейчас же и разнесут. Пантеон и первого артиллерийского залпа не выдержит. Всё равно, как умереть, но уж всё-таки защищаться лучше внизу. И притом какой же наблюдательный пункт, если мне некому давать сведения!.. Пришел, пришел конец... Лиля думает ли сейчас обо мне? Бедная, бедная Лиля! Я люблю ее».

Он спустился вниз, доложил кому-то о том, что видел, но слушали его плохо, и ему самому ясно было, что всё равно ничего сделать нельзя. «Может быть, в теории с крыши было бы легче обстреливать врага, а на практике в уличном бою совершенно то же самое!». Он вышел на площадь, обогнул баррикаду на rue de la Montagne Ste Geneviève. Почему-то хотел еще раз взглянуть на тот дом. «Лишь бы

не убили пулей в спину, в этой унылой, жуткой, выдохшейся за четыре месяца революции!».

Его последнему желанию не суждено было исполниться. До баррикады он не дошел. Спереди, со стороны Сены, вдруг послышался грохот. Правительственная артиллерия открыла огонь. Снаряд ударил по баррикаде, камни понеслись вверх и в стороны, поднялся столб пыли, на мгновенье прорезал гул чей-то отчаянный крик. Грохот нарастал всё страшнее — и оборвался. Тотчас загремели барабаны, и лишь в эту минуту Виер впервые почувствовал тот п о д ъ е м, которого не находил целый день. Теперь было н а с т о я щ е е, то, о чем он мечтал мальчиком, — очевидно ожидалась а т а к а. Он побежал вперед, почти судорожно сжимая ружье. Издали послышался конский топот, тоже всё нараставший, смешивавшийся с барабанным гулом. Вдруг впереди, не очень далеко, Виер увидел несшуюся на них, на него, кавалерийскую часть. Люди, пригнувшись к головам лошадей, мчались с саблями наголо, с искаженными лицами. Они что-то орали, но их слов он не слышал: всё заглушал барабанный гул, ставший почти нестерпимым. Он тоже хотел прокричать: «Vive!..» или «A bas!..», прокричал что-то совершенно бессмысленное и, остановившись, приложил ружье к плечу. «Сейчас! Сейчас конец!» — подумал Виер. Но выстрелить он не успел. С баррикады повстанцы открыли беглую беспорядочную стрельбу. Пуля — с в о я — ударила его сзади. Он выронил ружье и повалился на мостовую. Через несколько секунд он был растоптан мчавшимися лошадьми.

Полуразрушенная артиллерией баррикада была «взята», т. е. мимо нее и над ней с диким, бешеным, бессмысленным криком пронесся кавалерийский эскадрон, рубя и растаптывая людей. Но еще долго продолжался кровопролитный бой. Обе стороны дрались храбро. Юридическая Школа переходила из рук в руки. Артиллерия громила Пантеон. Затем пехота взяла его штурмом.

Тела убитых увозились на подводах. Часть трупов почему-то сложили в одной из зал Тюилерийского дворца. Там когда-то происходили балы. Где-то поблизости от этой залы

заседал, в пору революции, Комитет Общественного Спасения, где-то лежал на столе перед казнью раненый Робеспьер. Изломанное обезображенное тело Виера положили на пол.

Роксолана долго его искала. Бои еще не везде кончились, ходить по улицам было опасно, тем не менее она по несколько раз в день приходила в гостиницу и в слезах о нем спрашивала. Хозяйка, сочувственно вздыхая, отвечала ей, что он не возвращался. — «Такой милый человек», — говорила она, — «и такой красивый!».

По собственному желанию, Роксолана заплатила оставшийся за ним крошечный долг за три дня. Хозяйка не хотела брать, не сразу согласилась, посчитала еще меньше, чем следовало, и просила зайти за его вещами. Посоветовала поискать его в больницах. Роксолана побывала почти везде; замирая от ужаса и отвращения, заходила в мертвецкие. Ей не пришло в голову искать тело в королевском дворце. Она долго и горько плакала. Так и не поняла, что он был за человек, почему он погиб и зачем всё это делают люди?

VI

Le dur faucheur, avec sa large lame, avance
Pensif et pas à pas vers le reste du blé.

Hugo.

Бальзак на этот раз прожил в Верховне полтора года. Во Франции революция всё еще не кончилась или, по крайней мере, будущее страны было очень темно. Денежные же его дела никак не стали лучше. Кроме того он попрежнему надеялся добиться окончательного ответа: выйдет ли Ганская за него замуж или нет? И, главное, ему теперь было почти всё равно, где жить.

В его отношениях с Ганской с внешней стороны как будто ничего нового не произошло. Она с ним была чрезвычайно мила — и ответа не давала. Он тоже был чрезвы-

чайно мил, необычайно ею восторгался, неправдоподобно хвалил ее в письмах. Но теперь он, как бывает с близкими к смерти людьми, стал еще проницательнее. Видел ее насквозь. Быть может, и других, и себя обманывал уже больше по привычке, с легкой скрытой усмешкой: «Ну что ж, вы верите? Тем лучше». Его могло и забавлять, что Ганская по прежнему старается быть небесным видением. Оба они привыкли к своим ролям, как артисты после пятисотого представления пьесы.

Ему было легче с ее дочерью и с зятем. Они были молоды, были хорошие, милые, веселые люди; тогда были еще очень счастливы (впоследствии граф Мнишек сошел с ума, а жена его умерла в одиночестве и бедности). Правда, чужое счастье начинало раздражать Бальзака. Ничего дурного в чужом счастьи, конечно, не было, но ему надоело, что людям так хорошо, что они так всем и особенно друг другом довольны и так наслаждаются жизнью.

Понимал он и то, что его связь с Ганской, компрометировавшая их семью, не может быть приятна Мнишекам. Об этом было тяжело с ними говорить, нелегко и странно молчать. Но они были тактичны, по старинному почтительны с матерью, а кроме того искренно его полюбили. Относились к нему с родственной лаской, — не как к «отцу», но как к дяде или деду. Он тоже был с ними очень ласков. При всем своем себялюбии, при своем беспредельном эгоизме, Бальзак был в жизни скорее добр. Он был и благожелательный человек, — т. е. желал зла лишь немногим людям. В Верховне он называл себя «старцем семьи». Это было преувеличеньем. Ему шел пятидесятый год. Он уверял других, что Ганская много его моложе, и сам делал вид, будто этому верит. В Верховне все с радостью это и приняли. На самом деле ей было сорок девять лет. Правда, он был очень болен, но и она тяжко страдала от подагры и от других болезней.

Бальзак болел уже давно. В его письмах беспрестанно говорится о разных физических страданиях: голова тяжела, «как купол святого Петра», сердце стучит как бешеное, одышка, боли печени, офтальмия, черная точка в глазах. Лечили его и в Париже странно, по крайней мере по нынеш-

ним, также не вечным понятиям: предписывали то «ставить сто пьявок», то «пить по четыре квинты воды», то «сидеть каждый день в горячей ванне три часа». Он вообще любил лечиться, а в Верховне леченье для него, как и для Ганской, стало развлеченьем в однообразной деревенской жизни. В верховенском докторе Кноте французские биографы Бальзака видят прообраз гениального и загадочного польско-еврейского врача Моисея Гальперсона из «L'Initié». Для такого предположения нет никаких оснований. Кноте не был евреем, не был, вероятно, по крови и поляком, ничего загадочного в нем не было, как не было у него и никакого гения. Гениальным его объявил Бальзак, оттого ли что изредка после его лечения чувствовал себя лучше, или чтоб сделать удовольствие хозяевам, а вернее всего, просто по случайной игре воображения. Кноте был захудалый провинциальный врач со своеобразными медицинскими идеями. Он лечил Ганскую от подагры, заставляя ее опускать ноги во внутренности только что зарезанного поросенка. У Бальзака он нашел «гипертрофию», — это было подходящее слово для определения не столько его болезни, сколько всего его существа. Лечил доктор травами и порошками. Травы были, по его словам, китайские, турецкие, какие-то еще. Порошков надо было для полного выздоровления принять в общей сложности сто шестьдесят. Настойку же из восточных трав он велел глотать по четыре раза в четные дни. Кроме гипертрофии, Кноте нашел у больного «цефалальгическую интермиттенцию». Повидимому, у Бальзака, как у большинства старых людей, было несколько болезней, осложнявших и маскировавших одна другую.

На письменном столе после его приезда опять появились перья, карандаши, стопка бумаги с надписью Yezerna. Однако работа не очень пошла, хотя он снова стал пить свое прежнее кофе; теперь глотал чуть не кипяток, чем приводил в изумление приставленного к нему слугу, который очень его любил и ценил за вежливость. Объясняться им было трудно: Бальзак по польски знал только слово «проше». Большую часть дня он проводил у себя за письменным столом. Писал

немало писем, — теперь родным писал правдивее, чем прежде, кое-что говорил на чистоту. Обдумывал план книг, но в душе как будто не верил, что их напишет. Думал о своей литературной судьбе. По его мнительности, ему казалось, что мода на него прошла или проходит.

Своей будущей мировой славы он, быть может, всё-таки не предвидел. На французском языке были романы тоньше, лучше, совершеннее книг Бальзака. Но ни Стендаль, ни Констан, ни Флобер не имели его мощи и размаха, не оказали на литературу такого влияния, как он. Теперь есть словари, относящиеся к его произведеньям, есть специальные исследования, которые верно очень удивили бы его самого. В Англии глубокомысленные комментаторы Свинборна ломали себе головы над тем, что означает его строчка «The splendor of a spirit without blame», — пока сам поэт не объяснил, что он имел в виду коньяк. До столь почтительного внимания комментаторов Бальзак не дожил: его ругали в течение всей его жизни, а ничего не понимавшие люди над ним и издевались. Это было даже не изнанкой славы: это было просто ее составной частью. Смеялись и над его литературными приемами, над тем, что он пишет не по правилам, пишет слишком подробно о всяких мелочах, пишет с вечными отступлениями, с бесконечными описаниями городов, домов, вещей. Он действительно не обладал драгоценным уменьем вычеркивать; но из за этого художественного недостатка его книги стали энциклопедией французской жизни.

Теперь он, повидимому, почувствовал, что главное уже сделал, и интерес к тому, что он еще мог бы создать, у него ослабел. Впрочем иногда кое-что писал, но больше по привычке, не слишком стараясь, — как Микель Анджело зимой в горах лепил статуи из снега.

В Верховне можно было не очень думать о грозных событиях в мире. В далекую от Петербурга деревню новости приходили менее страшными, — всё смягчалось временем и особенно расстоянием. Он вдобавок газетам никогда не верил и даже не мог к ним относиться серьезно. Журналистов изображал не иначе, как вралями. Один его герой утверж-

дает, что первым газетным лгуном был Веньямин Франклин, который, «вместе с громоотводом и республикой», изобрел газетную утку и сам этим похвалялся. О политической карьере Бальзак больше не думал. Быть может, отложил ее по недостатку времени и вследствие всё усиливавшейся конкуренции. Так Гитлер говорил в 1937 году, что откладывает писание романов, ибо не уверен, что в этой области сравнится с величайшими из великих.

К Ганской попрежнему приезжали гости. Шла веселая, гостеприимная, со стороны как будто беззаботная, помещичья жизнь. Бальзак помнил свои обязанности. Одевался, выходил в гостиную, быть может, еще иногда и блистал, больше по привычке. Его блеск впрочем в Верховне принимался и на веру. Гостей кормили, поили, развлекали. При усадьбе или в деревне был скрипач Моисей. Верно он играл хорошо: иногда трогал Бальзака до слез.

Через некоторое время он стал чувствовать себя совсем худо. Удушье, головные боли почти не прекращались; странная черная точка в глазах вызывала у него ужас: что, если ослепнет! Гениальный доктор твердо обещал выздоровление: настойка в четные дни и сто шестьдесят порошков должны сделать свое спасительное дело. Но сын Кноте, тоже врач, хотя менее гениальный, чем отец, склонялся к мысли, что Бальзак болен безнадежно.

Сам он всё же кое-как бодрился, говорил, что всё пройдет, что революция во Франции скоро кончится, и на писателей, в частности на него, польется золотой дождь. Заботился о гнездышке на улице Фортюнэ, посылал матери в Париж указания, мечтал о том, чтобы привезти из Верховни головку Греза, принадлежавшую когда-то королю Станиславу, картины Каналетто, принадлежавшие папе Клименту XIII. Собирался, если женится на Ганской, принимать у себя весь Париж. Но иногда приходил в ужас от бедности и запрашивал сестру, нельзя ли ему будет сговориться с ее кухаркой, чтобы она за два франка приходила к нему каждый понедельник и готовила говядину сразу на целую неделю. Советовал сестре соблюдать крайнюю бережливость и пере-

браться куда-нибудь на Etoile, где можно получить квартиру за бесценок.

По делам и для развлечения хозяева поехали с ним на Контракты. Как полагалось, сняли в Киеве дом, привезли свою мебель, утварь, постельное белье. Потащили его к кому-то на большой прием. Киевский бал поразил своим великолепием этого парижанина. — «Вы не знаете», — писал он сестре, — «что такое дамские туалеты в России; это выше, гораздо выше всего того, что можно увидеть в Париже». Сообщал, что для мазурки разрезали платок, стоивший больше пятисот франков.

В Киеве он заболел, пролежал три недели и вернулся в деревню совершенно разбитый. Теперь больше и сам не знал, хочет ли жениться на Ганской. Смотрел уже на это с какой-то почти спортивной точки зрения: столько лет добивался, — стыдно было бы не добиться. «Неуспех убил бы меня морально», — писал он. Но иногда сообщал родным, что, должно быть, вернется в Париж один, продаст дом, отдаст Ганской ее долю, а сам, как в молодости, будет жить в меблированной комнате.

Давно ли, в какой злосчастный день, пришла ему в первый раз мысль о том, что незачем беспокоиться о переездах, — он умирает. Бальзак так часто изображал смерть, так часто перевоплощался в умирающих, — теперь было не то, совсем не то.

Вероятно, младший Кноте сказал Ганской, в каком положении больной. Да это с каждым днем становилось всё яснее каждому, кто его видел. Если она больше и не любила Бальзака, то во всяком случае очень к нему привыкла; привыкла и к лестной мысли, что в нее страстно влюблен знаменитейший из всех романистов. Нет причины относиться к ней с той ненавистью, с тем презрением, с какими к ней относятся некоторые французские его поклонники. Она была не злая и не глупая, скорее даже добрая и умная женщина. Ничего по настоящему недостойного ей в вину поста-

вить нельзя. Она любила его довольно долго, — хотя, вероятно, с каждым годом всё меньше. Госпожа Шатобриан говорила, что за всю свою жизнь не прочла ни единой строчки, написанной ее мужем. Ганская не только читала Бальзака, но очень заботилась об его успехе и славе.

Конечно, она могла бы заплатить его долги и дать ему возможность жить и работать спокойно. Но не все люди жертвуют имуществом даже для самых близких, для детей, — а он был любовник, и связь с ним надо было скрывать, хотя все о ней знали. Не очень удобно было тратиться на него и в отношении законной наследницы, дочери. Кроме того Ганская, как почти все богатые люди, была напугана февральской революцией. Приблизительно в это время будущий герцог Морни говорил, что, если во Франции восторжествует социализм, то вся надежда будет на русскую армию, — «он предпочитает социалистам казаков». Ганская смертельно боялась разорения. Часть долгов Бальзака она всё же заплатила. Да ей и не так просто было достать сразу большую сумму. У нее было триста слуг, но денег в доме иногда не было совершенно. Вдобавок, Ганская имела все основания думать, что при своем характере, он тотчас снова начнет делать долги. Между тем у нее в Верховне он и без брака мог жить спокойно, ничего не тратя, не очень опасаясь парижских кредиторов.

Она могла бы стать его женой вскоре после смерти своего первого мужа и не отравлять Бальзаку жизнь обещаниями: да, но не сейчас, позднее, подождем, куда же спешить? Действительно, еслиб у него не было долгов и был хоть какой-нибудь захудалый титул, она охотно вышла бы за него замуж. В торговой генуэзской республике дворянство считалось худым сословием, и знатный дворянин только за особые заслуги мог быть повышен в ранг купца. Но Ганская жила не в Генуе. Выйти замуж за иностранного литератора с фальшивой дворянской частицей ей не хотелось. «Страстная любовь» была возможна и без брака.

Она приводила всё те же, и сходные новые, доводы в пользу того, чтобы отложить дело: долги его еще не запла-

чены, его заработки очень упали, ее дела стали хуже, в имениях было четыре пожара, русская подданная, выходя замуж за иностранца, теряет право владения землей и крепостными. Он слушал хмуро.

Но когда Ганская увидела, что дни Бальзака подходят к концу, в ней заговорила совесть. Враги, объяснявшие худшими побуждениями все ее поступки, находили, что ей стать вдовой знаменитого писателя было много выгодней, чем быть его женой. Это клевета. Она видимо была чрезвычайно расстроена. Своим родным, очень неодобрительно относившимся к этому браку, искренно и с достоинством отвечала, что его тяжелая болезнь положила конец ее сомненьям: теперь она обязана выйти за него замуж, — он умирает. И в начале 1850 года было решено обвенчаться.

Надо было предварительно опять съездить в Киев. Опять был снят дом, опять из Верховни пошли подводы с мебелью и утварью, опять он в Киеве заболел и опять пролежал там три недели. Здоровый, прекрасный климат Украины стал казаться ему чудовищным: он говорил с ужасом о какой-то «молдавской лихорадке», которую заносит с берегов Дуная. Теперь мечтал только о Париже. Кажется, уже меньше восторгался гением доктора Кноте и больше возлагал надежд на французских врачей.

Есть у него не очень известная повесть «Honorine». Ее высоко ставил Лев Толстой, не слишком почитавший Бальзака (Тургенев вообще отрицал его талант, Достоевский же перед ним преклонялся). В этой повести Бальзак пишет: «Француз засыхает заграницей, как пересаженное дерево. Эмиграция у французского народа — бессмыслица. Многие французы сознаются, что при возвращении на родину смотрят с удовольствием даже на своих таможенных чиновников; это может показаться самой отчаянной гиперболой патриотизма». Ему случалось ругать Францию, случалось выражать намерение перейти в русское подданство, — всё это было вздором: он Францию обожал. Теперь, вероятно, особенно торопился потому, что хотел умереть на родине.

Свадьба состоялась 14 марта в Бердичеве. Первоначаль-

но был намечен Житомир, но его признали чрезмерно светским городом, — там было много знакомых, — и житомирский епископ как будто не очень хотел их венчать: давняя связь жениха и невесты слишком нашумела. Выбрали маленькую бердичевскую церковь святой Варвары и венчанье назначили в самое необычное время, в семь часов утра, очевидно чтобы обойтись без гостей. Прямо из церкви они вернулись в Верховню.

В письмах к матери и сестре он изображал восторг: и жена, и ее дочь «на верху блаженства», это «прежде всего» брак по любви, Ева — «бриллиант Польши, драгоценность древней, знаменитой семьи Ржевусских». Правда, у нее подагра, у нее распухли руки и ноги, так что она не может ни писать, ни ходить, но «это еще можно вылечить», в Париже это пройдет, там можно будет faire de l'exercice, а на Украине это невозможно в течение шести месяцев в году (очевидно, из за лютой стужи). В том, что она перевела состояние на имя дочери, видел «геройскую решимость» и даже какую-то «sublimité maternelle».

В одиннадцатом часу вечера они легли спать больные и измученные. То, о чем он мечтал столько лет, осуществилось. И он возненавидел Ганскую.

VII

Blest be the art that can immortalize.

William Cowper.

Особняк на улице Фортюне был, наконец, отделан. За три дня до свадьбы Бальзак послал из Бердичева своей матери последние инструкции: надо к их приезду разукрасить дом цветами, перечислял комнаты и жардиньерки, требовал, чтобы цветы были «очень, очень хороши». Очень, очень хорош был и весь особняк, стоивший огромных денег. Теперь всё было готово.

Теофиль Готье говорит: «Есть турецкая поговорка: «Когда дом достроен, приходит смерть».

Из Верховни новобрачные выехали во второй половине апреля. Дороги были плохие, — грязь, лужи, ухабы. Со свойственной больным людям склонностью к преувеличениям, Бальзак из Дрездена написал сестре: «Не один раз, а сто раз в день была в опасности наша жизнь!». Из Дрездена же он послал матери указания относительно этикета встречи: в момент их приезда мать не должна находиться в особняке; они к ней приедут с визитом на третий день; не должна встречать их и сестра; на столе должен быть обед; встретит их прислуга, и т. д. Трудно понять, как умирающий человек — и столь замечательный — мог думать о подобном вздоре. Этот ревностный обличитель «буржуазии» был в жизни самый подлинный буржуа.

В Дрездене он еще купил что-то очень дорогое, — если впрочем не хвастал в письмах к посторонним людям. Редактору газеты «Constitutionnel» сообщил, что купил или покупает за 25-30 тысяч франков старинный туалетный прибор, «в тысячу раз красивее прибора герцогини Беррийской», а жена его будто бы приобрела жемчужное ожерелье, «такое, что сошла бы с ума святая». Эта черта выскочки, неприятная ему в других, тоже у него оставалась до конца жизни: всё, что принадлежало ему, было изумительно и бесподобно.

Они приехали в Париж поздно вечером 27 мая. Мать и сестра с точностью исполнили все его предписания. Но вышла большая неприятность. Дом на улице Фортюне был ярко освещен. Никто не отворил на повторные звонки, на стук, — трудно было понять, в чем дело. Этикет был грубо нарушен. Пришлось послать за слесарем и взломать замок. Оказалось, что лакей Бальзака внезапно сошел с ума, многое побил в доме, затем забаррикадировался. «Зловещее предзнаменование», — говорит биограф. Повидимому, с женой Бальзака случилось что-то вроде истерического припадка. Они разошлись по своим комнатам.

Письма Ганской к Бальзаку были им уничтожены. Его письма к ней она несколько исправила и дополнила, — по словам немногочисленных исследователей, которых допуска-

ют в архив, завещанный Французской Академии виконтом Левенжулем. Этот бельгийский поклонник Бальзака посвятил ему большую часть жизни, потратил много денег на составление Бальзаковского архива. Он знал о своем герое всё. Повидимому, знал кое-что и об его жизни после брака, но ничего не хотел сказать ясно и ограничился кратким указанием: брак оказался неудачным. Французский академик, имевший доступ к архиву, тоже неясно ссылается на слово, будто бы сказанное Бальзаком о жене: «Она убивает меня понемногу» (Elle m'assassine en détail).

Вначале всё шло как будто сносно, — по крайней мере с внешней стороны. Бальзак еще изредка выходил, иногда принимал друзей. Говорить ему было тяжело, слушать молча здоровых людей еще тяжелее. Порою он впрочем оживлялся и старался говорить увлекательно. Но и блеск его речи теперь мало походил на прежний. Слушать его было тяжело. Обычно разговор поддерживала госпожа Бальзак. Он уверял, что какой-то волшебник предсказал ему: в пятьдесят лет его постигнет очень тяжелая болезнь, всё же он выздоровеет и проживет до восьмидесяти. Друзья, вероятно, вели разговор в веселом тоне, но ни у кого из них не было сомнений: дни Бальзака сочтены.

Разумеется, его родные скоро поссорились с женой. Они не могли не замечать, что он их стыдится; они были бедны, к аристократии не принадлежали и, в отличие от него, на это не претендовали. На самом деле ему стыдиться никак не приходилось. В своих письмах к Ганской он когда-то дал ужасный отзыв о своей матери; между тем она, повидимому, была хорошая, достойная, хотя ничем не замечательная, женщина. Большой симпатии к жене сына у нее не было и не могло быть. Сестра же Бальзака, в своих воспоминаниях о брате, об его вдове не говорит, но вскользь сдержанно и как бы подчеркнуто-уклончиво замечает: «Быть может, настанет время, когда я закончу рассказ о последних днях моего брата»; и неясно обещает, что его письма подтвердят перемену, произведенную в нем «столь дорого купленным опытом».

О том, что происходило между мужем и женой, в точ-

ности ничего не известно. Ревновал ли он ее к кому-либо? Еще в письмах Бальзака из деревни есть как будто намеки, — он опасался появления соперника. Скорее это была у него тогда чистая теория: как же у нее, при двадцати тысячах десятин земли, не было бы других поклонников? «Ее руки домогались беспрестанно самые знаменитые и высокопоставленные люди», — сочинял он в одном из писем к сестре. Но тогда она была свободна и богата. Теперь она была его жена, и большая часть ее богатства отошла к дочери. А главное, как бы он теперь к ней ни относился, едва ли мог думать, что она при умирающем муже заведет себе любовника.

Им стало очень скучно друг с другом. Странным образом оказалось, что светская жизнь была в Верховне, — там в доме почти всегда бывали люди. В Париже у них под конец почти никогда никого не было. О французской королеве Марии Лещинской, с которой Ганская будто бы была в родстве, министр д'Аржансон сказал: «Людовик XV прижил с ней десять детей, но за всю жизнь не обменялся с ней ни единым словом». Бальзак никак не походил на Людовика XV; однако еще более странным образом оказалось, что разговаривать ему с женой больше незачем.

Через полвека после того Октав Мирбо поместил в одной из своих книг длиннейшие «разоблачения», вызвавшие много шума во Франции. Это был рассказ довольно известного в свое время художника Жигу. Он сообщил Мирбо, что еще при жизни Бальзака был любовником его жены и провел с ней в доме на улице Фортюнэ ту ночь, когда Бальзак умер. Подробностей рассказал множество, одна была отвратительнее другой. Сиделка стучала в дверь и кричала: «Мадам, мадам, идите: мосье умирает». Госпожа Бальзак хотела было одеться и побежать к мужу, он, Жигу, ее удержал; минут через десять сиделка снова прибежала с криком: «Мосье скончался!».

Вдовы Бальзака уже тогда не было в живых, но графиня Мнишек еще жила и с негодованием протестовала про-

тив клеветы. Кое кто говорил, что Мирбо просто всё выдумал; ничего такого Жигу ему не рассказывал. Позднее выяснилось, что этот рассказ слышали от художника и другие. В настоящее время часть французских «бальзакистов» верит этому рассказу, другая часть не верит. Вдова Бальзака года через два после его кончины стала «гражданской женой» Жигу, — как Аспазия после смерти Перикла вышла замуж за скотовода. Вечной верностью умершему мужу Ганская никак не была обязана. Но когда она писала, что в 1850 году «забыла людей и мир в своем невыносимом горе», это было, конечно, чрезвычайно сильное преувеличение.

Рассказ Жигу так циничен и грязен, что поверить ему трудно; разумеется, и не заслуживает доверия человек, который так говорил об умершей женщине, бывшей много лет его собственной женой. Едва ли госпожа Бальзак изменяла мужу в его последние дни, и, не будучи извергом, она не могла изменять ему в минуты его агонии. К тому же, она всегда боялась скандалов, а в обстановке, описанной Жигу, скандал на весь мир был бы неизбежен. О нем через месяц узнали бы и в Польше.

Но что бы ни было причиной раздора, — главная роль всей жизни Бальзака, любимая роль огромного репертуара, роль страстно влюбленного в Ганскую человека, кончилась худо и бесславно.

Ему теперь было больше и не до ролей. Он крепился из последних сил. Отправил Теофилю Готье письмо почти веселое, называл себя «мумией, лишенной слова и движения». Писать уже не мог, продиктовал жене, но собственноручно приписал несколько слов: «Не могу ни читать, ни писать».

Затем началась гангрена, он заживо сгнил. Жигу и здесь привел подробности: нос Бальзака будто бы вытек на простыню. Кое что сходное, без таких преувеличений, сообщали и другие. Воспоминаний о последних его днях осталось слишком мало: о том, что думал и чувствовал умирающий Бальзак, мы можем лишь делать догадки. — Имеем ли право?

Перед ним теперь был общий, главный, основной вопрос жизни: зачем? зачем всё это было?

Едва ли философские мысли, которые он разбрасывал в книгах, могли дать ему хоть какое-либо утешение. Всё в них было совершенно противоречиво, и он верно утешался тем, что противоречива и сама жизнь. Мало было толку и от его политических идей, — тут в полном недоверии к человеку он был гораздо ближе к Бланки, чем к своим «единомышленникам». Понимал, что никакой «системы» после себя не оставляет, и ни для чего ему теперь не была нужна система.

Та самая «злая правда», которую он любил в литературе и не любил в жизни, теперь издевалась над ним, как бы подтверждая его писания: жизнь сделала Гран-Гиньоль из его собственных последних дней. Созданное такими усилиями «гнездышко» было чудесно, но в нем оставалось прожить несколько недель в самых тяжких физических и моральных страданиях, в полном безобразии среди произведений искусства. Злая правда торжествовала, — однако теперь это была правда о нем самом. Дело было уже не в биографиях, — он им и прежде не верил, — как Фридрих II не верил истории и называл ее «компиляцией разных видов лжи с редкими проблесками истины».

Говорили, что он звал великого врача Бианшона, никогда в действительности не существовавшего: это был врач, созданный им в романах. У него искусство и жизнь были нераздельны. Бальзак написал без малого сто книг. Вероятно, в последние свои часы яснее, чем когда бы то ни было, видел свои писательские (как и человеческие) недостатки. Слишком часто писал так, точно рубил топором, — что-то крепкое, тяжеловесное создавал и тогда, но топорно и выходило. Как все настоящие писатели, о многом из написанного сожалел. Иногда, перечитывая, морщился и вскрикивал: как мог это написать! То, что когда-то нравилось, теперь казалось ужасным. Быть может, перестало ему нравиться и общее заглавие его главных книг, когда-то доставившее ему такую радость. Не всегда люди играют комедию, и столь ли многое в их жизни так смешно и гадко?

Но он знал, не мог не знать, что творческая сила была ему дана необычайная, что искусству он служил, хоть с

ошибками, верой и правдой, — изображал жизнь такой, какой ее видел. Быть может, перед смертью он не нашел лучшего утешения. Но это у него оставалось: «Человеческая Комедия» тоже была бессмертием.

В свой последний день Бальзак велел вызвать доктора Наккара и сказал ему, что хочет знать всю правду. «Такой человек, как я, обязан перед обществом составить завещание».

Существуют разные мнения о том, имеет ли право врач сказать больному, что он умирает. Некоторые врачи говорили правду, — как Мандт Николаю I, как Шольц Пушкину. Очевидно, Наккар был таков же.

— Сколько времени вам нужно (для завещания)? спросил он.

— Шесть месяцев, — ответил Бальзак.

Увидев по лицу доктора, что на это никакой надежды нет, он сказал:

— Но хоть шесть недель?.. Хоть шесть дней?

— Кто может гарантировать хотя бы один час? Люди, считающие себя здоровыми, могут умереть раньше вас. Но вы желаете знать правду... Вы должны составить завещанье сегодня же... Нельзя ждать до завтрашнего дня.

Бальзак поднял голову.

— Значит мне остается шесть часов! — вскрикнул он с ужасом.

17 августа у Виктора Гюго был обед и прием. Стало известно, что Бальзак умирает. Несмотря на случавшиеся иногда раздоры, Гюго преклонялся перед автором «Человеческой Комедии», как и тот преклонялся перед ним. Бросив своих гостей, поэт отправился на улицу Фортюнэ. Вернувшись, он записал что видел. Эта страница, опубликованная через много лет, когда и его самого уже не было в живых, принадлежит к лучшему из всего им написанного. Гюго никого не обвинял.

Он даже не пытался хоть намеком подчеркнуть одиночество, в котором умирал Бальзак.

Знаменитое имя посетителя отворяло двери. Горничная проводила его к умирающему.

«Я был в комнате Бальзака.

«По средине комнаты стояла кровать... Бальзак лежал на ней, опустив голову на груду подушек. Поверх них лежали красные бархатные подушки, взятые со стоявшего в комнате дивана. Лицо у него было фиолетовое, почти черное, оно было наклонено вправо, не выбрито, седые волосы были коротко острижены, глаза были открыты, взгляд был неподвижный. Я смотрел на него в профиль. Он был похож на Императора.

«По сторонам кровати стояли старуха-сиделка и слуга. Позади изголовья на столе горела свеча. Другая стояла у двери на комоде. На ночном столике была серебряная ваза.

«Слуга и старуха молчали с выражением ужаса на лицах и слушали, как хрипит умирающий.

«От постели шел нестерпимый смрад.

«Я поднял одеяло, взял его за руку. Она была покрыта потом. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие»...

Бальзак умер через несколько часов.

На его похоронах какой-то давным давно забытый министр сказал Виктору Гюго: «Это был почтенный человек». Гюго сердито ответил: «Это был гений».

М. Алданов

РАССКАЗЫ

СОН В СТЕПИ

Проблуждав с ружьем целый день по жаре, убив двух уток и чирка — по межам и заливному лугу — я добрался наконец до реки Чагры, напился воды, выкупался и освежившись лег возле убитой дичи на спину и стал смотреть в небо.

Солнце было уже на закате, так приблизительно, метрах в десяти от горизонта. Поблескивая в его лучах, освещенные снизу, на распростертых широко крыльях кругами ходили стервятники.

За коршуном с пронзительным писком погнался копчик и когда почти настиг его, коршун сложив крылья с клёкотом пошел вниз, а копчик, промахнувшись, забился на одном месте и всё еще воинственно попискивая стал падать к вершинам дальнего леса.

Словно в сильно подкрашенной синькой воде, как на незримом колесе карусели, плыли и плыли, круг за кругом, на неподвижных беловатых снизу крыльях, коричневые сверху стервятники. Их было очень много. В степи стояла полная тишина и я не видел, чтобы хоть один из них упал на добычу. Усталость ли, однообразное ли кружение птиц, тишина ли навеяли на меня сон — я не знаю, только я крепко заснул.

Приснилось мне, что я лежу разрубленный мечем от плеча до пояса, а рядом со мной лежит мой враг с пернатой стрелой в груди. Стрела торчит в его теле слегка косо. Вокруг высокая трава, некоторые стебли и цветы золотятся заходом солнца. И мертвому мне снится сон о битве. Битва изображена кругами и элипсисами — щиты солнцами, мечи месяцами, головы воинов подобны желудям в шапочках, кони с закругленными шеями, круглыми крупами, пыль из под копыт круглыми облаками,

над пылью вьются закругленные ветром стяги. Серый жеребец встает на дыбы, из-за гривы его блещут узкие татарские глаза, свистит в воздухе меч. Моя стрела вонзается в его грудь и, тут же, я сам сраженный его мечом падаю. Мой конь взметая стремена скачет прямо в закат. Какой-то, очень знакомый женский голос, кричит — Яфи-им дяржи-и яво! И навстречу коню бежит мой приятель Ефимка...

Тут все живые уходят. Одни мы мертвые остаемся сторожить мертвое поле. Солнце садится за Чагрой и глинистый правый берег ее кажется угольно черным. Далеко где-то из того сумрака, который стоит в летней степи над горизонтом, показываются тяжело машущие крыльями во́роны, а выше над ними летят стервятники. Проносятся мимо нас, кружат над полем битвы. Одни летят дальше и дальше, другие отставая от стаи падают на убитых.

Видно, как из высокой травы поднялась рука раненого, и нечеловеческий стон потряс тишину. Зашумели тысячи крыльев, словно черная метель — поднялись с земли во́роны; покружив немного с тревожным карканьем и видя, что все остальные бойцы лежат не шевелясь, снова бесстрашно стали садиться на свои жертвы. Слышно, в тишине, как звенят кольчуги под их когтями, как выклевывают они глаза, терзают куски мяса и дерутся между собой за лакомые куски.

Я знаю, что и мне не избежать общей участи и страшно мне, страшно — вот пролетел еще один стервятник. Не он, так другой сейчас начнет свое страшное дело. Ближе и ближе слышу шум полета. Вот уже веет на мое лицо ветер, от ударов широких крыльев. Крепче сжимается мое мертвое сердце, когти звенят на моей кольчуге, концы крыльев лежат еще на высокой траве, стервятник складывает их, и всматриваясь в мое лицо, ищет место, куда сейчас ударить своим горбатым клювом.

Я забыл, что я мертвый; закричал, открыл глаза и увидел на себе того же хищника, что снился мне во сне. Мне показалось, что где-то давно, давно я уже так лежал и такая же птица сидела на мне. Мой крик испугал его, он бросил на меня сверкнувший дикой ненавистью взгляд, ударил крыльями и торопливо хлопая ими, штопором пошел вверх. С клёкотом стали под-

ниматься и другие стервятники. Оказывается, они все снизились и ждали...

Я быстро вскочил на ноги, взял убитых уток, вскинул ружье за плечо и зашагал домой. Солнце во время моего сна опустилось еще ниже, теперь оно касалось горизонта. Вскоре крик стервятников замолк. По вечернему опустело. Первая звезда задрожала, пропала и появилась снова более спокойная.

Шагая я думал: как мог трусливый стервятник, питающийся только падалью, решиться сесть на живого человека? Может быть, запах крови убитой дичи, показался ему запахом моей крови, и мой сон смертью? Но каким образом я видел его во сне точно так, как потом проснувшись?..

Всё как-то могло объясниться, но самым необъяснимым было мое чувство — что я как будто бы когда-то где-то уже видел его. Я даже останавливался, когда мне начинало казаться, что вот, вот непременно вспомню, как и когда всё это было.

Как вдруг новый случай спутал все мои догадки.

Внезапно с треском сорвалась стая куропаток. От неожиданности я вздрогнул и выстрелил по ним только тогда, когда они были уже на недосягаемом для моего ружья расстоянии.

На дороге стояла привязанная к телеге лошадь приехавшей на бахчи за арбузами Кузминишны. Испугавшись выстрела, лошадь оборвала повод и взметая постромки точно так, как мой боевой конь во сне взметал стремена, поскакала в закат.

Кузминишна кричала:

— Яфим дяр-жи-и яво!

И навстречу бежал Ефимка.

Тут я окончательно потерялся: прошлое стало сливаться с настоящим...

У ПРУДА

Братья — один двенадцати лет, другой десяти, вошли в пруд, ныряют, плавают, бросают друг в друга горстями брызг, переливающихся на солнце радугой. Третий, четырехлетний, стоит на берегу, ему очень хочется быть с ними, но как только он доходит до воды и пробует ее ножкой — вздрагивает —

вода кажется ему очень холодной и страшной. Он рыженький, курчавый, — в сравнении с головой, голая фигурка его каррикатурно мала.

— Эй ты головастик! чего ты не влазишь? — кричат из воды братья. — Влазь! Вода теплая!

— Я сейчас, только перекрещусь и головку нужно намочить сначала водой.

В конце пруда звонкий голос его повторяет эхо: очи — ала — одой. Дикие утки заплывают в камыш и там, где они проплыли, темные дорожки медленно затягиваются серебряной зыбью.

Прикрываясь от солнца красным зонтиком, на берегу стоит мать. Ей жаль меньшого сына, но хочется посмотреть, как он выпутается сам из своих затруднений. Она видит, как быстро бьется, толкая нежную кожу между ребрышками, замирая от страха перед неизвестной стихией, и страха показаться трусом, его маленькое сердце.

— Скорее же крестись, намочи лобик и ступай в водичку, а то все будут думать, что ты боишься будто девочка, — говорит она.

Нижняя губа ее сына отвисает и вздрагивает:

— Нет, я не боюсь совсем, и, никакая я не девочка, — отвечает он сдерживая слезы обиды и даже стараясь во что бы то ни стало улыбнуться.

Улыбку сквозь сдерживаемые слезы мать любит в своем сыне больше всего, и много ей нужно воли, чтобы не броситься к нему, не поднять на руки и не расцеловать. И он сходит на своих пухлых ножках с берега, приседает на корточки у самой воды и, насупив едва заметные брови, черпает горсткой воду и старательно мочит ею свой выпуклый лобик. И еще раз черпает и опять черпает.

— Ну, довольно! довольно! — стараясь сделать свой голос более строгим, чем он выходит, приказывает она, и, желая вызвать опять любимую улыбку, добавляет, — право, я вижу, ты боишься, как девочка.

Сын сердито сопит носом, но встает, складывает, как его учили пальчики, и, внимательно следя за движением своей руки, прижимает ее ко лбу, придавливает, чтобы лучше помогло, потом дотрагивается до животика, до правого, тротательно поднятого, плеча, до левого.

Белоснежная стая домашних уток плывет по середине пруда. Перекрестившись, малыш делает вид, что очень заинтересован утками. Некоторые из них ныряют и стоят хвостиками вверх.

— Так как же? Когда же ты наконец войдешь в воду? Скоро и домой пора.

— Он головастик, мама, и трусишка! — кричат из воды братья.

— Нет, нет, я сейчас только посмотрю сначала, как уточки кувыркаются.

Слова «кувыркаются» мать не выдерживает, бросается, подымает сына на руки и, повторяя — сам ты кувыркаешься, сам ты кувыркаешься, — стискивает его в объятьях, целует.

Выдержав стойко материнскую жестокость, раскаяния ее он выдержать не в силах. Ему кажется теперь, что мама, его любимая мама, долго не понимала его, считала девченкой и только теперь, когда ему уже не оставалось в жизни никакого выхода — одумалась. И, оттого, что он всё-таки ей всё сразу простил, из его голубых глаз текут слезы. Голос и тельце его вздрагивают и он крепко прижимается к материнской груди.

— Ничего, ничего, мой золотой, не плачь. Хочешь, будем вместе купаться? — И, пока мать быстро сбросив платье и оставшись в одной рубахе, берет его на правую руку, — он уже, словно солнце сквозь последние капли дождя, улыбается. Крестя его и себя, она быстро входит в воду. Уровень подымается постепенно; всё глубже, глубже погружается она в нежную прохладу пруда. Из широко, радостно открытых глаз сына, туда, где плавают его братья, льются голубые лучи счастливого света, но всё же он всё выше поджимает ножки и крепче обнимает материнскую шею.

Мать с мучительным счастьем вдыхает запах его золотой головы, видит следы слез на пухлых щеках, красное пятнышко которое он выдавил, крестясь, на нежном, как крем, лобике, чувствует родное тепло доверчиво прильнувшего к ней тельца с выпачканными береговой грязью ножками.

ИВОЛГИ

Фрейлен Иоганна была высокая, худая, одевалась во всё черное, только воротничек, волосы и тонкая серебряная, падающая с жилистой шеи к часикам за пояс, цепочка были белыми. Морщины на ее лице опускались все вниз на подобие веток плакучей ивы — и глаза смотрели так, как просветы между тонкими ветками в бледное немецкое небо. За свою долгую жизнь она объехала может быть четвертую часть России, но в такую глушь, как наша, еще никогда в жизни не попадала.

Ожидая ее приезда, я уже заранее не любил ее за то, что придется терять с ней драгоценное время каникул на изучение немецкого языка, а когда увидел и, главное, испытал на себе ее требовательность, то и совсем ее возненавидел. Потом наши отношения свелись к тому, что я всеми силами старался увильнуть от урока, а она всеми силами старалась заставить меня учиться.

Как-то, проснувшись, я увидел падающие из щелок ставень длинные косые лучи. Солнце могло осветить эту сторону дома, только часам к десяти. Жаль было потерянного времени, я поскорее оделся, откинул ставни и увидел чудесное золотое утро. В столовой звенела чайная посуда, слышался разговор.

— Сейчас она меня засадит за урок, — подумал я и выпрыгнул в окно. Через яблоновый сад я дошел до луга. Сквозь деревья блестел мертвой гладью весь заросший камышом пруд. Тропинка шла среди доходящей мне до плеча, покрытой крупной росой, травы — и продолжалась по его крутому берегу. Чуть ли не на каждом шагу стали прыгать в

воду лягушки. После каждой, круги воды образовывали на зеркальной глади подобие мишени. Отраженные зыбью лучи светили зайчиками, ходили по нависшей над берегом зелени.

Я сел на ствол поваленного бурей дуба. Надо мной дрожал купол березы. Белые как она мотыльки падали на цветы и вдруг поднимались, ловя друг друга, винтом, вверх к солнцу. Шелестя крыльями висели над камышом стеклянные стрекозы. Длинный уж, подняв голову с красными ушками, полз как по земле через отражение деревьев, наплыл на белое облако и пропал на другом берегу в корнях старого дуба. Перекликались птицы и каждый птичий голос словно стальной шарик катился по хрусталям воздуха.

Я так засмотрелся и так заслушался, как будто и сам начал принимать участие в жизни этого дикого, с красноватой водой, пруда. И мне казалось, будто я, чем больше вслушиваюсь, и всматриваюсь, тем больше и сам наполняюсь самым лучшим и самым драгоценным из всего существующего на земле.

Как вдруг послышался легкий шелест; я оглянулся и увидел фрейлен Иоганну.

— Я тебя нашель, напрасно ви убегайт.

В руках у нее была книжка, и тут же началось мое мучение. Всё было прежним, но волшебное очарование мое сразу померкло. Когда я спрягал какой-то глагол — словно флейта запела иволга и ей отозвалась, где-то в глубине леса, другая.

Окончив спряжение, я ждал, что сейчас фрейлен задаст мне новый вопрос, но к моему удивлению, она молчала. Книжка выпала из ее рук, и вместо обычного выражения требовательности, я увидел на ее лице добрую старческую улыбку. Медленно набирались в ее глазах слезы, и когда она подняла их с молитвенной благодарностью в небо — мне сделалось почему-то немного страшно и стыдно за всё то, что я думал и делал по отношению к ней.

— Что с вами, фрейлен? — спросил я, впервые почувствовав, что и она человек.

— Разве ты не слышишь? — ответила старуха, не отрывая от неба благодарных глаз — ангелы поют о моем сыне.

В это время иволга опять запела.

— Вслушайся, — прошептала она, — ist Peter hier, разве ты не слышишь ангел поет? Ist Peter hier?

— Это иволга кричит, фрейлен.

— Ничего ты не знаешь, совсем не иволга...

Тут она мне рассказала, как у нее был когда-то сын Петер, который был так похож на ангела и своей наружностью и поступками, что Бог не мог оставить его на земле.

И с тех пор ангелы, куда бы не занесла ее судьба, прилетают и спрашивают ее:

— Ist Peter hier?

А. Величковский

ПАМЯТЬ

Для разлук бывали встречи,
Поцелуи — для прощаний.
Путь не радостью отмечен,
Но печалью расставаний.

Напевает память мне:
В оснеженной глубине —
Дымка вечера легка...
Взгляд, как дальняя река.
Лёт бровей, что в небе кречет.
Широко раскрыты плечи...
Не слагал искусно речи.
Не твердил другим: — иди!

Но сказал тогда: — пойду...
Тронул крестик на груди.
И ушел в метель, по льду...

А. Васильковская

ПИЛИГРИМЫ

"Dear God, give us strength to accept with serenity the things that cannot be changed. Give us courage to change the things that can and should be changed. And give us wisdom to distinguish one from the other."

Слова, приписываемые адмиралу Харту.

Когда Роберт читал романы, он почти каждый раз испытывал по отношению к их героям нечто вроде бессознательной зависти. Если книга, которая ему попадалась, была написана с известной степенью литературной убедительности, у него не возникало сомнения, что ее герои могли прожить именно такую жизнь и пройти именно через те чувства и события, изложение которых являлось содержанием романа. Как почти всякий читатель, он ставил себя на место того или иного героя и его воображение послушно следовало за авторским замыслом. Но когда он прочитывал последнюю страницу, он снова оставался один — в том мире и в той действительности, где не было и, казалось, не могло быть ничего, похожего на это богатство происшествий и чувств. В его личной жизни, как он думал, никогда ничего не происходило. Он упорно старался найти объяснение этому, но объяснения, казалось, не было. Ему не пришлось испытать ни очень сильных чувств, ни бурных желаний; и сколько он ни искал в своей памяти, он не мог вспомнить за всё время ни одного периода его существования, о котором он мог бы сказать, что тогда он был по настоящему счастлив или по настоящему несчастен или что достижение той или иной цели казалось бы ему вопросом жизни или смерти. И оттого, что его личная

судьба была так бедна душевно по сравнению с судьбой других людей, о которых были написаны эти книги, он начинал смутно жалеть о чем-то неопределенном, что могло бы быть и чего не было.

Может быть отчасти это происходило так потому, что он никогда не знал никакой нужды. Его отец, крупный, красноликий человек пятидесяти лет начал свою жизнь механиком. Но это было давно, почти тридцать лет тому назад. Теперь он был владельцем автомобильного завода и акций в нескольких предприятиях. Своему сыну он не отказывал ни в чем и только неизменно удивлялся, что требования Роберта были такими скромными. Он не понимал, почему Роберту, с его возможностью иметь много денег и тратить их как ему нравилось, нужны были только такие незначительные суммы. Он не понимал, почему его сын, атлетический молодой человек, недавно кончивший университет, никуда не ходит, ничем не интересуется и большую часть времени проводит дома, за книгами. — Когда же ты будешь жить? — спрашивал он его. — Я вовсе не требую от тебя, чтобы ты вел себя Бог знает как. Но скажи мне пожалуйста, на кой же чорт я работал всю жизнь как негр? Ты бы хоть в Folies Bergères пошел.

Такие разговоры происходили довольно часто, не непременно в этой форме, но всегда об одном и том же. И каждый раз они не приводили ни к чему. Роберт Бертье не испытывал ни малейшего тяготения к той жизни, о которой мечтали многие его сверстники — и не только они. Он находил, что программы огромных мюзик-холлей чаще всего отличаются дурным вкусом, который неизменно его коробил. Ночные кабарэ вызывали у него скуку или отвращение. Он бывал неоднократно во всех этих местах — в период кратковременного своего брака с Жоржеттой, которая была готова там проводить сутки.

Он сидел в своем любимом кресле у окна и думал о Жоржетте. Он вспоминал, как радовался его отец, Андрэ Бертье, как он заказывал свадебный обед и как бурно он

поздравлял Роберта. Он понимал, что женщины типа Жоржетты должны были нравиться его отцу. Но сам Роберт начал уставать от ее присутствия через неделю после брака.

Она родилась в Вильфранш, на берегу Средиземного моря и в ней издали можно было узнать южанку — по черным ее волосам, по блестящим глазам такого удивительно темного цвета, которого потом Роберт никогда не встречал, по звонкому ее голосу и по необыкновенной быстроте ее речи. У нее было чуть полноватое для восемнадцатилетней девушки тело, на котором после малейшего усилия выступали капельки пота. И этот запах ее разгоряченного тела был именно тем, что больше всего запомнилось Роберту. Ее любовь казалась ему слишком шумной и слишком бурной, ее укусы и крики во время объятий невольно раздражали его. Но главное, что он ставил ей в вину, это, что кроме этого бурного движения, у нее не было ничего. Она никогда ни о чем не задумывалась, у нее не хватало терпения прочесть хоть одну книгу до конца и с ней не о чем было говорить. Она могла танцевать сколько угодно, два раза ужинать или обедать, ехать куда угодно и когда угодно, потом лечь в постель и мгновенно, на полуслове, заснуть. Но проснувшись, она вскакивала с кровати и всё опять начиналось сначала. Он прожил с ней ровно шесть месяцев. Она несколько раз плакала, звучно всхлипывая, сморкаясь и упрекая его в жестокости, но через минуту забывала об этом и уходила переодеваться, чтобы опять с ним куда-нибудь ехать — в доказательство того, что их ссора забыта и что они всё простили друг другу. Она знала все танцы, все модные романсы, все кабарэ, всех певцов, певиц и скрипачей из цыганских или румынских оркестров, все рестораны и все блюда, которыми они славились. И когда однажды она уехала на неделю в Вильфранш, к матери, как она говорила, — потом выяснилось, что это была неправда и она оставалась в Париже, — и затем вернулась и сказала Роберту с непривычно серьезным выражением лица, что надо иметь мужество смотреть истине в глаза, — он взглянул на нее с нескрываемым удив-

лением, — и что они не созданы друг для друга, он впервые за всё время испытал необыкновенное облегчение.

— Мне тоже так кажется, — сказал он, — и я давно об этом думал, но мне не хотелось тебя огорчать.

Она тут же рассказала ему, что познакомилась с одним очаровательным человеком, которого зовут Антонио и который не так давно приехал из Боливии — и что хотела бы получить развод. Роберт тотчас на это согласился.

Теперь она жила в Боливии со своим мужем, у нее было двое детей, она время от времени писала Роберту письма и присылала фотографии то каждого ребенка в отдельности, то обоих вместе, то себя с мужем, то себя одну, на террассе, в кресле, с книгой в руках. Роберт вспоминал о ней теперь, три года спустя, без всякого раздражения; и так как ее постоянное присутствие больше не стесняло его, он отдавал ей должное — с трехлетним опозданием — и ее несомненному очарованию и ее непосредственности и тому, что она была слишком простодушна, чтобы кого-либо обманывать. Но когда она его спрашивала каждые пять минут, независимо от обстоятельств, в которых это происходило — тебе хорошо со мной? тебе хорошо со мной? — на пятый или шестой раз он должен был делать над собой усилие, чтобы не ответить ей резкостью, чего она в конце концов — теперь он понимал это — не заслуживала.

Он вспоминал иногда свой короткий роман с ней, кончившийся таким же быстрым и неожиданным браком. Это было совершенно непохоже на всё остальное в его жизни и со стороны ему самому иногда начинало казаться, что он прочел это в какой-то дешевой маленькой книжке, вроде тех, которые читают в метро. Тут было соединение всех классических элементов — солнце, Ривьера, неподвижная поверхность моря и Вильфранш, где он остановился, чтобы выкупаться. Он встретил ее далеко от берега; она плыла на спине, смеясь Бог знает чему, совершенно одна. Он проплыл мимо нее, она что-то крикнула, чего он не разобрал. Он обернулся и спросил:

— Вы что-то сказали, mademoiselle?

— Здесь глубоко, вы этого не знали? — сказала она, продолжая смеяться.

Она подняла обе руки вверх, погрузилась в воду и мгновенно поднялась на поверхность. Вода шумела и булькала вокруг нее.

— Вы видите, я не достаю дна. Вы из Парижа?

— Да, — сказал Роберт, улыбаясь. — А вы наверное нет, неправда ли?

— Нет, я отсюда, я родилась здесь.

Роберт никогда не испытывал такого удовольствия от какого бы то ни было разговора. У нее был голос одновременно глубокий и звучный, непохожий ни на чей другой. Она говорила с ним так просто и доверчиво, точно была заранее уверена в его дружеских чувствах к ней и Роберту стало казаться, что он готов сделать всё для этой девушки, говорящей с легким южным акцентом. После этой встречи в море они не расставались до поздней ночи, когда он привез ее в своем автомобиле к той вилле с невысокой железной решеткой, где она жила. До этого они были в ресторане, в кинематографе и в дансинге. Прощаясь с ним, она сказала:

— Роберт, вы мне очень нравитесь, хотя вы и парижанин. Я особенно ценю в вас то, что вы не позволили себе за весь вечер ни одной вольности по отношению ко мне. Я вам за это благодарна.

— Я очень рад, Жоржетта, что я вам понравился не за то, что я сделал, а за то, чего я не сделал.

— Вы можете меня поцеловать теперь — сказала она, понизив голос.

И когда Роберт почувствовал прикосновение ее влажных и горячих губ, ему вдруг показалось, что он задыхается и что он никогда не знал ничего подобного.

— Я думаю, что я тебя люблю — сказала Жоржетта, переводя дыхание. — Мы увидимся с тобой завтра.

Когда он предложил ей стать его женой, он знал, что этого не следовало делать. Но он не мог поступить иначе. Он

был обезоружен ее безграничным доверием к нему, — она даже не знала его фамилии и вообще ничего не знала о нем в ту августовскую ночь Вильфранша, когда она стала его любовницей и у него не могло быть сомнений, что он первый мужчина в ее жизни. Кроме того, вначале, его физическое тяготение к ней было сильнее всех других соображений. Позже, узнав, что он — Бертье, сын владельца автомобильной фабрики, она обрадовалась и сказала со своим всегдашним простодушием:

— Ах, как хорошо! Ты мог бы быть мелким служащим или коммивояжером и я всё равно тебя бы любила, но это было бы скучно, нам обоим пришлось бы работать. А теперь мы будем жить как захотим.

Ему оставалось только пожать плечами. Ему, впрочем, пришлось многому удивляться потом, по мере того, как проходило время. Невежественность Жоржетты оказалась просто неправдоподобной, — тем более, что по ее словам она всё-таки несколько лет училась в лицее. Она думала, что свет идет со скоростью тридцати километров в минуту и что закон притяжения был открыт Архимедом. Она знала, правда, несколько имен знаменитых людей, но они не были связаны в ее представлении с тем или иным видом деятельности, это были знакомые звуковые сочетания, лишенные очень определенного значения. Но при первом взгляде на нее становилось очевидно, что это было неважно; важно было то, что у нее блестящие черные волосы, темные глаза удивительного оттенка, радостная улыбка и простодушное очарование, которого не мог бы отрицать самый пристрастный человек. Родители Роберта ее искренно любили и были очень огорчены, когда узнали о разводе. Даже мать Роберта, «эта бедная Соланж», как неизменно называл ее отец, которая, казалось, не интересовалась в жизни решительно ничем, кроме сложных соображений о функциях своего собственного организма, — ты знаешь, Андрэ, вчера вечером я приняла слабительное и можешь себе представить... Ах, Роберт, ты не понимаешь своего счастья, тебе не надо думать о печени... Андрэ, я тебе не-

однократно говорила, что спаржи мне нельзя, ты забываешь о моих почках... доктор мне сказал, что даже незначительные высоты вредны для моего сердца... — даже она привязалась к Жоржетте.

— Ты не ценишь ее, Роберт, — говорила она сыну, — она просто очаровательна. А ее здоровье! Ты только посмотри на ее цвет лица, посмотри, как она ходит, как она вскакивает, как она играет в теннис. И если ты ее спросишь, что такое самое пустяшное недомогание, она тебя не поймет.

— Но, мама, ты забываешь, что ей восемнадцать лет.

— Ах, милый мой, для болезни нет возраста, ты уж мне поверь. Я не претендую на особенные знания в какой бы то ни было области, но уж это то я знаю, к сожалению, на собственном опыте.

И когда Роберт уходил, она опять погружалась в чтение — потому что то время, которое у нее оставалось после визитов к докторам и практических забот о здоровьи, она посвящала изучению всевозможных трактатов о терапевтике, хирургии и методах клинического исследования.

— Я очень люблю твою мать, это достойнейшая женщина — говорил Роберту отец. — Но, ты понимаешь, ей совершенно нечего делать и не о чем заботиться. Чтобы заполнить эту пустоту, она выбрала болезни. Между нами говоря, она к счастью не больше больна, чем мы с тобой.

В течение того времени, что Роберт был женат на Жоржетте, у его отца не было оснований жаловаться на недостаточные расходы сына. Андрэ Бертье купил и обставил Роберту квартиру; кроме того, всюду, где появлялась Жоржетта, деньги начинали уходить с необыкновенной быстротой — на театр, концерты, кабарэ, дансинги, платья, цветы. Когда она изредка оставалась дома, она читала иллюстрированные журналы и захлебываясь от детского и наивного восторга, рассказывала Роберту, что в такую то, непременно самую роскошную гостиницу на Ривьере прибыли — знаменитая американская артистка и красавица, египетский принц, путешествующий инкогнито и яхта которого стоит в Каннах, зна-

менитый писатель, знаменитый декоратор, знаменитый... Он пожимал плечами.

— Не всё ли тебе равно?

— Мне так хотелось бы с ними познакомиться.

— Зачем?

— Ну, они такие интересные люди, это не может быть иначе. Вот посмотри на ее фотографию.

И она показывала ему портрет знаменитой артистки. Со страницы журнала на него смотрело прекрасное женское лицо с правильными чертами и с огромными глазами, выражавшими спокойную глупость. Немного ниже был представлен египетский принц с туго напомаженными волосами и парикмахерской физиономией, в которой однако проступало нечто человеческое и даже чем-то приятное. Позже, впрочем, выяснилось, что он был не египетским принцем, за которого себя выдавал, а подданным одного из южно-американских государств, которого разыскивала полиция всех европейских стран за многочисленные мошенничества. Жоржетту нельзя было оторвать от этих журналов и она искренно не могла понять, почему Роберт смеялся над фотографиями и статьями о частной жизни знаменитых красавиц, гонщиков, боксеров, танцовщиц и певцов, над их перепиской с читателями, напечатанной тут же. Он несколько раз пытался ей объяснить, что он думает по этому поводу, но убедился, что это было напрасной потерей времени.

Он был искренно рад, когда узнал, что она собирается замуж за Антонио, с которым она его познакомила и который, конечно, подходил ей гораздо больше, чем Роберт: он прекрасно танцевал, играл на гавайской гитаре, никогда не ложился спать раньше четырех часов утра и был так же далек в своих взглядах от каких бы то ни было сомнений, как была далека от них Жоржетта. «Мы плывем по огромному океану» — писала она ему с дороги в Боливию — «южная ночь, звезды, играет мексиканский оркестр. Вчера за обедом мы ели замечательную курицу, а после обеда танцевали. Мой доро-

гой Роберт, поймешь ли ты когда-нибудь что такое настоящая жизнь?»

Нет, Роберт был убежден, что этого он не поймет никогда. Он не представлял себе, каким образом с ним могла бы произойти такая метаморфоза, в результате которой та жизнь, какую Жоржетта называла настоящей, вдруг приобрела бы для него хоть малейшую привлекательность..

Но всё-таки в чем-то Жоржетта была права. Можно было обладать известной культурой и известным вкусом и относиться с пренебрежением к тому убогому вздору, который она читала с такой жадностью. Но это вовсе не значило, что всё это должно было сопровождаться отсутствием того вкуса к жизни, который был так очевиден и у Жоржетты и у Андрэ Бертье, его отца. Он представлял себе, что с ним будет через десять или двенадцать лет и от этих мыслей ему становилось неуютно. До сих пор в его существовании не было, казалось, ничего, что стоило бы защищать до конца или чего стоило бы добиваться. Только в спорте, которым он много занимался до последнего времени, ему иногда удавалось заставить себя сделать огромное усилие, чтобы добиться определенного результата или выиграть состязание.

Жоржетта говорила ему:

— По внешнему виду ты ничем не отличаешься от нормального человека. Но я не могу отделаться от впечатления, что в твоих жилах течет не кровь, а вода.

Он напомнил ей эту фразу полушутя, когда она сказала ему, что собирается замуж за Антонио и спросил, произвела ли она анализ крови у него, чтобы узнать, нет ли воды и в его жилах. Она расхохоталась, глаза ее сузились, рот открылся и стало видно ее темно-розовое нёбо.

— Можешь быть спокоен — сказала она сквозь смех, — — никакого анализа не нужно.

Отец, мать, Жоржетта, — что еще было в его жизни? Пожалуй единственное, что имело отвлеченную и постоянную ценность, это были книги. Он истратил на них целое состояние. Когда отец пришел к нему однажды, после того, как

почти вся библиотека была составлена, он только покачал головой и долго смотрел на плотно уставленные корешки. Потом он поднял глаза на сына и сказал:

Это солидно. Ты всё это прочел и понял?

— Мне кажется, что да. Но может быть это иллюзия.

— Ну да, один раз ты понимаешь так, другой раз то же самое ты понимаешь иначе. Я себе это так представляю.

Мать посмотрела не очень внимательно и ничего не сказала. Роберт подумал, что ее вероятно огорчило отсутствие медицинских книг — без них, с ее точки зрения, всякая библиотека могла иметь только относительную ценность.

Он не задумывался над тем, почему именно книги интересовали его больше, чем всё остальное. Но если бы его спросили, что он считает самым важным в жизни, и если бы его природная медлительность не помешала бы ему сразу сосредоточить свое внимание на этом вопросе, он вероятно ответил бы, что ему казалось самым существенным — понять, почему люди живут так или иначе, почему возникают те или иные религии или системы идей, как идет жизнь и каков в каждом отдельном случае или в каждом произвольном отрезке времени смысл того или иного факта. Но ему не приходила в голову мысль, — и если бы она пришла, он тотчас же отбросил бы ее — что это преобладание отвлеченных интересов над непосредственными объяснялось отсутствием в нем той стихийной и нерассуждающей жизненной силы, которая была так характерна для его отца. Он прекрасно понимал теоретически, отчего людей так всецело захватывает жажда личного обогащения или политическая деятельность или упорное стремление к какой-то ограниченной цели, незначительность которой со стороны казалась совершенно очевидной. Но так как все эти стремления — в силу разных личных причин — были ему чужды, они казались ему нестоющими усилия.

Но чаще всего он возвращался к размышлениям о своем душевном одиночестве и о своей бесполезности. И после этого он неизменно представлял себе воображаемый роман с женщиной, смутный облик которой медленно возникал перед ним.

Он не мог бы сказать, какие у нее были глаза и как звучал ее голос; но в туманное представление о ней он вносил тот лирический оттенок, которого до сих пор не встречал нигде, кроме книг. Он проводил иногда целые часы, думая о том, как всё это могло бы произойти, что он мог бы ей сказать, что она могла бы ему ответить, где это было бы и как она была бы одета. Потом он встряхивал головой, вздыхал и уходил из дому.

В течение нескольких лет он бесцельно бродил по парижским улицам. Он знал во многих кварталах все витрины магазинов, все повороты и вид каждого дома. Ему были так же хорошо известны те части города, где жила беднота и когда он видел маленьких детей, игравших на тротуаре, заплатанное белье, развешенное над ржавыми баллюстрадами окон, простоволосых женщин, с огрубевшими от стирки и работы руками и то непередаваемое выражение лица у всех этих людей, которое так резко отличало их от других, более богатых, ему становилось тяжело и почти что стыдно за свой костюм, свою квартиру, свою жизнь. Он думал тогда о том, что против этой очевидной и жестокой несправедливости были бессильны любые государственные и политические теории, потому что во всех странах мира царила в этом смысле железная неизменность: одни жили безбедно и комфортабельно, не переутомляя себя работой, существование других проходило в тяжелом труде и бедности и никакой коммунизм не мог сделать так, чтобы это стало иначе, — если даже допустить, что он к этому стремился.

Он просидел в кресле, не двигаясь и стараясь не думать ни о чем до тех пор, пока не раздался телефонный звонок. Андрэ Бертье напоминал ему, что сегодня вечером он ждет его к обеду. Роберт нехотя переоделся, вышел из дому и направился пешком туда, где жили его родители. Это было недалеко, в двадцати минутах ходьбы.

Подходя к дому, он заметил, что перед входом стоит огромный старинный автомобиль, за рулем которого дремал шофер. По летящей капле на пробке радиатора он тотчас

узнал марку — это была Испано-Сюиза. Он позвонил и вошел и ему сразу же бросились в глаза цветы, которых обычно не бывало, так как мать Роберта жаловалась, что их запах вызывает у нее головную боль, отзывающуюся в свою очередь самым вредным образом на ее печени... С медицинской точки зрения — как это однажды сказал Бертье врач — такое явление представлялось необъяснимым и единственным в своем роде. Бертье знал, однако, что когда Соланж ссылалась на свои болезни, всякое сопротивление ее решениям было бесполезно. Это так же хорошо знал Роберт; и теперь, увидав цветы, он решил, что или болезнь печени у его матери прошла бесследно или сегодня к ужину приглашен какой-то гость настолько важный, что перед значительностью его визита даже печень Соланж отступала на второй план.

Когда он вошел в столовую, извинившись за опоздание, он застал там очень пожилого человека с мертвым выражением глаз. Андрэ Бертье тотчас же представил сына — и Роберт узнал, что приглашенный был сенатор Симон, государственный деятель и член комиссии по экономическим делам. Рядом с ним сидела его племянница, белокурая девушка с длинными глазами, немного подведенными и крупным ртом, похожая на какую то кинематографическую артистку, какую, он не мог вспомнить. Но девушку он узнал сразу же и во время ужина он думал о той ночи, когда он ее видел. Сенатор не отличался многословием и разговор об экономических перспективах Европы, который начал с ним Андрэ Бертье, его явно не интересовал. Он отвечал лаконично и неопределенно и Роберт заметил, что сенатор не был силен в политической экономии. Это было бесспорно: до начала своей парламентской карьеры он был чиновником почтового ведомства. Он зато сразу оживился, когда Соланж заговорила о своей больной печени. В этой области его познания были несомненны. Тотчас же выяснилось, что у него тоже больная печень, что кроме того, у него, — так же, как у нее, — неблагополучно с почками: и через несколько минут и он и Соланж чувствовали себя единственными достойными собеседниками за столом.

— Вы, конечно, знаете, Madame, — говорил он, — те утренние ощущения, какие характерны для известного периода, который... замечали ли вы, что некоторые физиологические явления, носящие характер весьма далекий, казалось бы, от того, что принято считать результатом недостаточно интенсивного действия печени, нередко объясняются, вопреки распространенному заблуждению...

— Да, да, и кажущаяся трудность диагноза...

— Чисто внешняя, Madame, чисто внешняя...

— Я именно это хотела сказать. Я имею в виду, например...

Роберт рассеянно слушал их разговор и думал о том вечере, когда, выходя из театра, он встретил одного из своих товарищей, которого не видал год; он пригласил Роберта посидеть где-нибудь несколько минут, как он выразился, и привез его в русское кабарэ. Роберт даже не помнил точно, где именно оно находилось. В маленьком зале был полусвет, бритые гарсоны говорили со славянским акцентом, играл под сурдинку небольшой оркестр. Время от времени выступал немолодой мужчина с постоянно ласковым выражением глаз и пел по-французски, по-английски, по-итальянски и по-русски какие-то романсы, которых Роберт не знал, и в которых неизменно говорилось об иллюзорности любви, о невозвратимой поре короткого счастья и о неизбежности расставания. Румынский еврей с печальным и важным лицом играл на скрипке, звуки рояля доходили точно издалека. У Роберта через некоторое время появилось такое ощущение, какого он до тех пор никогда не испытывал ни в одном кабарэ, — что он попал к этим странным людям, которые прекрасно понимают всё, и в частности то, о чем так часто думал он, Роберт Бертье, и что они знают его уже давно и всячески сочувствуют ему во всех его личных неудачах. И этому — таким же непонятным образом — не мешало то, что это были люди, говорившие и думавшие на чужом языке и что вообще не могло быть ничего более обманчивого и вздорного, чем это впечатление. И всё-таки оно оказывалось сильнее всего.

И тогда же за соседним столиком он увидел девушку, которая теперь сидела против него, рядом с сенатором. В ту ночь она была совершенно пьяна и размахивала руками в такт музыке и певец смотрел на нее с эстрады своими наемно-ласковыми и всё понимающими глазами. Ее сопровождал молодой человек очень незначительного и очень приличного вида, которого она то обнимала, то отталкивала. До Роберта доходил ее пьяный шопот. Она говорила совершенно вздорные вещи, потом вдруг всхлипывала, но мгновенно успокаивалась и начинала вполголоса подпевать музыке. Ее спутник давно уже предлагал ей уйти, но она категорически отказывалась. И когда Роберт выходил из кабарэ, заплатив перед этим по счету какую-то уж слишком крупную сумму, она еще оставалась там: был пятый час утра. Ему запомнилась эта ночь и эта девушка с длинными глазами; но ее он запомнил только потому, что это происходило в русском кабарэ и как всё, что он тогда видел, она была неотделима от этого странного впечатления, — как были неотделимы от него ласковые глаза певца и печально-важное лицо румынского еврея, игравшего на скрипке.

Сейчас, за ужином, он очень скучал. Всё было ясно с первой минуты: племянница сенатора могла бы быть, по мнению его родителей, подходящей партией, сенатор мог бы быть полезен во многих отношениях. Роберт смотрел на его лицо и думал, что этот пожилой человек ни в какой степени не представлял собой психологической загадки и всё, что о нем следовало сказать, могло быть сведено к нескольким словам. Его, конечно, совершенно не интересовали его парламентские занятия и раздражали проекты каких бы то ни было изменений в существующем порядке вещей, — как это было характерно для большинства людей его возраста. Его всецело занимало, совершенно так же, как мать Роберта, Соланж, и по тем же причинам, состояние его здоровья и еще точнее, его печени и почек и всего, что связано с их функциями. Всё остальное было значительно менее важно.

Роберт из приличия заговорил всё-таки с племянницей

сенатора — и тотчас же выяснил, что всё было так, как он предполагал: она любила то, что он презирал и не понимала того, что он любил.

Когда гости собрались уходить, отец бросил на него быстрый и укоризненный взгляд и через секунду, точно раскаявшись, вновь посмотрел на сына с той улыбкой, которая каждый раз так меняла его лицо, грубое и умное одновременно. Роберт не мог не понять ее значения. Отец не одобрял его поведения, но в конце концов извинял его потому, что не все люди должны быть одинаковы. Мать Роберта не заметила ничего: она и сенатор были единственными людьми, которые остались довольны проведенным вечером. Уходя в свою спальню, она остановилась и сказала мужу:

— Очень милый человек, Симон. Я редко встречала у людей такое понимание. Что ты об этом думаешь, Андрэ?

— Мне не хотелось бы тебя огорчать, Соланж, — сказал Бертье. — Но я думаю, что он просто глуп. Я это знал давно, но это никогда не казалось мне так очевидно, как сегодня.

Роберт возвращался домой пешком, так же, как он пришел. Была холодная и ясная ночь, было начало марта. Огромные круглые фонари горели над безлюдным бульваром. Он шел и думал в тысячный раз о том, что так это продолжаться не может, что необходимо это изменить. Надо было найти цель, к достижению которой следовало стремиться или какой-нибудь вид деятельности, который не казался бы ему явно нестоющим никакого усилия, нужно было перейти от созерцательного метода к экспериментальному, как сказал бы его профессор философии, или, наконец, самое неправдоподобное — чтобы особенное стечение внешних обстоятельств заставило его выйти из той постоянной душевной летаргии, на которую он был так безвозвратно, казалось, осужден.

Но проходили дни и недели, не принося с собой ничего нового. Всё оставалось попрежнему, менялись только названия книг, которые он читал, и каждая прочитанная книга,

каково бы ни было ее содержание, словно подчеркивала то, что Роберт знал уже раньше, именно, что жизнь проходила мимо него. Раз в неделю примерно и чаще всего в самый неожиданный час звонил телефон и голос его отца спрашивал:

— Ты дома? У меня есть немного свободного времени, я сейчас заеду к тебе.

И через четверть часа его автомобиль останавливался у подъезда, а еше через минуту он входил, садился против сына, хлопал его по колену и говорил:

— Ну что, старик, как живем? Представь себе, что этот дурак Ренэ влюбился в какую то массажистку и стал опаздывать на службу — понятно, ложится спать чорт знает когда и вообще всё у него вкривь и вкось.

Он сидел в глубоком кожаном кресле против сына и Роберт опять думал о том, что его отец делает всё как то особенно, со вкусом: если он курил, то было видно, что это ему доставляет удовольствие, если он сидел, то со стороны было заметно, что ему удобно сидеть; и живые его глаза на некрасивом и грубом лице смотрели перед собой почти всегда с одним и тем же выражением — спокойно, смело и немного насмешливо. Роберт смотрел на него с завистью. Несмотря на то, что Андрэ Бертье был всегда очень занят и, казалось, перегружен работой, он каким-то образом успевал узнавать множество вещей — вроде биографии или вида занятий этой массажистки, в которую был влюблен Ренэ. Его всё интересовало и в отличие от Роберта, он находился в центре сложного и быстрого движения, в котором участвовало много людей. Некоторых из них он знал, других никогда не видел, но сведения о них у него были самые подробные и было совершенно непонятно, когда и где он успел всё это узнать и запомнить и главное, зачем ему это было нужно. И каждый раз после его ухода Роберт думал о законе наследственности и жалел, что ни одно из качеств его отца не передалось ему, кроме, пожалуй, физической силы, то есть той подробности, которую он считал самой неважной и несущественной.

Для того, чтобы выйти из дому, ему приходилось делать

над собой усилие. Но зная прекрасно, что его душевное состояние не могло быть названо нормальным для совершенно здорового человека его возраста, он был, однако, очень далек от отчаяния или мысли о самоубийстве. Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы справиться с любой задачей, которая перед ним возникла бы. Несчастье заключалось в том, что никаких задач не было и те, какие он мог бы сам себе придумать или те, которые ему предлагал отец, не казались ему заслуживающими внимания.

Он вышел однажды из дому после раннего обеда, в девятом часу вечера, не зная еще куда он пойдет и что будет делать. Он дошел до середины улицы Auteuil, потом поехал на большие бульвары. Был майский вечер, на улицах было много народа, террасы кафе были полны. Он вошел в кинематограф, просмотрел половину знаменитого фильма со знаменитыми артистами и вышел опять на бульвар. Был одиннадцатый час вечера. Он шел по бульвару, потом свернул, сам не зная почему, на rue St. Denis и прошел несколько шагов, рассеянно глядя на темные старые дома, на уличные фонари, на женские силуэты, проходившие мимо него. Вдруг его остановил сдавленный, почти хрипящий, — что сразу обратило на себя его внимание, — голос:

— Ты идешь со мной?

Он не обернулся бы, если бы его не поразил этот особенный сдавленный звук. В двух шагах от него, почти у порога ярко освещенного небольшого кафе, стояла — как ему сначала показалось — девочка лет пятнадцати, с испуганными глазами. На ней была серая блузка и очень короткая клетчатая юбка. У нее было асимметричное лицо, глаза средней величины и большой, неумело накрашенный рот, губы которого дрожали. Несколько позади, засунув руки в карманы, стоял высокий, узкоплечий человек в сером костюме и в шляпе, сдвинутой набок. Во всём этом было что-то странное, чего Роберт не мог сначала определить, — и вид этой девочки, и непонятно сдавленный ее голос, и эта немая фигура мужчины с покатыми и узкими плечами. До сих пор Роберт

никогда не отвечал на обращения проституток и проходил, глядя невидящими глазами мимо них. Но эта была настолько непохожа на других, что он невольно остановился. В трагическом ее хрипе ему послышалось что-то неподдельно тревожное.

— Иди сюда — сказал он. Она подошла ближе. Он остановил проезжавшее такси, отворил дверцу, почти втолкнул ее туда и сказал шоферу:

— Поезжайте по бульварам к площади Мадлен.

Она неподвижно сидела, откинувшись назад. Автомобиль катился бесшумно. Горели витрины, блестели фонари встречных машин — и ему вдруг показалось, что они едут по огромному и освещенному туннелю и что он уже давно когда-то всё это видел и чувствовал, может быть в забытой книге, может быть во сне. Наконец он спросил:

— Ты давно занимаешься этим ремеслом?

И тогда она, не отвечая, прижала голову к коленям и заплакала. Ему сразу стало ее жаль. Во всей ее фигуре, в ее худом, скорченном теле и в ее тихом плаче было что-то действительно вызывающее сострадание и у Роберта передернулось лицо. Но голос его звучал так же спокойно, как всегда.

— Не надо плакать — сказал он. — Ничего страшного не происходит. Что с тобой?

Он попытался приподнять ее лицо, но она отрицательно и с отчаянием покачала головой и продолжала вздрагивать, уткнувшись в колени. Шофер, повернувшись к Роберту, сказал:

— Мы подъезжаем к площади Мадлен. Куда ехать дальше?

— Спуститесь на набережную и сверните направо — ответил Роберт. — Я вас остановлю, когда будет нужно.

Они проехали еще несколько сот метров. Плач девочки стал почти неслышным. Он тронул ее за плечо и спросил:

Ну что? Почему ты плачешь? Ты меня боишься?

— Нет, теперь уже не боюсь — сказала она, поднимая

голову. Лицо ее было пересечено черными вертикальными полосами от риммеля.

— Так что с тобой можно, наконец, разговаривать? Вытри лицо, ты Бог знает на кого похожа.

Она послушно достала из сумки платок и вытерла щеки и глаза.

— Как тебя зовут?

— Жанина.

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать. Вы не инспектор полиции?

— Нет — сказал он. Ему показалось удивительным, что она говорила ему «вы», как ему вообще казалось странным всё ее поведение.

— Отчего ты плакала?

Она первый раз за всё время прямо посмотрела на него. У нее были печальные и серьезные глаза, в глубине которых застыло выражение далекого страха. Она пожала плечами и ответила:

— Если я вам скажу правду, вы мне не поверите.

— Как ты это можешь знать заранее?

Она опять пожала плечами и сказала:

— Вы должны были быть моим первым клиентом.

— Что? — с изумлением спросил он. — Первым клиентом? Это правда?

— Вы видите, я вам сказала, что вы мне не поверите.

Они подъезжали к мосту Альма. Он остановил автомобиль и расплатился с шофером. Держа ее под руку, — она была на голову ниже его, — он перевел ее через площадь, подошел к стоянке такси, сел в последнюю машину и дал шоферу свой адрес. И когда автомобиль двинулся, он подумал, что если бы еще час тому назад ему сказали бы, что он ответит на обращение проститутки и повезет ее к себе, он пожал бы плечами и решил бы, что человек, который это говорит — сумасшедший.

— Куда вы меня везете? — спросила она и не дождавшись ответа, прибавила:

— Впрочем, мне всё равно. Я вас больше не боюсь.

— Мы едем ко мне, в мою квартиру — сказал Роберт.

— Вы богатый?

— Да — неохотно сказал он.

Она покачала головой и ничего больше не сказала.

Такси остановилось перед двухэтажным особняком. Роберт жил во втором этаже. Квартира первого, давно и наглухо запертая, принадлежала старому голландцу, который жил в Америке и уже несколько лет не приезжал в Париж. Роберт отворил железную калитку небольшого сада перед домом и нажал на кнопку справа от входа. На первой площадке лестницы зажегся электрический стеклянный факел, который держала в руке голая бронзовая женщина. Ему давно хотелось убрать ее оттуда, но он не имел права этого делать: бронзовая женщина была собственностью голландца. Они поднялись по белой лестнице на второй этаж. Роберт отворил дверь и машинально, не думая ни о чем, пропустил Жанину вперед. Она с удивлением посмотрела на него.

Он провел ее в кабинет. Она внимательно рассматривала всё — стены, картины, полы, кресла. Потом она повернула к нему своё чуть-чуть угловатое лицо и сказала:

— Я никогда не видела таких вещей нигде, кроме как в кинематографе. Это ваша собственная квартира?

Роберт улыбнулся. Она стояла посреди комнаты, теребя в руках сумку. Он усадил ее в кресло, сел против нее, предложил ей папиросу, — она с жадностью закурила, — и сказал:

— Ну, теперь расскажи мне всё, что ты можешь рассказать о себе. Только не надо врать, это бесполезно.

— О нет, — сказала она, — я не буду врать. Я скажу вам всё. Я из очень бедной семьи. Мой отец был венгр; он давно умер. Моя мать француженка, она была поденщица. Она умерла три месяца тому назад. Я родилась в Париже, мы жили на rue Dunois.

— Где это, rue Dunois?

— Она выходит на Boulevard de la Gare.

— Да, верно, — сказал Роберт, — я ее теперь вспоминаю.

И он действительно вспомнил, как однажды, несколько лет тому назад он был вместе с отцом на этой улице. Они осматривали там сахарный завод, на котором работали темнолицые, оборванные арабы. Он увидел перед собой эту узкую улицу с низкими домами, окна, заткнутые тряпками и длинную ее перспективу неправдоподобной мрачности. Он закрыл на секунду глаза и весь этот район возник в его памяти — район, который он потом обходил пешком: Boulevard de la Gare, rue du Chateau des Rentiers, rue Dunois, rue Chevaleret, rue Jeanne D'Arc — и внизу, на набережной Сены грязные кафе, татуированные прохожие, неряшливые, простоволосые женщины, — та парижская беднота, о которой ему как-то сказал отец:

— Я знаю ее хорошо, я сам из нее вышел. Я с тобой согласен, что это чудовищно и несправедливо и что эти люди заслуживают более человеческих условий существования. Да, да, я всё это знаю. Но я не думаю, что бы это могло быть изменено.

— Продолжай, — сказал Роберт, обращаясь к Жанине. — Расскажи мне, как ты попала на rue St. Denis и почему я должен был стать твоим первым клиентом.

Она опять прямо посмотрела на него и он заметил, что ее зрачки расширились и мгновенно сузились снова. Она ни разу до сих пор не улыбнулась ему.

— Когда моя мать умерла, — сказала она, — у меня совсем не было денег и я продолжала свою работу.

— Что ты делала?

— То же, что она, я была поденщицей. Но я скоро ушла с этого места.

Роберт ожидал классического продолжения: хозяин к ней приставал, она его оттолкнула... Но он ошибся. Жанина сказала, что ее обвинили в краже денег, вызвали в полицию и долго допрашивали.

— Они всё уговаривали меня сознаться — сказала она,

пожав плечами. — Я им ответила, что не могу сознаться в том, что я не делала.

К счастью для нее деньги нашли у сына хозяина, молодого человека двадцати лет и ее отпустили. После этого она поступила на бумажную фабрику. Потом, однажды вечером подруги уговорили ее пойти в дансинг.

— Где именно?

Она объяснила: дансинг находился недалеко от больших бульваров, на улице, пересекавшей rue St. Martin. Там она познакомилась с Фредом. Когда она произнесла его имя, на ее лице опять появилось то выражение страха, которое так поразило Роберта на rue St. Denis. Он пошел ее провожать, потом вошел в ее комнату, раздел ее — и в ту ночь она перестала быть девушкой.

— Он тебе нравился? — спросил Роберт. Ему почему-то нужно было сделать усилие, чтобы задать ей этот вопрос.

— О, нет — поспешно сказала она. — Но я его боюсь. Его все боятся. Он страшный.

— И что же было дальше?

— Он сказал, чтобы я взяла расчет на фабрике и отобрал у меня деньги. Потом он объяснил, что я буду работать, а он будет меня кормить и содержать. У него уже есть две женщины, кроме меня. И вот, сегодня вечером я должна была начать работу.

Роберт вспомнил узкоплечего человека в сером костюме.

— Так это был он — в сдвинутой набок шляпе? Это он стоял сзади тебя?

Она утвердительно кивнула головой.

Роберт молчал, сидя в кресле и задумавшись. Был первый час ночи, в квартире стояла полная тишина. По тихой улице изредка проезжали автомобили и через отворенное окно был слышен легкий звук их шуршащих шин. Всё было просто, как в уголовной хронике: Жанина, восемнадцать лет, горничная, обвинение в краже, очередной сутенер, rue St. Denis, — и заранее предопределенная судьба — тротуар, болезнь, тюрьма,

больница, опять тротуар, опять больница, потом анонимная смерть, труп Жанины в морге, потом вскрытие. Больше ничего.

— Больше ничего — повторил он вслух.

Жанина сидела против него. На ее лице было выражение усталости. Он поднялся с места и сказал:

— Ну хорошо, мы еще поговорим обо всем этом.

— Я скоро должна вернуться — сказала она, не поднимая глаз.

— Куда?

— Туда, на rue St. Denis. Он меня ждет.

Он внимательно посмотрел на нее и в эту минуту отчетливо понял то, в чем до сих пор не успел себе сознаться: в присутствии этой девушки было нечто настолько притягательное для него, что мысль об ее уходе казалась ему совершенно дикой. Он не мог бы сказать, в чем именно заключалась эта притягательность, — в интонациях ее тусклого голоса, в общем выражении ее лица, в ее зрачках, или может быть в каких-то движениях ее тела, которые он видел, о которых он забыл и которые запечатлелись в бессознательной и безошибочной памяти его мускулов и нервов, недоступной анализу. И он не мог бы сказать когда именно это успело произойти.

Он отрицательно покачал головой.

— Я думаю, что ты туда больше не вернешься.

— Нет, нет, — сказала она испуганно, — я не могу не вернуться. Он меня убьет.

— Можешь быть спокойна — сказал он. — Если тебе угрожает только эта опасность, ты проживешь до ста лет. Идем. Ты наверное устала?

— Да.

— Прими теплую ванну, это очень хорошо против усталости.

Он взял ее за руку и провел через всю квартиру к ванной. Там он открыл оба крана — холодной и горячей воды. Жанина смотрела своими испуганными глазами на матовый отблеск ванны, на сверкание никелированных кранов.

— Подожди одну минуту. — Он вышел и вернулся, неся в

руках один из купальных халатов Жоржетты, который он достал из стенного шкафа. Затем он оставил Жанину одну и ушел. Через минуту он услышал, что вода перестала наполнять ванну и еще через несколько секунд до него донесся легкий плеск тела, погружавшегося в воду. Он стоял на пороге комнаты, из которой был ход в ванную и испытывал непонятное томление, такое же неожиданное, как та неопределимая притягательность Жанины, о которой он подумал несколько минут тому назад. Он невольно представил себе ее тело в ванне, — колени, худые плечи, грудь, — и встряхнув головой, вышел из комнаты.

Он вернулся в кабинет и снова сел в кресло. Мысли его шли с непривычной беспорядочностью. «У тебя в жилах не кровь, а вода...», rue St. Denis, Фред, Жанина, будущая ее судьба — если всё будет так, как должно быть. А если это будет иначе? Окно было отворено, ставни прикрыты неплотно, за окном была неподвижная майская ночь.

Она вошла, беззвучно ступая по ковру, и показалась ему неузнаваемой в белом, мохнатом халате Жоржетты. Он сначала встал с кресла, потом снова сел, затем опять встал. Она сказала:

— Спасибо вам за то, что вы были так добры ко мне.

Он рассеянно слушал ее голос, не очень понимая, что она говорит. Потом он подошел к ней совсем близко — она не двинулась с места, прямо глядя в его лицо, — затем он обнял ее и тогда она охватила его шею руками и поцеловала его в губы с девичьей нежностью, которая показалась ему трогательной и невыразимой. Потом, оторвавшись от него, она спросила:

— Как твое имя?

— Это неважно — сказал он, делая над собой усилие. — Меня зовут Роберт.

Он провел с ней большую часть ночи, глядя в ее расширенные глаза и слушая то, что она говорила и что он знал давно, со всеми вариантами и повторениями и что было тысячи раз написано в романах о любви — она никогда не

любила никого, она никогда не понимала, что это значит, и понимает это только теперь и она никогда не забудет этого и всю жизнь... Он слушал ее и время от времени низкий и вкрадчивый голос той женщины из русского кабарэ, которая сменила певца с ласковыми глазами, смутно доходил до него, принося с собой неопределимую лирическую мелодию, стремившуюся, в сущности, передать то, что он чувствовал сейчас, охватив руками худое и теплое тело Жанины и видя так близко перед собой ее разгоряченное и изменившееся лицо. И всё, что она говорила ему и что во всяких других обстоятельствах вызвало бы у него только пренебрежительную улыбку над убожеством и неубедительностью этих выражений, казалось ему необыкновенно значительным и самым замечательным, что он слышал до сих пор. Это была первая ночь в его жизни, когда всё, что составляло его существование, вдруг забылось и исчезло и смутное, огромное представление о внешнем мире приняло очертания Жанины — ее лицо, груди, живот, ноги — и он чувствовал, что его сознание почти растворяется в этой близости к ней и что по сравнению с этим всё остальное неважно.

Он поднялся с кровати, когда уже начинало светать. Жанина только что заснула, повернувшись лицом к стене. Он посмотрел прояснившимися, наконец, глазами на ее взлохмаченную голову и ровную юношескую спину, не прикрытую простыней, и вышел из комнаты. Затем он взял из ванной все ее вещи и спрятал их в стенной шкаф, который запер на ключ. Потом он пошел в другую комнату, постелил себе кровать, лег и мгновенно заснул крепким сном.

Ему снилось чье-то лицо, одновременно знакомое и неузнаваемое, которое смотрело на него с немой выразительностью. Вокруг был тропический пейзаж — красные скалы, раскаленные солнцем, желтый песок на берегу океана, ствол пальмы, обвитый ползучим растением, легкий плеск волны невдалеке. Он открыл глаза и увидел Жанину, которая сидела на краю постели.

— Доброе утро, Роберт, — сказала она и ему показалось, что ее голос стал звучнее, чем вчера.

— Здравствуй, Жанина, — сказал он. — Ты давно встала?

— Да, уже больше часа.

Он смотрел на нее с улыбкой.

— И ты не нашла своих вещей?

Она отрицательно покачала головой.

— Ты хотела одеться и уйти, чтобы я тебя не видел?

— Да.

— Тебе здесь нехорошо?

— О! как ты можешь это спрашивать? — сказала она. — Ты знаешь, почему я хотела уйти.

— Потому что ты его боишься?

Она ответила:

— Теперь больше, чем когда-нибудь. Потому что раньше я боялась за себя. Сейчас я боюсь за тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось по моей вине.

— Ложись рядом со мной — сказал Роберт. — Я успел по тебе соскучиться.

Она сбросила халат и опять осталась совершенно голой и он отчетливее, чем вчера, увидел ее невысокие, далеко расставленные груди, впалый живот и длинные ноги с большими ступнями. Через четверть часа она сказала:

— Я не такая дура, как ты может быть думаешь. Я знаю, что это не может так продолжаться, как сейчас. И это мне очень жаль, потому что я тебя люблю.

И она сказала, что никогда не забудет, как она была счастлива в эту ночь — даже если этой ночи суждено быть единственной в ее жизни.

— Ты богатый, Роберт, — говорила она, обнимая его шею рукой, — у тебя есть родители, квартира, состояние. Что ты хочешь сделать со мной? Ты хочешь, чтобы я осталась здесь на две недели, — а потом ты мне дашь денег и скажешь, чтобы я возвращалась на rue St. Denis?

— Продолжай — сказал он, улыбнувшись.

— Ты напрасно улыбаешься — сказала она. — Если я уйду сегодня, я буду вспоминать всегда о том, как я была счастлива. Если я уйду через две недели, это будет в тысячу раз тяжелей. И если ты меня любишь, отпусти меня теперь.

Он молчал, закинув руки за голову и глядя в потолок далекими глазами. Потом он повернул к ней лицо, на котором было выражение холодной восторженности и сказал:

— Всё это неважно, Жанина. Важно то, что ты останешься здесь совсем.

Она вскрикнула от неожиданности, как вскрикнула бы от укола или от удара.

— Ты сошел с ума, Роберт! Это невозможно, это немыслимо!

— Почему? — спросил он своим спокойным голосом.

— Послушай, — сказала она терпеливо. — Я вчера должна была стать проституткой. До этого я работала поденщицей. Потом я была на фабрике. Вот моя жизнь. Кроме того, ты ничего не знаешь обо мне: может быть, я воровка; может быть, я преступница. Ты увидел меня вчера первый раз в жизни. А потом еще другое...

— Да, да, я слушаю.

Она запнулась, потом проговорила:

— Если бы я действительно осталась здесь, — что ты сказал бы твоим родителям и твоим знакомым? И как бы ты им меня показал? Нет, нет, об этом не может быть речи.

— Ты уступила Фреду неделю тому назад? А мне ты уступить не хочешь?

На ее глазах показались слезы и ему стало жаль, что он сказал эту неловкую и ненужную фразу.

— Я не уступила ему, я сопротивлялась — сказала она. — Но я его боялась до дрожи. Тебя я не боюсь и мне нужно сделать усилие, чтобы оторваться от тебя. И если бы я тебе уступила, как ты говоришь, я каждый день боялась бы за твою жизнь.

— Я себя сумею защитить, Жанина.

— Ты его не знаешь, я тебе говорю, что это самый

страшный человек, которого я видела. Достаточно посмотреть в его глаза, чтобы в этом убедиться.

— Ну, хорошо — сказал Роберт. — Теперь я пойду в ванную, а потом мы будем пить кофе.

Через полчаса они оба сидели за столом. С лица Жанины всё не сходило выражение тревоги, но иногда она улыбалась широкой и откровенной улыбкой, сразу ее менявшей. Роберт потом часто вспоминал это первое утро, которое он провел вместе с ней. Они говорили сначала о каких-то пустяках, которые он забыл, настолько они были незначительны. Затем, по его просьбе она стала рассказывать ему, как она жила с родителями и как у них никогда не было денег, — потому что отец всё проигрывал на скачках, хотя у него было хорошее ремесло.

— Какое именно?

— Он работал у портного, он был закройщиком.

Роберт кивнул головой.

Но у него испортилось зрение — и это его погубило. Нередко, когда он шел по улице, — как он это рассказывал жене, — перед его глазами вдруг возникало туманное облако, сквозь которое ничего не было видно, ни домов, ни автомобилей, ни людей. В тот день, когда он не вернулся домой с работы, это вероятно было именно так: он переходил улицу, движение было сравнительно небольшое, но в это время перед ним снова появилось его облако, о котором, как сказала Жанина, никто не знал, ни полицейский, стоявший на углу, ни шофер огромного грузовика, спускавшегося по направлению к ближайшей площади, ни прохожие, находившиеся там в эту мунуту. — Это облако — сказала Жанина, — это была его смерть.

Он попал под грузовик и был убит на месте. Всю свою жизнь он мечтал, со слепой и упрямой наивностью бедного, что однажды он выиграет... Никакие годы опыта не могли его ничему научить. Это была его единственная надежда на улучшение — другим путем он не мог его добиться. И еще утром этого дня, последнего дня его существования, он говорил о

том, что всё пойдет лучше, что они поедут летом к морю, что он обратится к глазному врачу, настоящему, а не такому, как в госпитале, и что после этого над ним перестанут смеяться его товарищи по мастерской, всё станет иначе и они переедут в другой квартал. Он бормотал всё это утром, выворачивая карманы и повторял:

— Вот вы увидите, сегодня будет что-то необыкновенное.

Но так как он произносил эту фразу почти каждый раз, то ни его жена, ни маленькая Жанина не обратили на нее внимания. И только потом, когда мать Жанины вспомнила ее, зловещая ее точность вдруг стала ей понятна: неузнаваемый, изуродованный труп ее мужа лежал в анатомическом театре, — с раздавленной головой, переломанной грудной клеткой и окоченевшими руками и только по засаленной и просроченной carte d'identité можно было узнать, что эти бедные человеческие остатки принадлежали Анатолию Ковачу, сорока двух лет, женатому, портному по профессии, жившему на rue Dunois.

Это случилось восемь лет тому назад. Жанина хорошо помнила отца и подробно описала его: он был маленький, лысый, очень тихий человек, который разговаривал сам с собой и сам себе повторял одну и ту же теорию о том, как всё устроено на земле: бедным ничего нельзя, богатым можно, бедные живут плохо, богатые хорошо и богатые не хотят, чтобы бедные становились богатыми и всячески их преследуют. И они, чуть что, требуют у бедных деньги: государство, которое тратит миллиарды, посылает своих служащих к несчастному иностранцу, венгерскому портному и эти служащие говорят, что он должен платить налог, как будто он миллионер; а хозяин дома, который сам живет в роскошной квартире на таком бульваре, куда бедных не пускают, угрожает выгнать его, Ковача, за неплатеж. Ковач плохо говорил по-французски, — с чем он никогда не хотел согласиться, хотя это было совершенно очевидно, — но был уверен, что понимает всё и, главное, понимает самое важное — этот заговор богатых против бед-

ных. Как это ни странно, однако, он не осуждал богатых. Он только констатировал именно такое положение вещей и его личная цель состояла в том, чтобы перейти из одной категории в другую. Законность этого противопоставления казалась ему несомненной и он был далек от стремления изменить эту систему распределения богатств, единственный недостаток которой заключался в том, что он, Анатолий Ковач, попал по ошибке в низшую категорию, а не в высшую. Но один выигрыш на скачках мог бы изменить всё — и тогда, в наивном его воображении мир принимал идиллические очертания.

По вечерам он сидел за столом, опустив голову, и бормотал, как всегда, нечто длинное и почти бессвязное, комментируя постоянную свою теорию, которая обогащалась новыми данными по мере того, как проходило время. «Богатые не хотят, чтобы бедные»... Потом он брал на колени Жанину и рассказывал ей, что он снимет большую квартиру и будет сам принимать заказы и к нему будут приходить клиенты, а в столовой будет стоять аппарат радио, по которому можно слушать Америку. Первого августа он повесит на двери картон с надписью: «закрыто до пятнадцатого сентября по случаю каникул» и они уедут скорым поездом на юг Франции, к берегу Средиземного моря, и там будут ходить в белых костюмах, как миллионеры и если его будут спрашивать об его профессии, то он даст свою визитную карточку, где будет номер телефона и адрес и будет написано, что он берет заказы на штатское и военное платье и ручается за добросовестное и быстрое выполнение по ценам вне конкуренции.

Таким был Анатолий Ковач, отец Жанины. Таким, во всяком случае, он представлялся Роберту — по беспорядочному ее рассказу. И Роберт подумал, что может быть тогда, в это последнее утро своей жизни, когда венгерский портной переходил бульвар, и перед его глазами возникло смертельное облако, он мечтал о несбыточных каникулах на берегу Средиземного моря и видел себя в белом костюме на Promenade des Anglais — и этот бедный поэтический бред вдруг так трагически оборвался в какую-то незначительную часть се-

кунды — потому что, пересекая ему дорогу, с тяжелой стремительностью проехал грузовик, тоже принадлежавший вероятно богатому человеку.

Он сидел, задумавшись над судьбою этого человека. Если бы в тот день Ковач остался жив, если бы во всем, что этому предшествовало и что за этим последовало, произошло бы одно незначительное изменение, то вчерашняя ночь ничем, вероятно, не отличалась бы от других и лицо Жанины, на которое он смотрел сейчас с такой жадной пристальностью, не возникло бы никогда даже в его воображении. И смерть ее отца приобретала таким образом значение, которого нельзя было знать тогда, восемь лет тому назад, и которое заключалось в том, что для него, Роберта Бертье, одного из богатых людей, состоявших в воображаемом заговоре против бедных, жизнь приобретала смысл, какого не имела до сих пор. Он понимал, насколько эти мысли было легко опровергнуть: далекая смерть венгерского портного была взята с предельной произвольностью, не говоря о том, что новый смысл жизни мог быть, конечно, иллюзорным. Но он впервые почувствовал с непривычной отчетливостью, что всё происходящее, которое до сих пор так послушно поддавалось его суждению и почти всегда укладывалось в ту или иную отрицательную схему идей, мгновенно возникавшую в его мозгу, — чего бы это ни касалось, — что всё происходящее теперь приобрело живую и непреодолимую убедительность и по сравнению с ней никакая отвлеченная схема не имела ни малейшего значения.

Он думал обо всем этом, не переставая смотреть на лицо Жанины пристальными и далекими глазами. Потом он сказал с интонацией, к которой она уже начала привыкать:

— Продолжай, Жанина. Рассказывай дальше.

— Что я могу тебе рассказать? — сказала она. — Ты наверное знаешь столько замечательных вещей, — может ли тебя интересовать моя жизнь, в которой ничего не было, кроме бедности и огорчений? Но я тебе всё-таки расскажу,

чтобы ты знал обо мне всё. Может быть потом ты будешь вспоминать обо мне.

Через некоторое время после смерти и похорон отца ее мать сошлась с другим человеком, которого Жанина не любила и боялась, хотя он никогда не сделал ей зла. Он был кровельщик по профессии, но часто оставался без работы, потому что был горьким пьяницей. Матерьяльное положение семьи еще ухудшилось. Тогда мать отправила Жанину в деревню, объяснив ей, что так будет лучше.

— Я только позже поняла, — сказала Жанина, — что я ей просто мешала. У нас была одна комната на всех и это ее стесняло.

Она провела почти шесть лет в деревне, у деда и бабушки: у них был маленький домик, несколько кур, две утки и собака. Они жили на пенсию, которую получал дед, выслуживший ее на железной дороге. Он так до самого конца своей жизни и не мог представить себе существования вне этого: поздно вечером, когда бабушка уже давно спала, он говорил внучке, слыша отдаленный гудок паровоза:

— Ты слышишь, Жанина? Это парижский экспресс. Смотри, он опаздывает на сорок три секунды.

Днем она нередко сопровождала его; неизменно направляясь к железнодорожному полотну, он шел по полю, медленно переставляя ноги и опираясь на палку. Потом он доходил, наконец, до своего любимого поворота, садился на невысокий бугорок, всегда тот же самый, набивал свою трубку серым табаком, закуривал и ждал поезда, который через пятнадцать или двадцать минут проносился мимо него в пыли и грохоте колес. Он следил за ним глазами и каждый раз говорил одну и ту же фразу:

— Да, тут, милая моя, колесам туго приходится! Смотри, какой поворот. Ты слышишь, как они стонут? Вот, тебе будут в школе говорить, что металлы бесчувственны. Это неправда: металлу так же может быть больно, как нам с тобой.

Он строго говорил маленькой Жанине:

— Ты не думай, что это так просто — топить паровоз.

Тебе кажется, что это как печка? Нет, милая моя. Вот, смотри.

И он медленно поднимался с кресла — он был стар и было видно, что каждое движение требовало от него усилия — и начинал бросать дрожащими руками воображаемые лопаты угля в незримую топку.

— Видишь, Жанина? Это круговое движение. Раз, два, три. Раз, два, три. Если же ты будешь бросать как попало, то у тебя потекут трубы. И, главное, не забывай манометра.

Девочка никогда не видала топки паровоза и не знала, что такое манометр. Но дедушку она слушала с увлечением — и ей казалось иногда, что они вдвоем с ним совершают далекое путешествие на огромном черном локомотиве, и вот, ночью навстречу ему летит воздушная тьма, сыплются искры на землю, и в открытую, нестерпимо жаркую топку равномерно падает уголь; дедушка стоит с трубкой и смотрит на загадочный манометр.

В деревне была церковь с высокими сводами и синезолотыми витражами и в церкви был сумасшедший аббат, всегда говоривший непонятные вещи. Когда-то в молодости он был светским человеком и ушел в монастырь из-за любовного несчастья. Он очень не любил деда Жанины, потому что тот не верил ни в Бога, ни в загробную жизнь и никогда не бывал в церкви. Но внучке он не запрещал туда ходить. Она любила неизменный полусвет в ней, гулкий звук органа, латинские слова службы, непонятные и торжественные. Крестьяне считали аббата сумасшедшим потому, что он часто говорил так, что они его не понимали. Он сказал однажды Жанине удивительные слова об ее дедушке, смысл которых остался для нее загадочным до сих пор, но которые она запомнила, потому что они ее поразили:

— Жизнь твоего деда, Жанина, была уклонением от человеческой ответственности. Люди ездят на поездах, чтобы куда-нибудь приехать и достигнуть какой-то цели: жениться, умереть, получить наследство или утонуть. Твой дед провел всю жизнь на поездах, но он никогда никуда не ехал. Он

только перевозил других людей со слепой безразличностью. Жизнь прошла мимо него, он не выполнил того долга, который был определен ему Богом и Бог наказал его неверием. И так как он неверующий, то он попадет туда, где язычники. И если там есть подземная справедливость, то Харон уйдет в отставку и он займет его место, которое он давно заслужил.

Он говорил это десятилетней девочке, которая слушала его с широко открытыми глазами, — и не думал о том, что она не может его понять. Она запомнила, однако, эти слова и странное ожесточение, с которым он их произносил, правую руку аббата, угрожающим жестом поднятую вверх и то, как он уходил потом, в солнечном свете летнего дня и как легкий ветер раздувал его черную сутану. Она потом рассказала это деду. Он невнимательно выслушал ее и ответил, что аббат сумасшедший, что это давно всем известно и что на него не надо обращать внимания. Был летний вечер, бабушка дремала, как всегда, сидя в кресле, и дедушка сказал:

— Самый неверный час, это сумерки. Каждый механик тебе это подтвердит.

Затем он дождался парижского экспресса и только потом лег спать — и таким он ей запомнился навсегда: в вязаном теплом белье, в плотном ночном колпаке на голове, с седой щетиной на морщинистых щеках, со своими неправдоподобно ровными вставными зубами, — таким, каким его нашли однажды, в то зимнее утро, когда она его видела последний раз.

Ей было тогда пятнадцать лет, она плохо себя чувствовала и часто плакала без причины, по ночам ей снились скалы, обрушивающиеся на нее и поезда, врывающиеся в темные туннели. Это состояние продолжалось целый год, тот самый год, который прошел от смерти деда до смерти бабушки. Бабушка умерла от воспаления легких, зимой, вскоре после того, как Жанине исполнилось шестнадцать лет. Ей было шестьдесят четыре года, она никогда до этого не знала недомоганий и если бы у нее оставалась хоть малейшая воля к жизни, она бы, вероятно, поправилась. Но воля к жизни покинула ее тогда, когда похоронили деда. Она прожила с ним

сорок шесть лет в этом маленьком домике, где она столько раз ждала его возвращения с работы, где она родила ему дочь, — и вне этого, как вне его постоянного присутствия жизнь не имела для нее никакого смысла. Она была простая женщина и едва умела читать, но если бы она была способна точно выразить то, в чем заключалось для нее главное значение ее существования, она, вероятно, определила бы его именно так: он и то, что окружало его, эти стены, эти кровати, эта черепичная крыша над тем небольшим пространством, где прошла ее жизнь рядом с ним, в таком бесконечно долгом соседстве. Она даже не могла бы наверное сказать, любила ли она его и была ли она счастлива; вероятно любила и вероятно была счастлива, но и тот и другой вопрос как-то не имел отношения к ней. Самое главное было то, что это была двойная жизнь, — ее и его или его и ее, — и после его смерти ее собственное существование сразу потеряло то значение, которое возникло сорок шесть лет тому назад и которого теперь не стало.

На похороны приехала мать Жанины, — как она приезжала год назад на похороны деда, — в том же дешевом черном платье и черном пальто, которое было ей широко; она очень похудела за последнее время, под ее глазами были глубокие синие круги, цвет ее лица приобрел тревожно сероватый оттенок и если бы Жанина имела какое-нибудь представление о болезнях, для нее было бы ясно, что срок жизни ее матери определяется теперь, быть может, несколькими месяцами. Домик был продан, маленькое наследство получено и Жанина вернулась с матерью в Париж. Они остались вдвоем, — потому что кровельщик ушел уже некоторое время тому назад, бормоча в пьяном виде, что сказка, как он сказал, прожита и кончена и это было первый и последний раз, что он произнес слово «сказка», которое звучало в его устах с такой дикой неестественностью. Через некоторое время мать Жанины оперировали: у нее был рак груди.

— Они так изрезали это бедное тело — сказала Жанина и слезы выступили на ее глазах.

Она долго и мучительно болела и Жанина провела много месяцев, ухаживая за ней, покупая лекарства, вызывая докторов, которые смотрели мимо нее невыразительными глазами и явно не хотели сказать того, что она сама прекрасно понимала, то есть, что на выздоровление или даже просто улучшение не было никакой надежды. Но в тот день, когда ее мать умерла, Жанина плакала, глотая слюну и слезы, — плакала о матери и о себе, от сознания, что теперь, в этом огромном и враждебном мире, она осталась одна и ее некому защитить. После этих четырех смертей, так незаслуженно, как ей казалось, обрушившихся на нее, вокруг нее возникло пустое и холодное пространство. Ей вспомнился сон, преследовавший ее несколько лет тому назад и мучительное ощущение, его неизменно сопровождавшее. Ей снилось, что она идет в сумерках по огромному снежному полю, такому, какое она видела один раз в жизни, в особенно суровую зиму, — совершенно одна и у нее не хватает сил дойти до какого-то места, до которого еще очень далеко, она движется с трудом в морозном воздухе и сколько хватает глаз, не видно ни одной живой души. Наконец она падает на белую, мерзлую землю и ей кажется, что она слышит чьи то голоса. Она делает необыкновенное усилие и встает — и вот, вокруг нее та же мертвая тишина и тот же ледяной воздух, которым больно дышать.

Роберт слушал ее с напряженным вниманием. Она прервала себя и сказала:

— Вот видишь, это, кажется, всё. Это не может быть для тебя интересным. И это непохоже на те необыкновенные вещи, которые показывают в фильмах.

— Да, несомненно — сказал он.

— И я тебя хотела спросить одну вещь.

— Да?

— Кто был Харон, о котором говорил аббат?

— Как тебе это сказать? Древние греки верили, что души умерших людей попадают в подземное царство — поэтому аббат говорил о подземной справедливости. Там они

совершают странствие и в частности переправляются через реку Стикс. Харон был лодочник, который перевозил их с одного берега на другой. Он только это и делал всю свою жизнь, вернее вечность. Вот почему сумасшедший, как ты говоришь, аббат сравнивал с ним твоего деда.

— Этого мне никто не мог объяснить до сих пор сказала Жанина. — Я спрашивала разных людей, но они этого не знали.

— А самого аббата ты не спросила?

— Нет, — сказала она, улыбаясь, — Я слишком его боялась, чтобы задавать ему вопросы.

Гайто Газданов

(Продолжение следует)

ДОМ НА МАНХАТТЕНЕ

Над двором, прямоугольной бездной,
Тусклый дом нерадостно возник, —
Перечеркнут лестницей железной,
Словно неудачный черновик.

Но над мутью всех незрячих окон,
Слой над слоем, и из года в год,
Кто-то вьет свой человечий кокон,
Кто-то плачет, курит и поет.

Чье-то сердце там упорно бьется,
Чьи-то в копоти цветут мечты...
А на дне бетонного колодца
Бродят одичалые коты.

Лидия Алексеева

ГАЛЯ

Если бы не война, разве я бы вышла замуж в Столине? Есть такое местечко на Горыни-реке, среди лесов, далеко от железной дороги. Я туда попала случайно. Мне предложили работу в Леспромхозе города Столина. Время военное, 40-й год. Я беженка, деваться некуда. Столин, так Столин. Местечко битком набито. Беженцев видимо-невидимо, всё евреи. Живем как во сне. В Варшаве немцы, а здесь советская власть. Чем это всё кончится, неизвестно, а пока я вышла замуж.

Муж у меня был сильный, большой. Хороший парень. Называл он меня «поросёночек», а почему, догадайтесь сами. Начал он ко мне приставать: венчаться под балдахином, по закону, а то матери стыдно. Святой город Столин! Но я заупрямилась: ни за что не пойду под балдахин. Я не религиозная. Хватит гражданского брака. И тут они меня взяли хитростью. «Идем к маме на чай», — говорит мой Беня. Я прихожу, а там всё готово: раввин в широкой шляпе, все родственники, дети с цветами. — «Дурочка, не стесняйся! Это ж всего одна минута»! — И двери заперли. Под балдахином я разревелась от злости, а кругом все смеются. Я мужу сквозь слезы: «Никогда, никогда тебе этого не прощу!».

После этого отправилась я покупать себе туалет. Не в магазин, конечно. Какие магазины в советском Столине! А к бывшей помещице Олехновской. Была такая старуха, ее мужа и сыновей большевики забрали, и она перебралась жить в Столин на окраину. Домик ее в поле выходил. Она продавала вещи, тем и жила.

Звоню, прислуга открывает. Здоровенная баба, гренадер.

— Вам чего?

Рассказ «Галя» — из готовящейся новой книги Ю. Марголина «Дорога на Запад». *Ред.*

И я, самым-самым сладким голосочком:

— Мне пани Олехновскую... по делу...

Выходит Олехновская: женщина седая, гордой осанки, в трауре. Для поляков тогда было трудное время, а эта еще и аристократка, шляхтянка. Пани.

— Я беженка из Варшавы, все вещи растеряла, одеться не во что... Не продадите ли чего из вещей?

Из кухни является прислуга, вытирает руки, садится к столу, и я вижу, что ошиблась: нет, это, видно, не простая баба, это родственница из этой же семьи. Начинается разговор, и всё мне в этом доме нравится: комнаты чистенькие, уютные, об Олехновской я много хорошего слышала, и как бывает: десяти минут не проговорили, и подружились. Верчусь, примеряю, смеюсь. Чай с вареньем подали.

— Как у вас хорошо, — говорю, — как всё мило... уходить не хочется!

— А ты и не уходи, — говорит Олехновская. — Мака, заверни ей эти два платья. Бери, не бойся. В цене сойдемся. Человек важен, не деньги.

Так и завязалась между нами дружба. Пошла я платья покупать, а купила себе — жизнь. Через два месяца пришли ночью за старой Олехновской. Известное дело — помещица. Был у меня знакомый энкаведист, человек тихий, вежливый, — я сейчас к нему:

— За что ее взяли, это верно ошибка!

Он мне отвечает:

— Я вам удивляюсь, товарищ Галя: это ж классовый враг, а если симпатичная и добрая, то это лишь тем хуже. Советская власть симпатичных помещиков особенно не любит.. отступитесь от нее, ее дело пропащее.

— Похоже как у наци, — говорю, — там тоже евреи должны быть черные с кривыми носами, а если кто блондин с голубыми глазами, тем хуже, такого в первую очередь ликвидируют.

Он на меня глаза как вытаращит:

— Товарищ Галя, таких сравнений не делайте никогда...

для вашего добра... а уж эта ваша Олехновская, чорт с ней, я ей устрою передачу...

И так начали мы с Макой пересылать в тюрьму еду и вещи, а от нее получали грязное белье — в стирку.

В один вечер разбирали мы такой узелок из тюрьмы, и вдруг замечаю: торчит тесемка из белья. Я выдернула тесемку, а на ней надпись карандашом вдоль: «Ратуйте меня». Как это спасать? От чего спасать? Что они с ней делают? Ничего мы не знаем, не понимаем, а на утро с узелком белья на смену пошли к воротам тюрьмы.

А под воротами толпа:

— Ведут!

И растворили ворота, вывели человек двести: пешком, по пяти в ряд, с мешками на спинах, старых, молодых, всяких. И Олехновская шла с краю, щеки ввалились, платок на бровях, лицо безумное. И я через конвойных, через штыки:

— Белье, белье!

Конвоир поднял приклад:

— Смотри, а то вместе пойдешь!

И бледный страх напал на нас с Макой, остались мы обе в стороне: «конец Олехновской»! Слезы сами собой льются, вернулись мы в пустой дом на краю поля.

Прошло две недели, и я начала уговаривать Маку.

— Нельзя тебе дома сидеть без работы. Зачем внимание на себя обращать? Иди на работу, иди в Леспромхоз.

— Да я не умею ничего.

— Вот велика важность. Мы все сначала не умели. Я тебе покажу, будешь счета писать... ты ж грамотная.

И начала Мака работать в Леспромхозе. Голова у ней хорошая, деловая. Не прошло и месяца, стала моя Мака расти: она счетовод, она же и экономист, она и хозяйка — без нее в Леспромхозе и стула не переставят.

Только наладили мирную жизнь, как Гитлер дал о себе знать.

Война! Грянула весть: немцы идут!

Конец июня был жаркий, Горынь обмелела, зарницы по-

лыхали, и с каждой ночью, с каждым днем нарастала тревога: немцы в Бресте! Немцы в Кобрине! Советские люди молчали первые дни, и мы, глядя на них, молчали. Переполох начался в тот день, когда мы увидели грузовики под Горкомом. Уходят! А с нами что будет?

Советской власти было не до нас. Эвакуировали из Столина всего на всего четырех евреев из числа главарей местных. Бросились тогда многие за лошадьми, за телегами. Еще через день тронулся из Столина длинный обоз: возов сто поехало на советскую границу. Поехала вся молодежь, все, кто не хотел попасть немцам в руки. Поехал и муж мой, Беня. Пред отъездом я дала ему слово заботиться об его матери, и попрощались, кто знает как надолго.

Но они недалеко уехали. На советской границе их не пропустили. «Вы кто такие»? В военное время по советским дорогам самотека не допускается. «Поворачивай оглобли»! И никакие объяснения не помогли. Полдня простояв на границе, тронулся обоз столинских евреев обратно — навстречу немецкой армии. Медленно тянулись возы через глухие белорусские деревни, и мужики смотрели с удивлением на это шествие. На рассвете вернулись в Столин, а там от большевиков и следа не осталось. Евреи притаились. Грабежи по домам. Ждут немцев каждый час.

...Ворота во двор тюрьмы НКВД были открыты, под забором лежало двадцать трупов. Уходя, расстреляли арестованных. Мы с Макой прокрались во двор. Мы искали Ирену. Весь Столин знал Ирену. Девушка 18 лет, красавица писаная, патриотка польская и смелая как в романах Сенкевича. Семью Ирены вывезли давно, а ее задержали. Она же сама и была виновата. С кем задираться вздумала! Она, сидя в камере, во весь голос пела «Еще Польска не сгинэла». И когда мы услышали, что Ирена лежит во дворе, среди расстрелянных — первое слово Маки было: «пойдем, похороним ее».

Мы нашли в ряду тело Ирены, положили на носилки и вынесли за ворота. Мы торопились. Я особенно боялась. Этого еще не хватало, наткнуться по дороге на немцев. Мне, еврейке!.. Мы вышли за город, на опушку леса. Взяли по лопате,

выкопали яму под деревом. Я не смела смотреть... У нее была вся черная грудь. Что с ней делали перед смертью? Мака перекрестилась, и мы поскорей ушли.

Через три дня немцы пришли в Столин. Немного их было: всего четыре немца на автомашине. И этого было достаточно. Четыре немца на восемь тысяч столинских евреев.

В летнее утро собрали евреев на базарную площадь, и немецкий комиссар держал им речь с крыльца советского Горкома:

— Вы такие и сякие. Вы вредный народ, испорченный, никуда негодный народ. Работать вы не хотите, и не нужны вы никому. Вы — известные поджигатели войны. Вы во всем виноваты. Но мы вас заставим работать и слушаться. И чтоб с завтра все одели желтую звезду.

Мертвое молчание на площади. Стояли стар и млад, понурив головы.

— Сдавайте шубы и ценные вещи. Сдавайте золото и деньги. И запрещается вам ходить по тротуарам. Ходите среди улицы, иль совсем не показывайтесь.

В мертвом молчании, потупив глаза, стояла толпа.

На другой день назначили нам Юденрат и «еврейскую полицию», чтоб исполнять немецкие приказы. И началось. Как в дурном сне.

Еще через несколько дней нахлынула в Столин тысячная толпа еврейских женщин и детей. Они прибежали за 30 километров из Давидгородка.

Под Давидгородком появились партизаны. Может быть и были среди них отдельные евреи. Кто стрелял, неизвестно. Короткая расправа: собрали всё мужское еврейское население Давидгородка, от 12 лет, две или три тысячи вывели за город и всех до одного расстреляли. А женщинам приказ: уходить из местечка. Вон, всё равно куда. Сию минуту. «Кого через час найдем в домах, убьем».

Это надо было видеть, когда вырвалась из местечка обезумевшая толпа старух, свежих вдов с младенцами на руках, девчонок, которые за руку тащили малых ребят, тысячи фурий с растерзанными волосами, в столбняке страха, который отнял

у них голос и слезы. Немцы не дали времени плакать. Всю ночь они шли по открытой дороге из Давидгородка в Столин, как процессия привидений. Встречные мужики крестились в испуге и уступали дорогу. Бабы выносили им воду и хлеб. А другие травили их собаками и осыпали бранью.

В Столине приняли их с плачем, но для всех нашлось место. Голод и холод заставили нас сгрудиться как стадо овец. Евреи грели друг друга собственным телом. Не стало разницы, образованные, необразованные. Люди с дипломами женились на простых торговках. Каждая местная девка, которая припрятала пуд пшена и куль картошки, выбирала себе в мужья кого хотела. За пшено и теплый угол покупали их, аристократов, голодных беженцев из Варшавы, белоручек, неженок с желтой звездой.

Пришлось мне идти в прислуги. Мака меня взяла за прислугу. Уже тогда нельзя было евреям и арийцам жить вместе, но Мака получила разрешение выбрать себе еврейку в прислуги. Я осталась при ней. А когда заперли евреев в гетто, она мне достала пропуск. Днем я работала у нее, а вечером возвращалась в гетто. Тогда начали евреи выменивать всё, что имели на еду. Через меня шла торговля. Я приносила Маке вещи, она их выменивала у соседей. Я боялась сама в гетто носить припасы. Мака провожала меня по другой стороне улицы, доходили до забора гетто, и там, улучив минуту, она перебрасывала через забор кульки с мукой и крупой... Так мы в гетто кормились.

Кто-то немцам донес, что Мака со мной дружит. Один из них и пришел проверить, что за прислуга у Маки. Я стояла у печи и варила обед, когда постучали, и вошел высокий, худой немец с впалыми щеками. Я боялась посмотреть ему в лицо.

— Что ты здесь делаешь?

— Варю обед.

Немец подошел к печи, снял крышку с горшка и заглянул. Понюхал. Запах ему понравился. Он что-то хотел сказать. Я подумала, он велит подать ложку. Но немец перемог себя. Еще раз понюхал, махнул рукой и ушел.

В день переселения в гетто тысячи евреев бросили свои

дома, мебель, погреба с запасами и перебрались на бедную окраину местечка, где до того жила подгородная беднота. Столин, стародавнее еврейское местечко, в полдня стал арийским. Но в гетто вокруг лачуг и убогих хат евреи нашли нежданное богатство: огороды. Бывшие владельцы оставили им грядки с картошкой, луком, огурцами. Во дворе осталась даже арийская птица! Еврейские хозяйки в первые дни звали кур: «цып-цып-цып...», но куры, представьте, не отзывались: куры не понимали по-еврейски. Пока не начали манить их по-мужицки: «угу, угу, угу».

Восемь тысяч евреев сидело за колючей проволокой. И постепенно стали доходить до нас вести, которым никто не хотел, не смел верить. О том, что произошло в Сарнах. О том, что сделали в Высоцке... Нашлась среди нас молодежь, которая хотела собрать оружие, бежать в лес, организовать сопротивление. Но было поздно. Хотели, и не умели, не знали, не решались. Некому было позвать их «угу»! Столинский ребе решил иначе. Сказал столинский ребе, столп Израиля: «Не сметь! Как жили, так и умирать будем. Всё по воле Божией. Разве место еврею в лесу? Волки мы, что ли? Место наше было и останется в доме молитвы».

А пропуск у меня был только до шести часов вечера. Мака никак не хотела меня отпустить. В тот вечер пришла в Столин рота СС. Гетто оцепили. Я осталась на арийской стороне. Мака меня обманула: сказала, что ей позволили оставить меня на ночь. Она ушла из дому и заперла меня на ключ. Я лежала в темноте и всю ночь слушала: ветер рвал ставни, и мне казалось, что я слышу далекую стрельбу. Мака не возвращалась. Может быть партизаны ворвались в город? Или пьяные немцы открыли стрельбу по гетто? Почему не возвращается Мака? На рассвете наступила необыкновенная тишина. Как будто вымерло местечко. Я ломала руки. Ни звука за окном, улица пуста. Мака вернулась только в девять часов утра. Я испугалась, глядя на нее. Лицо у нее побелело как мел. И синие губы.

— Мака, я хочу домой, в гетто.

— Нет больше гетто, Галя. Нет никого в живых.

Я окаменела. И Мака смотрела на меня так странно, как

будто мы обе спали, и это всё нам снилось. Я сказала во сне, беззвучно:

— Что ты говоришь?

Я не слышала ее ответа. Но я уже знала, что все умерли, и сейчас будет моя очередь. Я хотела проснуться и не могла. Первой проснулась Мака. Я увидела, как дрогнули ее зрачки, глаза стали осмысленными, и в них появилось человеческое выражение. Она тронула меня за руку.

— Что делать, Мака?

— Ничего не делать. Переждать.

Это было самым простым в нашем положении: отложить. Но Мака сказала «переждать», как будто не понимая, что она говорит: переждать войну, пережить Гитлера, пережить зло, которое залило пол-мира. Она за руку вывела меня в другую комнату. Было их две всего, — и в первой комнатке стояла корзина. Плетеная корзина для белья, с крышкой, которая неплотно прилегала. Метр в длину и 60 сантиметров в ширину. Не было другого места спрятать меня. Не было времени искать другое место. Если бы немцы нашли меня в квартире Маки, они убили бы нас обеих. Я легла в корзину. Мака бросила мне яблоко. Крышка закрылась. Мака покрыла корзину длинным вышитым крестьянским полотенцем. Под ним я лежала и ждала, чтобы немцы ушли из Столина.

Я ждала полтора года.

Не удивляйтесь. Можно жить в корзине для белья, если на выбор только немецкий застенок. Я меньше боялась смерти, чем попасть в немецкие руки.

В корзине я лежала на спине, согнув колени и упершись ногами в стенку. Я могла шевелиться, чуть-чуть поворачиваться и, таким образом, могла выдержать часа три. Корзина стояла в углу, так что из окна ее не было видно. Это было важно, потому что прохожие и особенно знакомые часто заглядывали через окно внутрь комнаты. Закрыть окно ставнями мы не решались: это бы обратило внимание. Только вечером я выходила из корзины, когда темнело. Днем я лежала в корзине, в пустой квартире, и ждала, чтобы Мака вернулась со службы. Когда становилось невмоготу, я приоткрывала корзину и са-

дилась. Первые два дня я ничего не ела. Я не могла собрать мыслей. На третий день я съела яблоко.

В этот день собрались к Маке соседки и начали вспоминать меня.

— И Галя тоже погибла! Жалко Галю!

А Мака в ответ:

— Нашли кого жалеть! Пустая девчонка, коза, нестоящий человек!

И так они вспоминали меня и говорили о столинских евреях:

— Евреи все были коммунисты. Без них нам лучше будет.

А Мака отвечала: «Еще посмотрим, лучше ли немцы евреев».

И все хором: «Ох, какой страшный народ! Такого варварства свет не видел. Кто еще знает, что с нами будет, если немцы войну выиграют»!

А я лежала в другой темной комнате в корзине и слушала.

Через несколько дней нашелся кто-то, кто видел, как вели меня убивать: жандармы в толстых шинелях вели Галю босую, раздетую, с лицом в крови и слезах.

— Жалко Галю!

И мне было жалко ту, другую Галю, мою сестру, такую же как и я. Не всё ли равно, как ее звали? Но я хотела жить! Как я хотела жить! Одна из всех. Одна против всех. Против Гитлера, против властей и законов. Уж одно, что я дышала — было победой. И Мака была со мной.

После ликвидации гетто немцы собрали все вещи, которые остались после убитых и разделили на две части. Лучшие вещи вывезли в Германию, а что похуже, роздали местному населению. Я начала уговаривать Маку: «Пойди возьми тоже что-нибудь! Может, попадется что-нибудь подходящее, а то у нас ни белья, ни тряпки половой в доме нет». Мака сходила и принесла домой свёрток. Мы его открыли вечером.

Сперва мы вытащили жилетку. Старую поношенную жилетку с пятнами, и пуговицы не хватало... из кармана торчал замусоленный карандашик. А потом что-то скомканное. Развернули — это детские рубашечки. Одна, вторая, третья...

Вот тогда меня и прорвало. До того я слезинки не проронила. Сердце во мне оборвалось. Залилась я неистовым плачем. Душу всю у меня вывернуло. Мака, здоровая баба, не из пугливых, — затряслась вся, переменилась в лице. Схватила она весь этот свёрток — и в огонь.

— Будь проклят, кто до этих вещей дотронется!

С первого дня было решено между нами, что я уйду в лес, к партизанам. Недели проходили в ожидании. Надо было связь найти, потихоньку выбраться из местечка. Я всё Маке не давала покою: когда же — когда в лес? Здесь каждый день мы обе рисковали жизнью. Я хотела освободить Маку от этого напряжения, и корзина мне надоела: что за жизнь в корзине? Будь что будет — мое место с партизанами, на зимних стоянках в лесной глуши — на вольной воле.

Мака осторожно разузнавала. И наконец, пришел срок. В одну зимнюю ночь выкрались мы из местечка в поле, оврагом выкрались в лес. Мака шла впереди, а я сзади метлу несла, метлой следы заметала по снегу. Зашли глубоко в чащу, ветер затих. Тишина. Пришли на полянку, Мака посадила меня в кустах.

— Сиди, придут за тобой.

Ушла Мака, и я осталась одна. Сижу в сугробе и жду. В валенках и трех платках. А надо мною беззвездное небо, ни звука, ни луча. День прошел, и сутки, и вторые сутки. Никто не пришел. И я начала застывать. Днем дятел долбил в чаще, а ночью кричал филин. И у меня не было сил подняться. Я всё больше спала. Проснусь и думаю: «Мака меня бросила. Здесь я и кончусь. Вот засну и не проснусь больше».

Вечером на третий день слышу: кто-то идет. Темно, не вижу. И голос Маки:

— Эй ты, не замерзла еще? Давай, давай живее!

Подала она мне бутылку горячего молока, подняла на ноги, а я шатаюсь, еле ноги переставляю. А дорога немалая. Идем, спотыкаемся, садимся, опять идем. Так часа два. Пришли на поляну, а там шалаш. Лошадь привязана. И мужик в тулупе и башлыке. С автоматом. Партизан.

— Стой! Кто такие?

— Женщины, товарищ, — говорит Мака, — свои.

Мужик ближе подошел. Лицо совсем молодое, брови в белом инее.

— Проводи ее в штаб, товарищ. Это еврейка, одна из всего гетто спаслась.

Мужик посмотрел на меня сбоку... и не отозвался. Он молчал, и я почувствовала в этом молчании досаду, раздражение, враждебность. Я начала срывающимся голосом объяснять ему:

— Возьмите меня... я вам пригожусь...

А он, со злобой:

— Да что у нас, лазарет? На что ты нам пригодишься?

И к Маке:

— Забирай ее обратно, откуда привела! И живо, чтоб духу вашего не было, вашу мать... два раза не буду повторять...

И поднял автомат. Я хотела лечь в снег. Пусть стреляет. На что мне жить и других мучить? Мака ему ни слова не сказала. Только посмотрела ему в лицо. Взглянула на меня.

— Идем домой, Галя.

Светало, когда мы проскользнули под забором на двор и вошли в теплую кухню. Смешно вспомнить. Съела я кусок сала с краюхой хлеба и легла в свою корзину, сытая, довольная. Да это был д о м: моя корзина, моя подруга Мака. После трех ночей в лесу я была счастлива, что снова лежу в корзине. Мягкая подстилка. Ничего больше не надо было: только спать, спать... Когда вечером Мака вернулась с работы, я совсем пришла в себя. Мака с толстым задом, четырехугольная как комод, а я при ней как кошка.

— Тебя, Галя, с крыши бросить, всё равно, на лапы станешь.

Местечко обезлюдело. Тишина на пустых улицах, полиции было мало, и гестапо не показывалось. Это не Варшава, где охотились за людьми, там каждому в лицо смотрели, за каждой квартирой следили добровольные сыщики. А тут и народу меньше, и люди проще. Весь 43-й год я лежала схоронившись от света, за запертой дверью, в большой бельевой корзине, и никто не знал, что Мака кого-то прячет.

А Мака еще и дружбу завела с немцем. Был один такой солидный и спокойный немец, «цивильбеамте» в местечке. Дело женское. Мака не монашка. Перед его приходом мы выносили корзину в чулан, что при сенях. Чулан был холодный. Мака накрывала меня шубой, я запиралась на ключ и пережидала немца. Он уходил до рассвета. Я слышала, как он снимал засов на двери в сенях, и я же за ним закладывала этот засов. Потом я бежала к Маке в теплую настоящую постель. Я обнимала ее и душила, как любовник... Но она даже глаз со сна не открывала. Она продолжала спать спокойным, крепким и здоровым, настоящим арийским сном.

Испугались мы только один раз, когда пришла в Столин из деревни старая крестьянка Даша, которую мы обе хорошо знали. Даша принесла на продажу яиц и масла. Я лежала в корзине и слушала, как она разговаривает с Макой. Потом Мака вышла, а она осталась. Даша была преданный, свой человек, которому можно было вполне доверять. Но кто знает, как ведут себя честные и порядочные люди, когда их оставляют одних в пустой квартире?

Старая крестьянка посидела, повздыхала. Потом подошла к зеркалу и долго стояла перед ним; открыла флакон одеколона, понюхала; потом я услышала, как она выдвигает ящики комода, открывает шкаф... Потом она вошла в кухню и посмотрела, что в горшках... Оттуда она перешла в маленькую комнатку, первую от сеней, где я лежала и подошла к корзине... Я замерла. Старуха долго стояла над корзиной, как будто заснула над ней. Мне уже начало казаться, что ее нет в комнате, как вдруг она очень медленно и осторожно подняла крышку и заглянула.

Я лежала, подняв колени, на спине, и не мигая прямо смотрела в наклонившееся морщинистое лицо. Мы не виделись года полтора. Лицо у меня было зеленое, глаза широко раскрыты, как у вурдалака. Даша постояла секунду, ничего не сказала и мягко осела на пол. Обморок. Я вылезла из корзины, перешагнула через нее и побежала в сени запереть наружную дверь.

Через четверть часа, когда вернулась Мака, мы заставили

Дашу поклясться над образом, что она будет молчать, как могила. Теперь в ее руках были наши две жизни. Мы ее настращали как могли. Даша была свой человек. Даша верила в Бога. Даша знала, что немцы войну проиграли. К этому времени их уже оттеснили за Днепр. И всё-таки мы не могли преодолеть беспокойства от мысли, что кто-то третий знал нашу тайну.

Под конец я так привыкла к своему заключению в корзине, что завела себе собачку. Чтобы не скучать целыми днями в одиночестве в запертой квартире. В это время русские были километрах в ста от Столина. Маленький, белый, ласковый щенок бегал по квартире. Мака называла его «Малый», а я «Тютик». Он очень ко мне привязался, привык к тому, что мое место в корзине, но не понимал, что это секрет для чужих. Днем он прыгал вокруг корзины, визжал и вилял хвостом. С Тютиком было мне приятно, но опасно. Если бы война затянулась, пришлось бы его из квартиры удалить. Но уже приближался 1944-й год.

В начале этого года кончилась немецкая власть в Столине. Немцы отползали медленно, как зверь с переломанным хребтом, и задолго до своего ухода они притихли, присмирели и перестали внушать страх. Разъехались главные хозяева. Исчезла немецкая жандармерия. Начали подготовлять население местечка к эвакуации. Тогда и Мака стала готовиться в дорогу: ей, польке, незачем было оставаться с большевиками. Ее дорога была в Польшу, на запад.

И вот опять пришла роковая ночь, со стрельбой пулеметов, с артиллерийской канонадой, с движением обозов и необычным шумом во всегда тихом местечке. Мы с Макой были уверены, что в город вошли партизаны или части Красной Армии. Рано утром Мака вышла разведать, что случилось за ночь. И вдруг я услышала русскую речь под окном. Меня обожгло: нет сомнения, Столин занят советскими войсками. Я осторожно выглянула в окно: солдаты стояли под дверью. Начали ломиться, стучать прикладами в дверь:

— Отворяй!

Я не думала ни одного мгновения, сняла засов и впустила солдат:

— Входите, товарищи!

Серые шинели, папахи, русские лица. Как я давно не видела людей!

— Ты чего заперлась?

— Я боялась. Я одна в квартире!

— От немцев, небось, не запиралась?

— Да что вы, товарищи! Мы вас три года ждали! Вы наши освободители!

Один из них, чернобородый, высокий, подошел ко мне вплотную:

— Да ты за кого нас принимаешь?

Я молчу.

— Кто мы такие, отвечай!

— Известно кто: вы русские... русские солдаты.

И я оробела вся. Ноги трясутся. Ничего не понимаю. Холод прошел по сердцу.

— Мы не те, кого ты ждешь. Мы антисоветские.

— А я и не знаю, что это за антисоветские. Первый раз слышу. Объясните, пожалуйста, я не слыхала про таких... — и я вся дрожу.

— Мы за Россию. Мы против колхозов и жидов.

Потемнело в глазах. Ничего не понимаю. Подходят другие: «Чего она плетет»?

Но тот чернобородый — их командир — плечом отстранил меня:

— Завралась бабенка со страху. Иди-иди, собери нам поесть.

Я вышла на кухню, и Тютик за мной. Стою над горшками, и слезы сами льются.

Страшный мир! Он не знает пощады. Вот и русские пришли, и они тоже «против жидов и колхозов». Некуда деваться.

Командир вошел за мной.

— Чего ревешь, дура? Если бы ты одна здесь красных ждала, мы бы тебя прикончили. Да вот беда: здесь в каждом доме одно и то же слышишь. Всех не перестреляешь.

И тут понесло меня как с горы.

— Убейте меня! Я жить не хочу! Я вам всего о себе не сказала!

— А, вот ты какая! А ну-ка, выкладывай, всё как есть!

И я как рванусь:

— Я — еврейка!

Он зажал мне рот рукой:

— Не кричи! — и оглянулся.

Прикрыл дверь из кухни, вернулся ко мне, подвинул табурет:

— Не волнуйся, садись, рассказывай, как уцелела. И не бойся меня.

И принялась я ему рассказывать всю историю, с самого начала: как Мака меня спасла и как я в корзине полтора года прячусь.

Рассказываю и реву. Платка не было. Лежала стирка на столе. Я одним концом утираю слезы, а он другим.

Плачет командир, как малое дитя.

— Если она тебя спасла, значит ты этого стоишь. Если до сих пор не погибла, значит тебе судьба жить. И мы тебя не тронем.

Снял он с шеи крест и протянул мне.

— Я простой человек, верь, я тоже хочу жить, хочу вернуться к жене и детям. Ты думаешь, весело нам с немцами против своих идти? Судьба нами играет, а всё, чего мы хотим, это мира, — мира для всех, на своей земле, без насильников. Возьми этот крест, мне его жена дала, он меня уберег и тебя убережет от гибели. А мне дай что хочешь, — на память.

И нечего было дать ему. Я взяла колечко Маки, — простое колечко с голубым камнем, — и отдала ему. Оно ему и на мизинец не годилось.

Тут Мака ворвалась на кухню с великим криком:

— Кто позволил? Кто вам позволил сюда вломиться, хозяйничать?

Увидела меня с командиром и обомлела: язык у ней отнялся.

А он подошел к Маке, обнял за плечи:

— Я всё знаю, ты богатырь-баба! Таких мало на свете. А только смотри, пусть Галя вперед язык на привязи держит: чуть-чуть беда не случилась. А ждать вам недолго: советские войска под Высоцком.

Несколько дней позже Мака уехала из Столина. Местечко опустело. Одни дряхлые старухи остались. Кто не хотел эвакуироваться — попрятался. Ходили по домам проверять, кто остался. Запираться нельзя было, дверь нашего дома стояла настежь. Всё что можно было Мака вывезла, а мне оставила запас еды, и место прятаться устроили в дымоходе. Положили кладку между кирпичей в трубе, и я залезала в печку, подтягивалась и сидела в трубе, как курица на нашесте. Сидела я так всю неделю... Кругом было пусто и жутко, — ни души, как в ничьей зоне между двух армий, где только мародеры и патрули бродят. Тютик вихрем носился по опустелому двору, не понимая, куда пропали все люди.

На развалинах трех царств, над гробами, над улицами, где валялась домашняя рухлядь, над брошенными домами, над хаосом разорения, над одичалой страной, — и она как пес бездомный ждала нового хозяина, готовая на пинок и на ласку, — я сидела высоко, угнездившись в трубе, и если б кто-нибудь подсмотрел меня, — он мог бы принять меня за ведьму, готовую взмыть на помеле в ночное небо.

Но я была всего только Галя, — маленькая и худенькая девушка легче перышка, которая отлично помещалась в корзине размером в один метр на шестьдесят. На седьмой день я услышала лай Тютика, и кто-то звал его: «Малый, Малый»! Так звала его только Мака. И действительно, она стояла на кухне у печи и кричала в дымоход:

— Не подохла еще? Спускайся скорее!

И я вылезла, черная как трубочист, с копной дыбом стоящих волос, и с носом в саже. Я вылезла не сразу. Сперва свесились мои ноги и болтались в воздухе, ища опоры, пока Мака не схватила их и не потянула вниз. Тогда я обрушилась в облаке копоти и гари, в клубах черной сажи и едкой угольной пыли, как настоящая ведьма, и уселась на печке, чихая и глядя на Маку: она хохотала.

Г А Л Я

Боже, как она хохотала! Она держалась за бока, вся красная, и слезы текли у нее по щекам. Она расставила толстые ноги, открыла рот и скорчилась в припадке неудержимого, сумасшедшего смеха. Всю утробу у нее вывернуло, щелочки глаз пропали, и она гоготала так, как будто ничего в мире не случилось, и мы снова были маленькими детьми, как в те годы, когда чтобы прыснуть со смеху, довольно было посмотреть друг другу в глаза.

Тогда, глядя на нее, я тоже начала смеяться.

Ю. Марголин

ОСТОВКИ

Колокольные звоны не плакали.
Только дождь отшумел над бараками
О бездомных, как листья развеянных,
Об умерших, по свету рассеянных.
Только вечером девушки быстрые
Пробежали дорогой кремнистою.

В храме чуждом молились, старинном:
— Заступись, Пресвятая, пред Сыном,
Свиток мук человеческих длинный
Разверни перед Богом Единым.

Заступись за измученных всех
Над собою, в отчаяньи, грех
Совершивших, несчастных людей...

Надвигали платки до бровей,
Чтоб чужие не видели слёз.
И веночек бумажный из роз
Положили на рыхлую землю.

А. Васильковская

ДНЕВНИК

(март-май 1953)

1

Насладись, пока не поздно,
Ведь искать недалеко,
Тем, что в мире грациозно,
Беззаботно и легко.

Больше нечему учиться,
Прозевал и был таков: —
Пара медных пятаков,
«Без речей и без венков»
(Иль с речами — как случится).

2

Чем дольше живу я тем менее
Мне ясно, чего я хочу?
Купил бы, пожалуй, имение.
Да чем за него заплачу?

Порою мечтаю прославиться
И тут-же над этим смеюсь,
Не прочь и «подальше» отправиться,
А всё-же боюсь. Сознаюсь.

3

Цветущих яблонь тень сквозная,
Косого солнца бледный свет
И снова — ничего не зная —
Как в пять или в пятнадцать лет, —

Замученное сердце радо
Тому, что я домой бреду,
Тому, что нежная прохлада
Разлита в яблочном саду.

4

Звезды меркли в бледнеющем небе,
Всё слабей отражаясь в воде.
Облака проплывали, как лебеди
С розовеющей далью редея...

Лебедями проплыли сомнения
И тревога в сияньи померкла,
Без следа растворившись в душе,

И глядела душа хорошея,
Как влюбленная женщина в зеркало,
В торжество, неизвестное мне.

5

Всё туман. Бреду в тумане я
Скуки и непонимания.
И — с ученым или с неучем —
Толковать мне, в общем, не о чём.

Я бы зажил, зажил заново
Не Георгием Ивановым,
А слегка очеловеченным,
Энергичным, щеткой вымытым,
Вовсе роком не отмеченным
Первым встречным-поперечным,
Всё равно какое имя там...

6

Не станет ни Европы, ни Америки,
Ни Царскосельских парков, ни Москвы —
Припадок атомической истерики
Всё распылит в сияньи синевы.

Потом над миром ласково протянется
Прозрачный, всепрощающий дымок...
И тот, кто мог помочь и не помог,
В предвечном одиночестве останется.

7

Что мне нравится — того я не имею,
Что хотел бы делать — делать не умею.

Мне мое лицо, походка, даже сны
Головокружительно скучны.

Как же так? Позволь... Да что с тобой такое?
Ах, любезный друг, оставь меня в покое.

8

Тускнеющий вечерний час,
Река и частокол в тумане...
Что связывает нас? Всех нас?
Взаимное непониманье?

Все наши беды и дела,
Жизнь всех людей без исключенья?
Века, века она текла
И вот я принесен теченьем —

В парижский пригород, сюда,
Где мальчик огород копает,
Гудят чуть слышно провода
И робко первая звезда
Сквозь светлый сумрак проступает.

9

Полу-жалость. Полу-отвращенье.
Полу-память. Полу-ощущенье.
Полу-неизвестно что.
Полы моего пальто...

Полы моего пальто?
Так вот в чем дело!
Чуть меня машина не задела
И умчалась вдаль забрызгав грязью.
Начал вытирать, запачкал руки...

Всё еще мне не привыкнуть к скуке,
Скуке мирового безобразья!

10

Стоят сады в сияньи бело-снежном
И ветер шелестит дыханьем влажным.

Поговорим с тобой о самом важном,
О самом страшном и о самом нежном,
Поговорим с тобой о неизбежном...

Ты прожил жизнь, ее не замечая,
Бессмысленно мечтая и скучая —
Вот, наконец, кончается и это...
Я слушаю его, не отвечая,
Да он, конечно, и не ждет ответа.

11

Здесь в лесах даже розы цветут,
Даже пальмы растут — вот умора!
Но как странно — во Франции, тут,
Я нигде не встречал мухомора.

Может быть, просто климат не тот —
Мало сосен, березок, болотца...
Ну, а, может быть, он не растет,
Потому что ему не растется

С той поры, с той далекой поры —
...Чахлый ельник, Балтийское море,
Тишина, пустота, комары,
Чья-то кровь на кривом мухоморе...

12

Я твердо решился и тут же забыл
На что я так твердо решился.
День влажно-сиренево-солнечный был
И этим вопрос разрешился.

Так часто бывает — куда-то спешу
И в трепете света и тени
Сначала раскаюсь, потом согрешу
И строчка за строчкой навек запишу
Душистую влажность сирени.

Георгий Иванов

МАКСИМИЛИАНУ ВОЛОШИНУ

Над вороным утёсом
Белой зари рукав.
Ногу — уже с заносом
Бега — с трудом вкопав

В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце —
Макс! мне было так *верно*
Ждать на твоем крыльце!

Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз,
С всхолмья да на восхолмье
С глыбы да на утес —

По трехсаженным креслам:
Бароном иных эпох —
Макс! мне было так лестно
Лезть за тобою — Бог

Знает куда! Да, виды
Видящим — путь скалист
С глыбы на пирамиду,
С рыбы на обелиск...

Ну, а потом, на плоской
Вышке — орлы вокруг —
Макс! Мне было так просто
Есть у тебя из рук...

(Горы... Себе на горе
Видится мне одно

Это стихотворение М. Цветаевой прислано нам Е. Н. Федотовой из архива Г. П. Федотова. — *Ред.*

Место: с него *два* моря
Были видны по дно

Бездны... два моря сразу!
Дщери иной поры,
Кто вам своих два глаза
Преподнесет с горы?)

Только теперь, в подпольи
Вижу, когда потух
Свет — до чего мне вольно
Было в охвате двух

Рук твоих... В первых встречных
Царстве — о, сам суди,
Макс, до чего мне вечно
Было в твоей груди!

Пусть ни единой травки,
Площе чем на столе —
Макс! мне будет — так мягко
Спать на твоей скале

28 октября 1932 г. *Марина Цветаева*

АВГУСТ

Солнечный август сел на скамью.
И стало кругом ярко.
Солнечный август готовил подарки,
Не знал, что его скоро убьют.

Красил зеленые тонкие листья.
О, как деревья горят!
Ночь подошла. Раздался выстрел.
Наступило первое сентября.

***

Жалобно на улице застонала машина.
Мы прислушались. На улицу поспешили.
Может быть, лопнуло сердце и шины
У незнакомой машины?

Мы за ступеньками вниз сбежали,
Но оказалась спешка напрасной.
Пустая улица. Одиноко дрожала
Лужица крови красной.

Спокойной ночи!
Диван и кресла устали.
Спокойной ночи!
И стены бледны.
Ухожу в веселые, печальные
В самые разноцветные сны.
До свиданья! А стены остались
В темной и тихой спальне.

***

Дождик траву помыл,
Ветер ее причесал.
Жук гамак привязал
К торчащим ее волосам.

Хуже, чем дети мы.
Встретились раза два;
Но вырастали слова,
Как после дождя — трава.

ТУМАН

Холодно сегодня домам.
Они закутались
В мягкий, серый туман.
Простуженную реку
Тоже накрыли ватным,
Мягким, туманным одеялом,
Которого не порвать
И не помять.
— Мне бы такое платье!

Ираида Легкая

РАЗМОЛВКА

Да, я сказал тебе открыто,
Что мне любовь твоя нужна.
Ты опрокинула корыто —
Подруга, пленница, жена.

Стою. Сгораю. Счёт мгновений
Ведут часы. Фортуна зла.
Ты от моих поползновений
Под шкаф тихонько поползла.

Там пыль, там остро пахнет мышью.
Стою потерян и забыт,
А из под шкафа веет тишью
И туфля нищая торчит.

Глеб Глинка

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Как до войны, в тот первый год счастливый,
Когда всё было нипочём,
По лестнице, походкой торопливой,
Поднялась ты. Своим ключём

Открыла дверь. И я не удивился.
Я всё забыл. Я был как пьян.
И так же дым от папиросы вился
И цвёл под окнами каштан.

Но вдруг виски мои похолодели:
Как мог забыть я? Где я был?
О, милый друг, ведь нынче — две недели,
Как я тебя похоронил!

Но ты — как будто не было разлуки,
Ни этих дней, что я влачу, —
Идешь ко мне, протягиваешь руки.
Нет, нет... Не надо... Не хочу.

СОН

Заснул я и снится мне
Томительный сон во сне:
Холодная ночь. Неверный
Как будто отравленный свет.
Я в низкой пещере... или, нет,
В таверне, но вид пещерный
(Пещерный он оттого,
Что сон мой под Рождество).
Над ложем старик склоненный
Безмолвен, смиренно-суров.
Рассвет! Ни звезды, ни волхвов.
Младенец мертворожденный.

Владимир Злобин

О РЕЛИГИОЗНОМ КОРНЕ РУССКОГО ИСКУССТВА

АРХИТЕКТУРА

С точки зрения эстетики допустимо представлять себе искусство как вполне автономную область с одной ей присущими ценностями, целями и средствами достижения этих целей. Но было бы грубой ошибкой смешивать эту отвлеченную точку зрения с самой реальностью и строить историю искусства на такой чисто эстетической основе. Для историка, как и для самого художника, искусство не есть совокупность эстетических объектов, или рецептов для их изготовления. Он знает, что искусство никогда не жило и жить не могло той от всех прочих человеческих интересов отрешенной жизнью, какой например способно существовать строго специализированное научное знание. Он конечно не забывает, что в искусстве есть несводимые ни на что иное и ничем незаменимые творческие побуждения, но он помнит, что наиболее успешно проявляются они не тогда, когда они изолированы и предоставлены самим себе, как этого искусство добилось ныне на свое горе, а когда они теснейшим образом связаны с другими, вплетены в самую плотную ткань человеческого бытия и согреты самым тайным, глубоким, самым трепетно-живым, что есть в душе человека.

Корни всех стилей, всех крупных художественных единств и всего художественного творчества вообще двойственны. Они религиозны, т. е. вытекают из мироощущения уже оформленного религиозно, и они стихийны, т. е. непосредственно вызваны мироощущением еще никак не осознанным, еще не оформленным ничем. Своеобразие орнамента, архитектуры или изобразительных приемов, поскольку никакими предметными представлениями оно не вызвано, порождается таким же первобытным, нерассуждающим инстинктом, как тот, что определяет индивидуальные или национальные оттенки религиозных верований. И не только о сходном инстинкте можно здесь говорить, но и об одном и том же, приводящем к явлениям параллельным, в самом своеобразии своем родственным, и всё же одно на

другое несводимым. Так, различие орнаментальных форм, у греков с одной стороны, у германцев, кельтов, славян с другой, параллельно различию форм религиозных, но ни у тех, ни у других, ни орнамент не выводим из мифотворчества, ни мифотворчество из орнамента. К особому, крайне различному в этих двух случаях, устройству воображения восходят оба, и с этим различием воображений мы встречаемся вновь и вновь, когда сравниваем Эдду с Илиадой или Парфенон с реймским собором; однако из одного этого корня ни Эдды, ни Илиады, ни Парфенона, ни реймского собора вывести нельзя. Религиозные предрасположения — одно, развитые религиозные системы — совсем другое. И точно также, для возникновения сложных и цельных художественных систем недостаточно так или иначе направленного чувства или вкуса, одной художественной воли (пользуясь знаменитым термином Ригля). Для этого необходимо еще высокое задание, способное разжечь небывалым огнем творческие силы, открыть глаза полуслепым художественным инстинктам и помешать их разброду, собрать их воедино, сосредоточить их на самом себе. Задание это может быть либо назначением (в архитектуре и орнаменте) либо предметом, темой, «содержанием» (в изобразительном искусстве): функция его — всегда одна и та же, и заключается она не только в отборе, развитии и взаимном приспособлении форм, но и в самом призывании их к жизни, как бы вызове их из их материнского лона, из стихийно-бессознательного их источника. Еще и на вершинах индивидуального художественного творчества оба его корня остаются явственно различными. Письму Рембрандта свойствен особый ритм, порождаемый ритмом всего его душевно-телесного бытия, который мы чувствуем в его крючковато изогнутом, закругленно ласкающем мазке и который так непохож на ритм столь же неотъемлемо врожденный современнику его, Хальсу, чей мазок резок и прям, точно он хлыстом ударяет по холсту. Но к чему применил бы Рембрандт этот свой врожденный ритм, чему послужил бы им, если бы не было у него религиозного опыта огромной глубины и силы? И Хальс, хоть религиозный опыт и был ему повидимому чужд, разве мог бы он заменить простой комбинацией мазков тот образ человека, что был ему дан портретною задачей? Так и в каждой художественной системе, каждом стиле, сочетается служение искусства сперва религиозным, а потом унаследованным от религии задачам с его стихийною природой, с изначальным стремлением и неосознанным предрасположеньем создающих его творческих людей.

Лишь поняв эту двойственность, мы поймем историю искусства христианских народов, во всем его многообразии, которого нельзя объяснить ни одной историей христианства, ни одной историей искусства. Те черты, которыми искусство всей средневековой Европы, всё равно западной или восточной, так отчетливо противополагается искусству классической древности, без сомнения ему внушены самым духом и смыслом христианства и восходят к тому религиозному перерождению поздней античности, из которого вышел весь средневековый мир. Но те особенности, что отличают византийское искусство от западного средневекового, или их обоих от итальянского (которое достигнет апогея значительно позже, чем они) объясняются лишь отчасти религиозными различиями, играющими, однако, и тут гораздо бóльшую роль, чем обычно думают, отчасти же различиями так сказать до-религиозными, параллельно сказывающимися как в религиозной, так и в художественной жизни. Что же касается дальнейших контрастирующих оттенков, национальных или областных, то в них непосредственные веления художественного чувства применяются к воздействию однажды сложившейся традиции — не той во Флоренции, что в Сиене, и не той в Новгороде, что во Владимире или Москве.

Все эти оттенки, однако, вплоть до самых индивидуальных, как и само разделение на три стилистических сферы, предполагают существование некоего общего фона, общей укорененности (даже и Италии Возрождения) в том средневековом искусстве, которое пришло на смену языческому, античному и в котором, пока оно окончательно не распалось, все основные задания были религиозными, христианскими, церковными заданиями. Общность их во всех трех стилистически различных мирах, и во всех подразделениях этих миров, только и делает плодотворным изучение разности в дальнейших их истолкованиях и трактовках. Своеобразие Новгорода получает смысл лишь внутри взятой в целом древней Руси, древняя Русь обретает лицо лишь внутри восточного христианства, а восточное христианство можно характеризовать лишь в соотношении с христианским Западом. Такова судьба историка: он имеет дело с индивидуальными единствами входящими одно в другое, как деревянные яйца, которыми дети играют на Пасхе, или по крайней мере взаимнозависимыми, соприкасающимися, пересекающими одно другое, и не теряющими при этом своей индивидуальности. Вне восточно-христианского мира, вне византийского воспитания, древне-русского искусства понять нельзя.

Крещение Руси — самое важное событие в его истории. Однако и тут надо отличать задание от его трактовки и помнить о различии двух корней художественного творчества. То, что русское искусство стало христианским, глубже и прочней определило его судьбу, чем та система форм, которую оно унаследовало от Византии и приспособило к своим нуждам, внеся в него целый ряд иногда весьма далеко идущих перемен.

***

Византийское искусство проникло к нам в совершенно законченном, зрелом и в этом смысле классическом своем облике. Зрелость эту обрело оно тогда, когда нашло полную меру своего отличия, как от античного искусства, которому оно противополагалось своим христианским существом, так и от западнохристианского, от которого оно разнилось греческим своим наследием. Многие черты этого зрелого византийского стиля были уже налицо в искусстве восточной империи, и особенно Константинополя, VI и VII веков, некоторые проявились еще гораздо раньше и были характерны для поздне-античного искусства вообще, но они оставались смешанными с другими, далеко не сразу отброшенными складывающимся новым стилем, и только к X или XI веку процесс этого отбрасывания можно считать законченным. Отныне стиль этот получил неоспоримое право называться византийским. Диапазон его стал уже, амплитуда его колебаний уменьшилась (если не причислять к ним его провинциальных отклонений), но только теперь он достиг всей своей строгости и чистоты. После константинопольской св. Софии не было построено ни одного храма, который мог бы сравняться с ней своим величием, но и в самом величии этом были черты принадлежавшие закату древнего мира скорей чем восходу нового. Главная из них — тот своеобразный архитектурный иллюзионизм, который хоть и не делает стен структурно ненужными (как в готике), но как бы отрицает их реальность, отодвигает их в полумрак, покрывает скрадывающей их массивность облицовкой, предпочитает выгнутую поверхность прямой, создает пространство лишенное ясно очерченных границ, так что вся внутренность храма, благодаря нему, одна мерцающая необъятность. После-иконоборческая византийская архитектура этого впечатления больше не ищет и отказывается также от того безусловного преобладания внутреннего архитектурного оформления над внешним, которое было характерно, как для константиновских базилик,

так и для купольных или базиликально-купольных построек юстиниановского времени. Внутренний облик продолжает первенствовать, но стены, особенно если они из кирпича, покрываются снаружи плоским, сплошным, как-бы слегка затушевывающим их узором; более подчеркнутые абсидные выступы, более высокие тамбуры куполов дают храму отчетливый внешний силуэт, подготовляющий нас к тому основному членению, которое нас встретит, когда мы в него войдем, и которое идет не по плану, а сверху вниз, противополагая дольнюю, земную область, где мы стоим, высоким поясам стен, сводам и куполам, откуда на нас глядит целый сонм священных образов. На их преображающее присутствие рассчитана вся архитектурная форма храма. Купол Св. Софии, созерцаемый изнутри, изображал небо, был небом, превращал весь храм в сошедшее на землю небо, но теперь куполу больше незачем неба изображать: он становится небом уже потому, что в нем явлен образ Вседержителя. Храм выражает теперь свою сущность не непосредственно-наглядным языком своей архитектуры, а тем что через изображения, начертанные в нем, он являет собою умопостигаемую Церковь, как иерархически построенную систему священных истин и священных лиц. Внутри наиболее характерного для этой эпохи крестово-купольного храма центральный купол по прежнему надо всем главенствует, но не всё собой объемлет, он только парит над крестообразным сводом, включающим иногда второстепенные купола, дабы отвечать величию вписанной в него, самой священной из всех, иконы. В отличие от до-иконоборческого искусства, религиозное задание воплощается теперь прежде всего в изображении, и через изображение подчиняет себе всё неизобразительное, всю непосредственно формальную сторону художественного творчества. Эта, недостаточно еще отмеченная, перемена имела не малое значение для искусства зависимых от Византии стран.

Религиозное задание, выполняемое архитектурой, не поддается столь тесно-ограничительной формулировке, как иконографически фиксированная религиозная тема, и потому архитектурная традиция, в пределах христианского искусства, оказывается гораздо более гибкой, чем традиция иконная (даже если придавать слову икона наиболее широкий его смысл). У всех христианских народов, усвоивших византийское наследие, форма храма менялась гораздо решительней и быстрей, чем форма иконы; в архитектуре и орнаментике (способной служить религиозному заданию лишь косвенно, путем внешнего подчинения ему) местные потребности и вкусы сказались гораздо

свободней, чем в изобразительном искусстве. Но эта свобода еще в значительной мере увеличилась, благодаря тому, что в самом византийском искусстве архитектура, как таковая, подчинилась изображению, отступила на второй план, утратила формальную насыщенность и заостренность. Зодчие древней Руси (а также других православных стран) сделали из этого некий, бессознательный, разумеется, вывод, который в упрощенном виде можно формулировать так: внутри храма важны иконы, архитектура не важна, и поэтому нам позволено главное внимание уделить внешнему его облику. Вывод этот свидетельствует, конечно, о непонимании того тонко-уравновешенного соответствия между внутренней и наружной формой, которого достиг византийский крестово-купольный храм; но именно непонимание это и сделало возможным самостоятельное развитие балканской и русской архитектуры. Сделало возможным: этим мы совсем не хотим сказать, что оно его положительно определило. Определено оно было особым художественным чувством, на византийское совершенно непохожим. Инстинктивная, стихийная сторона искусства тут-то именно и вступила в свои права.

Из этого второго корня и выросло своеобразие древнерусской архитектуры, хотя религиозное назначение ее конечно не было этим отменено и хотя формы ее менялись в постоянной связи с тем, что и самое это назначение переживалось по иному. Так, о внутреннем оформлении храма чисто архитектурными средствами она заботится мало, это основная ее черта, и английский историк ее Buxton совершенно правильно говорит о ней: «Architectural effect was aimed at only outside». Но это не объясняется ни простым бессилием, ни небрежностью, ни одним лишь особо направленным художественным инстинктом, и если самая возможность этого проистекает из иконного характера классической византийской архитектуры, то дальнейшая приверженность к такому именно истолкованию строительной задачи связана уже с особыми чертами русского благочестия. Внутреннее пространство церкви может молящемуся ничего не говорить, потому что ему достаточно той беседы, которую с ним ведут изображения, сперва начертанные на стенах и сводах, по византийскому образцу, а потом сосредоточенные на высокой предалтарной стене иконостаса. В ранней фазе развития, представленной в Новгороде, начиная с XII века, изображения эти выходят за пределы, указуемые им византийской традицией, застилают стены, отовсюду притягивают к себе взгляд и (например в Нередице) делают как бы несуществу-

ющим, совершенно безразличным то неподвижное, небольшое, никуда не направленное, чаще всего кубическое пространство, которое остается пустым посреди них. Позже, пространственная нейтральность эта уступает место простейшему оформлению, достигаемому ничем иным, как самым присутствием иконостаса. Перед ним образуется то самое поперечное пространство, которое выдающийся современный исследователь древнерусской архитектуры Н. И. Брунов называет в своих немецких работах Breitraum, пространством в ширину, и ставит в связь с архитектурной формой некоторых гораздо более ранних месопотамских церквей, а также с особым оттенком молитвенного чувства. Первое из этих указаний вряд ли вполне приемлемо, зато второе чрезвычайно ценно. Прямой зависимости от передне-азиатских образцов не предполагает и Брунов, но аналогия с ними уже и потому не может считаться очень тесной, что русский Breitraum способен осуществляться при разнообразных (хоть и не любых) архитектурных планах, вследствие чего тяготение к нему вовсе и не вызвало принятия какого-нибудь одного строго-определенного плана, всего менее того, который некогда применялся в Месопотамии. Поперечное пространство, в русском его виде, не предполагает систематического оформления всей внутренности храма; для его возникновения достаточно двух условий: наличия свободного места перед иконостасом, идущего во всю его ширину и отсутствия всяких подчеркнуто продольных пропорций и членений. Таким образом получается нечто вроде трансепта, поглотившего продольные корабли и позволяющего молящимся предстоять поперечными рядами перед иконостасом. Молитвенное предстояние это и есть, как хорошо увидел Брунов, настоящая душа той пространственной структуры, которую он впервые описал, и которая, на русской почве, хоть и осталась навсегда недосказанной и в этом смысле примитивной, всё же оформила внутренность храма: без нее оформлен бы он был лишь во внешнем своем облике.

Пространственная форма ранне-христианской базилики внушала движение от входа к алтарю, завершаемое полукруглою апсидой. Всеобъемлющее пространство св. Софии замыкалось сверху, как бы опустившимся на него куполом, причем продольное движение не совсем упразднялось и все другие движения оставались мыслимыми, но невольно замедлялись по мере приближения к подкупольному центру, с тем, чтобы достигнув его, сойти на нет. Классическая византийская архитектура эту функцию неба с купола перенесла на весь кресто-

образный свод и из чисто архитектурной превратила ее в подчиненную изображению. Древне-русская архитектура роль и смысл свода постепенно усвоила иконостасу, еще усилив тем самым преобладание изображения над непосредственно-архитектурной выразительностью: вместо того, чтобы координировать мозаику или стенопись с трехмерно-пространственною формой, она построила внутри церкви двухмерную церковь из икон. В отношении места, занимаемого им в плане, иконостас отделяет царствие земное от небесного, пребывающего за царскими вратами; но возносясь высоко над ними, к пророческому, к праотеческому ярусу, он еще нагляднее являет себя небом, так что нужды нет поднимать глаза за его пределы, ища над ним купол или свод. Недаром купола в России скоро перестали как бы то ни было участвовать во впечатлении от внутренности храма, так что иногда их даже отделяли от нее плоским потолком. Само русское название их, глава, указывает уже, что смотрели на них преимущественно снаружи, даже когда извнутри еще и возможно было на них смотреть. Определительной чертой русского церковного здания так и остались навсегда его главы. Это они венчают облик русских городов и плывут вдалеке над раскидистым русским пейзажем. Уже в древней Руси мыслили о них, как об основном признаке понятия «храм». Об этом свидетельствуют многие наши иконы XV и XVI веков, на фоне которых высятся белые церковные стены со своими закомарами, ступенчатыми верхами и тремя или пятью главами, царящими надо всем. Но еще показательней в этом смысле новгородские рукописи предыдущего столетия, когда окончательно сложилась ставшая потом традиционной форма деревянного трехъярусного, а затем и четырех- и пятиярусного иконостаса. Образ церкви, который по византийскому примеру нередко украшает их титульные листы, дается в очень условном, насквозь проникнутом орнаментальным плетением виде, не оставляющем однако никаких сомнений относительно двух составных частей церковного целого: глав и царских врат. Ими сполна характеризуется церковь, как для того, кто проходит мимо, крестясь на ее увенчанные крестами главы, так и для того, кто молится в ней перед иконостасом, в центре которого отворятся в должную минуту ныне запертые небесные или райские врата.

Выбор этих двух составных частей, или вернее распад церковного целого на эти две составные части, лучше всего определяет момент отхода древне-русского церковного зодчества от византийской его основы, в той области, где рели-

гиозный смысл архитектуры неотделим от художественного ее замысла. Молитвенное предстояние перед образами есть форма религиозности существенно иная чем та, что основана на мистериальном переживании участия всех верующих в общем, уводящем от земли на небо, действе. Переживание это естественно стремилось выразиться в том объединении внутреннего пространства церкви, в том превращении его в небесное пространство, которые были сперва намечены в апсидном завершении базилики, потом осуществлены под небосводом юстиниановской Св. Софии и, наконец, закреплены, менее наглядно с архитектурной точки зрения, но зато при помощи внятно повествующих изображений, в крестово-купольном византийском храме. Молитвенному предстоянию, напротив, такая пространственная форма не нужна. Оно ни в чем не нуждается, кроме иконостаса, который оно как бы рождает собою и для себя, и рядом с которым меркнет, становится как религиозно, так и художественно нейтральной вся внутренняя церковная архитектура, в каких бы традиционных формах она ни была дана. Для верующих душ, взирающих на него, иконостас — небо, и вместе с тем то, что отделяет их от неба: он русская разновидность той предалтарной преграды, которая в разных формах и в разное время выросла во всем христианском мире, повсюду однако отличая христианство собственно средневековое от христианства первого тысячелетия. Преградой небо отделено от земли, и общая душа молящихся, обращенная к ней, не столько в небе живет, сколько взыскует неба. Устремленность эта не получила ясного художественного выражения в византийской архитектуре, слишком связанной традицией и подчинившейся изобразительному искусству; но в русской она выразилась, — не во внутренности храма, где как в Византии (хоть и по иному) царили священные образы, но во внешнем его складе, где и на Западе вертикализирующие тенденции сказались раньше, чем им удалось определить собой и целиком пересоздать всю внутреннюю систему столбов и сводов. Если перерождение купола в главу, совершившееся уже в XII-ом веке на русской почве, явно свидетельствует о переносе ударения с внутренней на внешнюю архитектуру храма, то первенство принадлежащее главам в этой внешней архитектуре неразрывно связано с их вознесенностью вверх, которую подчеркивает изменение их формы, из плоской в шлемовидную и в луковичную. Византийский купол не возносился, а опускался, и даже когда барабан его (в России характерно называвшийся шейкой) вырос в вышину, он всё еще никакой устремленности вверх не

выражал. Правда, и в России вертикализирующие стремления не привели к созданию такой всеобъемлюще-законченной системы форм, как в готической архитектуре Запада, но всё же они постоянно сказываются в древне-русском церковном зодчестве и очень подчеркнуто торжествуют в столпообразных церквах Коломенского, Дьякова и Москвы. Однако, стремления эти не вытекают из одних перемен в оттенках религиозного чувства; как и на Западе, они восходят к ни на что другое не сводимому художественному инстинкту и живут до тех пор, пока он не исчерпал всех возможностей, заключенных в нем, и не уступил наплыву других форм, восходящих к другой традиции, и в конечном счете к другому, столь же первозданному, столь же мощному художественному инстинкту. Готические века Европы закончились грандиозным (хотя всё же не абсолютным) торжеством итальянских, средиземноморских форм, а несколько позже древне-русская архитектура не столько стушевалась, сколько была отменена, дабы уступить место в той или иной мере итальянизированной западной архитектуре. Два процесса эти во многом несходны, но они имеют то общее, что отделяют эстетическую сторону от религиозной стороны искусства: оба они облегчаются растущим обмирщением художественного творчества. Русское храмостроительство после Петра только внешне отвечает религиозной своей задаче; внутренно его формы с нею ничем не связаны. Однако, уже и в предыдущие века связь эта была менее тесной, чем в Византии или, на первых порах, в Киевской Руси; менее тесной также, чем та, что продолжала существовать в изобразительном искусстве. Вот почему мы и не видим в новой русской архитектуре ничего сходного с тем отделением иконы от живописи, с тем выделением ее в особую область церковного ремесла, которое ретроспективно и косвенно, но очень ясно свидетельствует еще раз о сугубой церковности всего прежнего, унаследованного от Византии иконописного дела.

В. Вейдле

ИСТОРИЯ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА

«...подобно которой ни один император, ни король, ни какой другой государь никогда не обладали».

(Слова Вольфрама, создателя основных янтарных украшений).

Там, где прежде тянулись болота с чахлой растительностью, где были раскинуты бедные финские деревни, недалеко от строющейся на берегах Невы новой русской столицы Санкт-Питер-Бурх, в основанной летней царской резиденции в селе Сарском, позднее переименованном в Царское Село с необычайным размахом развернулось дворцовое строение с циркумференциями, замыкавшими традиционный Cour d'honneur. Причудливо воздушный, голубой с золотом дворец возносился на золоченых атлантах над молодыми фигурно-стриженными липками, баскетами, павильонами, мерцающими бело-мраморными статуями среди сквозистой зелени и прямолинейных дорожек во вкусе французских садов Версаля.

Граф Варфоломей Растрелли, обер-архитектор императрицы Елисаветы Петровны, был творцом этого незабываемого архитектурного памятника в стиле позднего барокко Людовика XIV. Каждая комната дворца являла необычайную роскошь. Но наибольшей диковинкой была одна из них. Это была янтарная комната. Ее стены, как мозаикой, были причудливо выложены пластинками из настоящего янтаря различных пород и окрасок, начиная от плотно-светло-желтого и кончая прозрачно-темно-кровавым. На этом фоне раскинулись из янтаря же резные гирлянды, изгибающиеся рамы для зеркал, увенчанные трофеями под ажурными коронами, миниатюрные маскароны тонкой работы, медальоны, в виде горельефов и интарсий, а на панелях отчетливо выделялись линией своих силуэтов вензеля под королевской короной. Янтарь придавал комнате причудливо-сказочный вид.

Этот царский покой во все времена привлекал к себе особое внимание. Глядя на него изумлялись и восхищались и при

монархии, и при советах, и сановные люди, и пролетарии. Почти два столетия, не изменяясь, простояло это чудо декоративного искусства пока не разразилась война 1941 года и немецкие оккупанты Царского Села не вошли в янтарную комнату. В 1942 году стены комнаты были освобождены немцами от янтаря. Его уложили в ящики и он был перенесен не на руках солдат, как в 1755 г. «с величайшей осторожностью» по изустному повелению императрицы Елисаветы из Петербурга в Царское Село, а отправлен на грузовике из Царского в Германию, в Кёнигсберг, на его родину, в виде одного из военных трофеев. Там он и хранился в бывшем королевском за́мке.

По одним сведениям, Кёнигсберг — родина этих янтарных украшений — стал их могилой. Говорят, будто, при одном из воздушных налетов на Кёнигсберг в за́мок попал снаряд и по несчастью в то именно помещение, где хранились ящики с ценными «штуками» и в пожаре погибло всё. По другим сведениям, будто, оккупировав Кёнигсберг, советские власти увезли назад все украшения янтарной комнаты, которая имеет свою примечательную историю.

Но прежде чем приступить к ее изложению, небезинтересно коснуться вопроса, насколько вообще предметы янтарного производства играли в прежние времена важную роль в закреплении наших дипломатических отношений с Пруссией.

С давних пор прусское побережье Балтийского моря славилось месторождением янтаря лучшего качества. В торговых центрах этого побережья — Данциге и Кёнигсберге — уже в 16-17 в. в. возникли специальные цехи янтарного производства. Мастера этих цехов выделывали из янтаря всевозможные вещи и украшения, причем, для получения бо́льшего эффекта, к темным кускам янтаря добавлялись светло-прозрачные. Их мастерство достигало такой художественности, что янтарные работы стали употребляться для королевских подарков, посылаемых в подкрепление дипломатических притязаний. Так в царствование Алексея Михайловича для закрепления дружеских сношений с бранденбургским курфюрстом Москва посылала в подарок меха и парчу, а Бранденбург отдаривал Москву конями и янтарем. В 1649 г. из Кёльна на Шпрее (будущий Берлин) командируется в Москву краненбургский судья Генрих Рейер с «приличной штукой» из янтаря, с шестью янтарными блюдами для сластей и другими красивыми янтарными «галантерейными» вещами. Позднее, в 1655 г., во время русско-польской войны от великого курфюста привозит московскому государю секретарь Лазарь Киттельман «хороший

предмет» из янтаря, ценою в 1000 талеров, чтобы склонить московского царя не вторгаться в прусские пограничные земли и просить его помощи против шведов. Из других посольств было примечательное по своим подношениям в конце 1673 г., когда для успешного закрепления просьбы по польско-шведским вопросам, через бранденбургского каммер-рата Иоахима Скультетуса было послано московскому царю много ценных янтарных подарков, среди которых были: большая янтарная люстра, отделанная серебром на 8 свечей, большая ваза с резными фигурами из белого янтаря с золотом, драгоценный, тонкой работы, большой янтарный ларец с множеством выдвижных ящичков и резных картин, два высоких подсвечника и десять маленьких резных панно.

Такие же посольства с подарками посылались в Москву при царе Федоре Алексеевиче и при правительнице Софье. 22 ноября 1689 года тайный секретарь Иоганн Рейер, прибыв в Москву от нового курфюрста Фридриха III-го с «очень ценными и пристойными» подарками, передал: большой янтарный ларец — правительнице Софье, люстру о 12 свечах царю Иоанну Алексеевичу и шахматную игру — царю Петру. Таким образом, уже с половины 17 века, бранденбургский двор при каждом удобном случае делает московским государям богатые подношения из янтаря.

В 1701 году курфюрсту бранденбургскому Фридриху III удается получить титул «короля Пруссии» под именем Фридриха I-го и Бранденбург превращается в государство. В связи с этим Фридрих поручает выдающемуся скульптору и архитектору конца XVII и начала XVIII века Андреасу Шлютеру переустройство замка в большой королевский дворец. Обершлоссбаудиректор Шлютер принимается за работу. Но маститый зодчий, проникнутый тяжеловесными формами немецкого барокко, был неинтересен и скучен королеве Софии Шарлотте.

Она предпочла ему шведа, Эозандера фон Гёте, проявившего себя восторженным поклонником нового направления во французской архитектуре. Он снискивает полное благоволение королевы, всецело пропитанной духом великого французского двора, получает звание придворного архитектора и становится личным архитектором королевы, в то время как, отстраненный от всех работ для королевы, Шлютер всецело посвящает себя осуществлению грандиозного проекта расширения и перестройки большого королевского дворца в Берлине. При внутренней отделке дворца Шлютеру пришла в голову мысль воспользоваться громадным запасом янтаря, хра-

нившемся в дворцовых кладовых, и сплошь отделать им одну из дворцовых комнат. Эту работу он поручает проживавшему в Копенгагене при дворе короля Фридриха IV кёнигсбергскому янтарному мастеру Готфриду Вольфраму. В апреле 1701 года, Вольфрам приезжает к месту работы с рекомендательным письмом «Его Королевскому Величеству в Пруссии» от датского короля. По прибытии в Пруссию, Вольфрам основывает в Берлине мастерскую и под наблюдением Шлютера начинает работать по его рисункам для янтарных панелей и рам, богато украшенных гирляндами, декоративными завитками, медальонами со сложными библейскими и мифологическими сюжетами, крохотными янтарными пластинками с аллегорическими и сентиментальными мотивами и пр. Среди декоративных янтарных украшений не забыты были и излюбленные Шлютером маскароны, примененные им с таким скульптурным мастерством на фасаде берлинского цейхгауза. Но Шлютер не успел закончить работ по отстройке дворца. Из-за интриги, в январе 1707 года он вынужден был уступить свое место гвардии полковнику Эозандеру.

Вместе с падением Шлютера, король отменил распоряжение об украшении янтарем одной из дворцовых комнат. Тогда Эозандер предложил устроить янтарную комнату в Шарлоттенбурге, загородном дворце королевы. Но едва злейший враг Шлютера был назначен на должность обершлоссбаудиректора, как между ним и Вольфрамом возникли недоразумения, достигшие такой остроты, что Эозандер отстранил Вольфрама от работы и с «Высочайшего соизволения» выписал из Данцига двух других янтарных мастеров — Эрнста Шахта и Готфрида Турау. Предчувствуя беду, Вольфрам запер свою мастерскую, в которой хранил одну уже совершенно законченную янтарную стену, и уехал в Дрезден, где при дворе Августа Сильного была специальная янтарная мастерская данцигского уроженца Крюгера.

В ответ на это «Вашего Королевского Величества полковник и баудиректор господин Эозандер», как говорит спустя четыре года, в 1711 г., в своей жалобе Вольфрам, «...движимый ненавистью на меня... приказал в мое отсутствие взломать двери моего дома при помощи двадцати вооруженных членов строительной роты, взять сделанную мною стену и отнести ее в Шарлоттенбург, вследствие чего стена была немало испорчена и, между прочим, разбито вставленное в нее большое зеркало... После этого Эозандер отстранил меня от работы, ложно говоря, что я не желаю ее закончить, и вызвал людей (Шахта и Турау), которые еще не доросли до такой

работы и, конечно, никогда не исполнят ее, согласно предначертаниям и интересам Вашего Королевского Величества. Этим он достиг того, что работа, которая давно была бы кончена, до настоящего времени, (т. е. в 1711 г.) еще не исполнена».

Всё это происходило в январе 1707 года. С этого момента начинается бесконечная тяжба между Эозандером и Вольфрамом, длившаяся 6 лет, разорившая и доведшая до тюрьмы последнего. Вольфрам совершенно не признавал художественного авторитета своего начальника, хотя Эозандеру во время их спора подчинялась уже новоучрежденная Академия Художеств. Жалуясь королю на все «бесчинства», которые проделывал с ним новый обершлоссбаудиректор, Вольфрам в пылу спора не останавливался даже перед обвинениями своего обидчика в присвоении себе авторства рисунков для янтарных декоративных украшений. Со своей стороны и Эозандер не оставался в долгу. В своем всеподданнейшем докладе он утверждал, что «янтарный мастер Вольфрам поднес Вашему Королевскому Величеству мемориал, исполненный неправды и злобы», и обвинил его, что, наоборот «он не следовал рисунку, который я, по повелению Вашего Королевского Величества, ему дал, а добавлял там много мелочей, которые только портили рисунки и увеличивали стоимость работы и оттягивали на долгое время ее окончание».

Почти семьдесят раз Вольфрам в споре своем с Эозандером обращался в разные инстанции и к королю. Назначались комиссии в лице камергера и капитана из Инстербурга барона фон Теттау и господина гофрата и тайного камергера фон Стоша. Эти члены комиссии брали с Вольфрама судебные пошлины «за свои труды» и неизменно докладывали королю, что не будучи компетентны в этом чисто художественном споре, принуждены вызывать экспертов, которыми оказывались те же Шахт и Турау, которые по предварительному отзыву Вольфрама «еще не доросли до такой работы». Вольфрам, дважды отсидев в тюрьме, все-же приезжал в Пруссию для пересмотра дела. 30 декабря 1712 года прусский министр фон Ильген на новую просьбу Вольфрама подтвердил, что за работу он полностью рассчитан, что в прошении ему отказывается, что «дело кончено и он имеет этим руководствоваться». Но и этот декрет прусского министра не остановил Вольфрама. Незадолго до смерти Фридриха I он возвращается в Берлин из Копенгагена и 13 января 1713 года подает королю новое прошение. Вряд ли этот «мемориал» дошел до короля, умершего 25 февраля 1713 года.

На этом тяжба, по документам, кончается. Новый молодой король, будучи анекдотически скуп, не разделял взглядов своего родителя на необходимость (в политических целях) крупных затрат на поддержание блеска двора. Тотчас по вступлении на престол он произвел громадные сокращения в расходах на художественные замыслы родителя, оставив за штатом почти всех архитекторов, живописцев и скульпторов. Эозандер в чине генерал-майора возвращается на шведскую службу. Мастера Шахт и Турау, не кончившие устройство «янтарного кабинета», были рассчитаны. А янтарные «панели для совершенной отделки кабинета» оказались сложенными в ящик в берлинском цейхгаузе при особой описи, из которой видно, что только некоторые части янтарных «панелей» были закончены, остальное же представляло отдельные куски разного резного янтаря. Слова Вольфрама, что без него никто не окончит янтарную комнату, оказались пророческими. В таком виде янтарь пролежал до второй половины ноября 1716 г., когда он перешел в собственность императора Петра I-го.

Петр добивался союза с Пруссией, но несмотря на все любезности, взаимно оказываемые государями, прусское правительство не решалось сблизиться с Россией, пока на престол молодого прусского королевства не вступил, весьма дружественно настроенный к царю Петру, король Фридрих Вильгельм I. Ко времени кончины Фридриха I, Петр находился в Германии и специально приезжал в Берлин поклониться выставленному в придворной церкви праху Фридриха I-го. Здесь он и встретился с новым королем. После этого свидания у гроба, в мае 1715 года, вопрос о союзе России и Пруссии был наконец решен в положительном смысле, и Петр обещал в августе 1717 года вместе со своей супругой, будущей императрицей Екатериной I, посетить Берлин. Однако, еще глубокой осенью 1716 года Петр, оказавшийся проездом в Голландию недалеко от Берлина, имел возможность вторично свидеться с королем в Гавельберге. При этой встрече возникшие было между союзными кабинетами недоразумения были к обоюдному удовольствию государей улажены. И здесь, по обычаю, необходим был обмен подарками, но, ввиду неожиданности свидания, оба государя оказались к этому неподготовленными. У прусского короля, с одной стороны, для подарка из традиционного янтаря в Берлине ничего не было готового, так как и прежде такие вещи изготовлялись в Данциге и Кёнигсберге по особому заказу, а с другой — Фридрих Вильгельм I был очень скуп, хотя в то же время любил, чтобы о его тратах и щедрости много говорили. Выйти из затруднения в Гавель-

берге королю помог пресловутый янтарный кабинет, лежавший втуне в берлинском цейхгаузе. История тяжбы Эозандера и Вольфрама была еще у всех свежа в памяти и в Берлине ходили слухи, что Вольфрам оценивал только свою работу в 30 тысяч талеров. Король знал о любви Петра к янтарю и к токарному и резному делу, «в котором он сам изрядно преуспевал». Лучшего и более эффектного подарка нельзя было придумать, да еще без всякого расхода. К тому же, восхищенный Петром, король к этому подарку добавил и другой, еще более обрадовавший Петра — нашумевшую на всю Европу своей роскошной отделкой «увеселительную» яхту «Либурнику». Она была выстроена для Фридриха I. Нынешний же король не имел, во-первых, ни малейшей склонности к морскому спорту, а, во-вторых, «Либурника» раздражала экономного короля, ибо требовала больших расходов по ее содержанию. И царь и король были чрезвычайно довольны, как результатом свидания, которое Петр прозвал «Гавельбергским концертом», так и подарками. Царь, впрочем, не остался в долгу. Прибыв на свидание неожиданно, он не имел с собой подарков. Отбывая, он пожаловал только кухне 36 дукатов и дворцовому коменданту один соболь без хвоста, обещая остальных придворных отблагодарить по возвращении из Голландии, говоря, что ему надо «крепко подумать, чем одарить прусское Величество». Впоследствии Петр послал королю в подарок белых лошадей и своего изделия из слоновой кости кубок.

Первоначально было предположено доставить янтарный кабинет Петру прямо в Петербург на «Либурнике». Корабельщик Филипп Енике получил приказание довести яхту до Гавельберга. Но тотчас же выяснилось, что полученный царем подарок дорого ему обойдется. Оказалось, что «Либурника» совершенно сгнила и когда ее передали царскому резиденту, корабельщики отказались на таком судне выйти в море. Лишь после очень дорогой починки в Гамбурге «Либурника» дошла до Копенгагена, откуда в 1719 году с громадными трудностями добралась до Петербурга, получив там новое название «Корона».

Когда выяснилось, что яхта не в состоянии выйти в море, Петр решил доставить янтарный кабинет сухим путем и написал об этом обергофмейстеру герцогини Курляндской Анны Иоанновны, Бестужеву: «Monsieur, когда прислан будет в Мемель из Берлина от графа Александра Головкина кабинет янтарной (который подарил нам Королевское Величество Прусской) и оный в Мемеле прийми и отправь немедленно чрез

Курляндию на курляндских подводах до Риги с бережением с тем же посланным, который вам сей наш указ объявит, и придайте ему до Риги в камвой одного ундер-офицера с несколькими драгунами; также дайте тому посланному в дорогу до Риги на пищу денег, дабы он был доволен и ежели будет требовать под тот кабинет саней, и оные ему дайте.

Петр.

Из Амстердама, генваря в 7 день 1717 года.
Господину Бестужеву в Курляндии».

Итак, кабинет был доставлен в Петербург. Но тут государя постигло новое разочарование: «Янтарная камора, которую Его Королевское Величество Прусское Его Царскому Величеству презентовать изволили», оказалась неоконченной и состояла из разрозненных частей. Поэтому все эти ценные предметы были снова упакованы в 18 больших и малых связках и после кончины Петра вместе с другими «курьезами» перевезены в Петровский Дворец в Летнем Саду (в Петербурге). Там янтарные панели показывали «знатным иностранцам», посещавшим столицу.

Вспомнила об этом янтаре Императрица Елисавета Петровна в начале своего царствования. 29 января 1743 года «Ее Императорское Величество имянным своего Императорского Величества указом изволила указать имеющийся в ведомстве камерцалмейстерской конторы большой янтарный кабинет, каков он в своем состоянии находится, доставить для убирания в Зимнем Ее Императорского Величества доме (в Петербурге) покоев, в которых Ее Императорское Величество жительство иметь соизволит». Устройство этого кабинета было поручено придворному обер-архитектору графу Варфоломею Растрелли. Но после этого приказа Елисавета долго не могла остановиться на покое и янтарные стенные украшения переносились «из камеры в камеру трижды, отчего учинилось тому кабинету немалое в штуках повреждение», как доносил бывший при этом деле штукатурного дела мастер итальянец Александр Мартелли.

Для исправления он получал из канцелярии от строений янтарь «с крайним бережением, без излишества». Янтарных «штук» не хватало для убранства целого дворцового покоя, и Растрелли заказал в том же 1743 году 52 «зеркальных пилястра без фацетов». Кроме того, рядом с пространствами из настоящего янтаря, за отсутствием его, добавлялись места столярной работы, которые по приказанию обер-архитектора должно было покрыть «краской доброй и шлифовать же с

глянцем подобно янтарю». Но для полной отделки покоя это всё не было выходом из положения. В присланных из Берлина частях кабинета оказались налицо только две богатые рамы, составлявшие центр каждого панно а для третьей было оставлено лишь место. Тогда обер-гофмейстер барон Христиан Миних (брат фельдмаршала), заведывавший дворцовой канцелярией, решил в 1745 г. «в презент» царице заказать рисунок третьей рамы придворному живописцу Гроту, а для исполнения его из янтаря «по наилучшему искусству употребить итальянца Мартелли».

Чрезвычайно добивавшийся благоволения императрицы Елисаветы король Фридрих Великий, узнав от своего посланника при русском дворе барона Мардефельда о неудовольствии государыни, что кабинет не может быть закончен из-за отсутствия третьей рамы, но не подозревая, что она делается в Петербурге, немедленно решил сделать недостающую раму и без промедления, 6 марта 1745 года, последовал в Потсдаме за собственноручным подписанием короля Фридриха II-го кабинетный приказ восточно-прусскому статс-министру в Кёнигсберге барону фон Лесгевангу: «Мой милый тайный статс министр фон Лесгеванг. Мой пребывающий в России министр барон фон Мардефельд донес мне, что Ее Российскому Императорскому Величеству недостает янтарной рамы или кадра для того янтарного кабинета, что некогда попал туда из Берлина, и что Ее Величество не знает, откуда такую раму достать. Так как я ныне склонен Ее вышереченному Российскому Императорскому Величеству такой янтарный кадр сделать в Кёнигсберге и затем через упомянутого фон Мардефельда велеть презентовать, то посылаю я Вам рисунок и желаю, чтобы без малейшего промедления времени приказали приготовить каким-нибудь умелым тамошним янтарных дел мастерам такой кадр, по сообщенному Вам рисунку самым тщательным образом и чем скорее, тем лучше; как только будет готов, хорошо уложив, прямо из Кёнигсберга отправьте к только что упомянутому барону фон Мардефельду. Расходы я, по получении счетов, уплачу. Вам остается только озаботиться, чтобы работа была весьма тщательная и, чем скорее, тем лучше, готова и отослана. Вам благорасположенный

король Fr.

Потсдам 6 мартия 1745».

Письмо это было только шесть дней в пути и уже 12 марта получено адресатом. При письме был приложен рисунок, изображавший раму (для зеркала) в стиле рококо с амурами

и фруктами. Кроме того, было указано, что рисунки и изображения (орнамент) могли быть изготовлены по желанию мастеров, но требовалось применение трех родов янтаря: прозрачно-белого, матового и совсем темного. 16 марта фон Лесгеванг доносил королю: «Я тотчас пригласил нескольких лучших янтарщиков, между коими находился и один из тех, что когда-то работал над кабинетом, ныне составляющим собственность Ее Российского Императорского Величества».

Король в это время отбыл в Силезию и отвечал 29 марта 1745 г. Его указ был получен Лесгевангом 8 апреля. Уже 10-го Лесгеванг подробно известил посланника фон Мардефельда и просил его решения относительно рисунка, по которому надо было начать работу. Ответ Мардефельда совершенно согласовался с мнением фельдмаршала Бурхарда Христофора фон Миниха, который был им запрошен.

В письме к Лесгевангу от 13-го апр. Мардефельд особенно подчеркивал, что было бы чрезвычайно удачно, «если бы можно было поместить на раме что-нибудь касающееся героических поступков Ее Российского Императорского Величества». Это было принято во внимание при изготовлении рамы. Королю было обо всём этом донесено Лесгевангом 15 мая 1742 года. Вслед за этим король 23 мая повелел из Хемница в Силезии банкирскому дому Сплитгербер и Даум в Берлине уплатить 2000 талеров за раму. Лесгевангу было приказано наблюсти за тщательным изготовлением, акуратнейшей упаковкой и отправкой ее к Мардефельду. Работа была поручена двум мастерам Иоганну Бернгардту Вельпендорфу и Якову Зуру в Кёнигсберге. Модель была изготовлена рисовальным мастером Антоном Рейхом, получившим за работу 20 талеров. 7 сентября Лесгеванг донес королю, что работа будет готова в конце месяца. Потребовалось неполных 7 месяцев, чтобы замысел короля был выполнен. Лесгеванг при своем донесении предложил поручить перевозку рамы до Петербурга янтарных дел подмастерью, дабы на случай, которого «впрочем не следовало предполагать», если в пути или при распаковке что-нибудь сломается, можно было немедленно всё починить, тем более, что по его сведениям в Петербурге не было людей, знакомых с янтарным мастерством. Предложение Лесгеванга было утверждено королем 26 сентября и необходимые издержки повелено покрыть авансом в Кёнигсберге.

Еще 7 сентября Лесгеванг просил Мардефельда выхлопотать пропуск для повозки с янтарной рамой от Риги до Петербурга, а также и о разрешении на беспошлинный провоз драгоценного груза через все таможни во избежание возмож-

ных поломок при досмотрах. Мардефельд 21-го сентября уведомил Лесгеванга, что ему удалось выхлопотать у великого канцлера графа Бестужева посылку приказания полковнику Воейкову в Митаву о назначении унтер-офицерского конвоя к янтарю от самого Полангена и о пропуске повозки без пошлины и без досмотров. 8-го октября Лесгеванг донес королю, что рама готова и на-днях, отлично уложенная, будет отправлена в Петербург под надзором опытного янтарного подмастерья. В конце концов было решено послать не подмастерья, а одного из двух мастеров, делавших раму, и 18 октября мастер Яков Зур получил «на сей предмет особую инструкцию» и был назначен сопровождать драгоценный груз. Раму уложили в двойной ящик, запечатанный королевской печатью, прикрепленный к кожаным подушкам внутри крытой повозки. Зур должен был взять с собой некоторый запас янтаря и все свои инструменты на случай каких-либо починок. Он получил авансом 50 талеров на дорогу и имел право тратить ежедневно на стол 60 грошей. Паспорт Зура помечен 18 октября. За перевоз груза до Риги было уплочено Якову Рехану 40 талеров. О дальнейшей перевозке груза Зуру надлежало сговориться с тамошним бургомистром фон Шварцем.

19-го октября груз выехал из Кёнигсберга. Перед этим, случайно бывший в Кёнигсберге вицеканцлер граф Воронцов осматривал раму и высказал мнение, что рама больше чем место на стене кабинета Ее Величества, которое она должна занять. Это немного всех встревожило, но понадеялись на неточный глаз вельможи.

Больше месяца Зур пробыл в пути. Он ехал медленно со своим ценным грузом на Ригу, откуда 10-го ноября отправился через Дерпт и Ревель в Петербург, куда прибыл 25 ноября. 7-го декабря подарок был вынут из ящиков и все ахнули. Глаз вельможи был правильный. Рама оказалась на 1 дюйм выше и на 3 дюйма уже; пришлось в спешном порядке с каждой стороны добавить рейку в 1½ дюйма шириной и покрыть ее янтарем. Эту работу в течение 6 недель исполнил Зур с помощью какого-то столяра из придворной команды.

Мардефельд имел повеление короля лично представить Ее Величеству раму «с очень любезным и лестным комплиментом». Царица осталась довольна и рамой, и комплиментами, и стихами. Войдя в кабинет для осмотра подарка короля, она весьма милостиво изволила обойтись с Зуром и удостоила его разговора. Зур при этом принес императрице почтительнейшую благодарность за переданный ему вицеканцлером от име-

ни государыни подарок в 500 рублей. 26-го февраля 1746 г. Зур возвратился в Кёнигсберг.

Итак, в 1745 году отделка янтарного кабинета была закончена. Его уже украшали все 4 рамы: две сделанные при Фридрихе I-м в Берлине Вольфрамом, одна — подарок Фридриха II-го работы Зура и Вельпендорфа в Кёнигсберге и четвертая — Мартелли в Петербурге. В них первоначально были вставлены зеркала. Обе рамы, созданные Шлютером и Вольфрамом отличались от остальных своей тончайшей, изысканной работой. Остальные сравнительно с ними были проще и грубее по исполнению. Скульптурные медальоны (горельефы), украшавшие обе берлинские рамы, изображали: на одной а) Моисея перед фараоном, б) гибель фараона в Красном море, в) одну из казней египетских — появление лягушек, г) Саула, бросающего копье в Давида; на другой: д) Вулкана, готовящего оружие Ахиллеса, е) две женские фигуры в колеснице с гербом Пруссии, ж) Амфитриду и Нептуна, з) аллегорические фигуры с вензелями, гербами и проч. Между медальонами по краю обеих рам были расположены крохотные пластинки из прозрачного янтаря с резьбой интарсией, исполненные той же рукой, что и горельефы. Эти миниатюрные пластинки имели тоже свои особенные сюжеты: крылатые сердца, хижину с луной, спящего охотника под деревом, летящего амура с факелом, амура без факела, два сердца, пронзенные стрелой, собаки, якоря, кресты с сердцами и прочие аллегорические сентиментальные сюжеты и эмблемы. Эти янтарные пластинки были положены на блестящую фольгу, чтобы рельефно выступали изображения. Кроме того, сам янтарь от блестящей фольги искрился еще сильнее. Это была изысканная изобретательность и архитектора Шлютера и мастера Вольфрама. От тех времен сохранился выложенный на одном из панно янтарем год «Anno 1709» и вензель Фридриха I, помещенный на плинтусе убора.

Десять лет стоял янтарный кабинет, вызывая восхищение и изумление у высоких посетителей дворца. На фоне этих, как бы золотых стен происходили многочисленные торжественные приемы, не лишенные иногда политического смысла. Но Елисавета была не только одержима манией строительства. В своей жажде окружать себя всё бóльшим блеском она, не считаясь с расходами, всё изменяла, добавляла, заново отделывала и потому при жизни ничего из своих затей не видела в законченном виде. Ни Зимний дворец, ни свой любезный Царскосельский. То же произошло и с янтарным кабинетом. Пользуясь перестройкой в Царском Селе скромных материнских

(Екатерины I) хором в великолепное дворцовое сооружение, для вящего блеска его апартаментов она задумала перенести туда янтарный кабинет. И 11 июля 1755 года объявила через своего обер-архитектора графа Растрелли о перенесении янтарного кабинета «в величайшей осторожности» из Зимнего дворца в Царское Село. Для этого надлежало, чтобы Мартелли уложил все «штуки» кабинета в ящики и затем они должны были быть перенесены в Царское солдатами на руках.

1-го августа начали устраивать кабинет на новом месте под руководством того же Мартелли. В сентябре была закончена работа по уборке и исправлению янтаря. Для возмещения в большом царскосельском покое недостающего янтаря Растрелли раздвинул янтарные панно зеркальными пилястрами и полупилястрами. Дополнил в высоту украшения аттиком, разделав его под янтарь, и карнизом с золочеными амурами, чередующимися с вазами рококо. Между окон лицевой стены, лишенной вообще янтарного убора, были поставлены огромные простеночные зеркала на золоченых подстольях. Покой освещался 565 свечами, вставленными в бронзовые и деревянные золоченые стенники, при чем они были расположены так искусно, что не касались янтаря, а находились в пределах зеркальной поверхности. Таким образом, весь свет, лившийся от свечей, отражался в 24 зеркальных пилястрах и полупилястрах, которые в свою очередь отражали свет в самой палитуре янтаря.

От всех этих дополнительных украшений комната потеряла чистоту первоначальной отделки, ее специфический цвет перебивался нагромождением бронзы и позолоты. Для янтаря такое большое помещение было смертоносно — масса света, льющегося из огромных окон, убивала жизнь в этой тысячелетней смоле. Он осыпался, превращался в прах. Растрелли, гениальный обер-архитектор императрицы, в этом чудесном покое далеко отошел от первоначального замысла Шлютера, который хотел создать небольшой покой сплошь из одного янтаря.

Комната, выбранная им для этой цели, была по обычаю того времени гораздо меньше и ниже царскосельского покоя. Шлютер предполагал, покрыв ее сплошь янтарем, в центре каждой стены поместить зеркало в богатой янтарной раме. Быть может, и потолок должен был быть янтарный. Это была небольшая, низкая комната вроде тех, что встречались во дворцах вельмож в петербургский период начала XVIII века, причем вся насыщенная сказочным мерцанием янтарного света и тени. Только рассматривая внимательным глазом чудесные де-

тали янтарных панно, можно было понять весь замысел Шлютера и то впечатление, которое он хотел вызвать янтарным покоем у зрителя. И тогда невольно вспоминались слова талантливого мастера Вольфрама, что подобной комнатой «...ни один император, ни король ни какой другой государь никогда не обладали».

Григорий Кохановский

НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ

Здесь ночью — райская прохлада,
А в полдень — африканский зной.
В тиши оливкового сада
Дышу прохладой неземной.

И жду того, о чем мечтают
И юноши, и старики.
Смотрю, как в темноте летают
Мигающие светляки.

Они везде, они повсюду,
Полны мерцания кусты.
И кажется, что это — чудо,
Что это — сон, что умер ты.

Пусть под луной ничто не ново,
Но в вышине — во тьму вглядись —
Как продолженье сна земного,
Такие ж огоньки зажглись.

Земля и небо не похожи,
Но та же правит ими власть.
И снится им одно и то же:
Освобождающая страсть.

Владимир Злобин

XIX СЪЕЗД ПАРТИИ И "РЕЦИДИВ БУРЖУАЗНОГО ДЕКАДАНСА" В ЛИТЕРАТУРЕ

До XIX партсъезда вопросы литературы и искусства в репертуаре Георгия Маленкова занимали скромное место. Тем примечательней, что на XIX съезде партии Маленков «повернулся лицом» к русской культуре. «Кандидат» в наследники Сталина выразил неудовлетворенность качеством советской литературы: «несмотря на серьезные успехи в развитии литературы и искусства, идейно художественный уровень многих произведений всё еще остается недостаточно высоким». Маленков недоволен тем, что в стране немало «халтурных произведений, написанных вяло и скучно». Маленкова предвосхитил Александр Фадеев, председатель правления Союза Советских писателей. Выступая на десятой областной конференции коммунистов Москвы, Фадеев заявил: «Главный недостаток наших романов в том, что они лишены настоящих больших крыльев, способных поднять человека так, чтоб у него дух замер и, как говорит Гоголь, «стало видно на все стороны света».

Новостью, которой русская литература не знала со времени смерти Горького, было то, что в речах Маленкова и Фадеева затронуты не только проблемы идеологии, но и проблемы эстетики: писателей одновременно осуждают и за игнорирование политических указаний партии и правительства и за невысокие художественные достоинства их произведений. Интересно, что этому сопутствует не слишком, правда, значительное ослабление цензурного контроля.

В настоящее время советская литература готовится чествовать старейшего пролетарского писателя Федора Гладкова, по случаю семидесятилетия со дня его рождения. Гладкову, тяготевшему в свое время к правой (бухаринской) оппозиции, удалось выйти сухим из воды, т. е. пройти сквозь огонь чисток, оставшись сравнительно невредимым. У этого плодовитого писателя был критический этюд «Кровью сердца», запрещенный советской цензурой, и три сатирических рассказа («Головоно-

тий человек», «Непорочный чорт», «Вдохновенный гусь»), названных официальной критикой «злопыхательским пасквилем на советскую действительность». Теперь этюд «Кровью сердца» «амнистирован». Этот этюд мало кому известен, и потому уместно привести его краткое содержание. После литературного вечера, маститого советского писателя приглашают на чашку чая в одну из московских библиотек. В библиотеке оказался старый печатник Чижов. Писатель случайно разговорился с ним. Чижов — интеллигент из народа. В беседе с писателем он обнаружил такое понимание литературы, что мог бы смело заткнуть за пояс многих советских критиков. Услышав отповедь Чижова, писатель покраснел от стыда. И было от чего. Приведем отрывки из критических суждений Чижова: «Вы — слишком ничтожны и бедны, чтоб звать нас за собой... Вместо солнца вы показываете ржавую сковороду, вместо людей — огородных чучел, вместо мечты — тускленькие слова. Разве это искусство?.. Вы мараете бумагу неискренней пошлостью: «Ах, какие мы хорошие! Ах, какое житье наше райское! Ах, мы единственные во всей вселенной»... Ведь творчество — это предвиденье, и смысл его не в изображении того, что есть, а того, что должно быть...».

«Реабилитация» запрещенных произведений — не совсем обычное явление для советской литературы. Амнистия этюда «Кровью сердца» вызвана не только тем, что этот этюд случайно совпал с новым направлением политики большевиков в области культуры: ссылки «на недостаточно высокий уровень» произведений советских писателей теперь для коммунистических критиков являются признаком политически-правильного тона.

В чем же видят большевики эстетическую слабость советской литературы и каким образом надеются они наделить творчество советских писателей художественными достоинствами, т. е. тем, чему раньше не придавалось особенно большого значения? Оказывается, неудовлетворенность в первую очередь относится к... дифирамбам в честь Ленина и Сталина. Эти дифирамбы сочтены не «художественными» и не слишком убедительными.

«Нам писателям, — говорит Фадеев, — необходима сейчас необычайная широта кругозора, которая хотя бы отчасти отражала нашу государственную мысль, величественную мысль Ленина и Сталина по преображению нашей страны в страну отношение к отечественным «здравицам» в честь Сталина, выкоммунизма». Еще раньше скептически-пренебрежительное сказанное осторожно и робко, промелькнуло в очерках Кон-

стантина Симонова и Николая Грибачева, после посещения ими Китая и Северной Кореи. Оба писателя, не сговариваясь, сошлись на том, что у китайских и корейских поэтов, когда они пишут о Сталине, есть непосредственность и искренность; у советских же поэтов этой силы нет, и они выезжают на «героическом штампе» и шаблонных образах. И вот после выступления Фадеева, подготовлявшего писателей к речи Маленкова, в порядке «социалистического соревнования» с китайскими собратьями по перу, в советской литературе возникает стремление реконструировать культ Сталина по образу и подобию культа Ленина.

Приступив к этой «реконструкции» советская поэзия взяла два различных курса: первый на стихотворение Николая Тихонова «Сами»; второй на поэму Маяковского о Ленине; это были образцы, по которым, превознося Сталина, следовало равняться. Курс на «Сами» был благословлен писателями старшего поколения, — прежде всего, Фадеевым и самим Тихоновым, которые играют ведущую роль в правлении Союза Советских писателей. Кстати, — Сами, герой стихотворения Тихонова, — индусский мальчик, который молится Ленину так же, как его предки молились своим богам.

Поэты же относительно молодого поколения (Сурков и Симонов), занявшие командные посты в секретариате Союза писателей, противопоставили курсу на «Сами» курс на поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин», где Ленин представлен сверхчеловеком индустриальной эры. До смерти Сталина, совещание в Союзе писателей, состоявшееся в конце января 1953-го года и посвященное «основным вопросам изучения творчества Маяковского», было — после XIX партсъезда — самым значительным событием в советской литературе. На этом совещании Симонов говорил: — «чем мы, поэты, можем похвастаться, или, вернее, чем мы можем подтвердить, что плодотворно работаем... в традиции Маяковского... Вопрос о традициях — это вопрос не о том, написан «Владимир Ильич Ленин» или «Хорошо!» «лесенкой» или не «лесенкой», а вопрос в том, что Маяковский создал поэмы о Ленине, о партии, о стране».

Но неожиданная смерть Сталина внезапно придала работе над «освежением культа вождя» несколько новый и несовсем обычный характер, что, вне всякого сомнения, имеет отношение к закулисной борьбе за сталинское наследство. В то время, как старшее поколение советских писателей отпевало Сталина с оглядкой на старых большевиков и, в частности, на Молотова, молодые, из секретариата, бросают шапки в воздух, приветствуя Маленкова. При этом эти маленковцы, украшая гроб

Сталина венками из слов, с бóльшим уважением и бóльшим почетом отзываются о Ленине, чем о Сталине. По отношению к Сталину замечается даже некоторая тенденция умерить восторги; поэты хотят как бы отойти от обоготворения почившего. В сравнении с тем, что было при жизни Сталина, можно утверждать, что вождь, в некотором смысле, даже развенчан, сделан не столь великим, как прежде. Совсем недавно издательством «Молодая Гвардия» выпущены «Послевоенные стихи» А. Твардовского. В сборнике — несколько стихотворных некрологов о Сталине. Самый лучший тот, где под напускной скорбью теплится огонек лукавой иронии: дескать, велик то ты велик, да не своим, а чужим величьем:

«Когда свое он произносит слово,
Нам всякий раз сдается, что оно
И нашей мыслью было рождено
И вот уж было вылиться готово.

Нам в ту минуту как бы невдомек
В невиннейшем из наших заблуждений,
Что только он, при нас живущий гений,
Открыть и молвить это слово мог.

Но заблужденье ль это в самом деле?
Ведь слово нашей правды без прикрас
Мы высказать поистине хотели,
Мы вместе с ним, а он — один из нас.

И в том твое доподлинное счастье,
Что, может, рядовой из рядовых,
Ты к сталинскому гению причастен
И ты в веках — живой среди живых.

Коммунистическая печать, подчеркивая, что большевики обладают «железной выдержкой», объясняла этим «сдержанность скорби». В действительности, причины, вероятно, лежат глубже. Об этом свидетельствует передовая «Правды»: «независимо от опытности вождей, независимо от их знаний и талантов, постановления их не могут заменить решений коллективов. Нарушение прав коллектива нередко превращает вождей в автократов... когда это происходит, вожди ведут себя как будто они всё знают, и требуют от других только поддержки высказанных ими мнений. В результате создается беспринципная атмосфера, аморальность, раболепство». Всё это как будто дает основание предполагать, что в то время как культ Ленина

будет преображен и расширен, культ Сталина будет постепенно сведен на нет.

Чем это вызвано? Коммунисты не могут не знать, что в народе давно утрачены и вера в них и доверие к ним. Однако среди некоторой части подсоветских людей всё еще существует убеждение, что будь Ленин жив при нем не было бы того, что было при Сталине. Обновление культа Ленина за счет начавшегося развенчания Сталина и свидетельствует о том, что поэты-маленковцы обратились к этим группам населения, чтобы изобразить Маленкова реставратором ленинских устоев.

Второй задачей литературы, по мнению Маленкова, высказанному на XIX партсъезде, должно быть создание «положительных образов советских людей, во всём великолепии их человеческого достоинства». Константин Симонов заявил, что осуществление этой задачи немыслимо без борьбы с «откровенным рецидивом буржуазного декаданса» в русской литературе послереволюционного периода. И Союз Советских писателей истово принялся очищать литературу от настроений упадочничества, безысходности, обреченности. Настроения эти и впрямь очень сильны; угасить их не удавалось, несмотря на все усилия партийной критики, начатые еще в 1946 году после доклада Жданова. Уже тогда, например, Николай Грибачев требовал на страницах «Правды», чтобы Маргарита Алигер «осушила свои стихи от слез». Негодование Грибачева было вызвано такими строками:

«Жизнь прожить — не поле перейти.
Бьет в лицо пустыня. Ветром резким
Замело, засыпало пути.
Не к кому пойти и спорить не с кем.
Не к кому метнуться. Помоги!».

Прошло три года, и поэт Илья Френкель, который живет «в стране, где жизнь бьет ключом», вдруг увидел в ней кладбищенский покой:

«Положив лучи горизонтально,
Солнце задержалось на воде,
Стало тихо и чуть-чуть печально,
Как на дальней, нежилой звезде».

И совсем недавно Ольга Бергольц почуяла в песне о счастьи привкус смертельной тоски:

«Пускай эти слезы и это удушье,
Пусть хлынут упреки, как ветки в ненастье.

Страшней всепрощенье, страшней равнодушье.
Любовь не прощает, и всё это — счастье».

Этот «декаданс» и в поэзии и в прозе беспокоит критику. Ряд писателей, оказывается, утратил различие между положительным и отрицательным. Работники пера нередко ставят плюс перед тем, перед чем, с пропагандной точки зрения следует поставить минус. Их герои, проявив на фронте отвагу и доблесть, будучи демобилизованы, становятся пессимистами, перестают хорошо работать и ведут себя далеко не по-советски. Особенно резкое недовольство критики вызвали действующие лица повести Э. Казакевича «Сердце друга» («Новый Мир» за 1953 г., № 1). А Фадееев в докладе «О некоторых вопросах работы Союза писателей», сделанном на заседании президиума правления Союза («Литературная газета» № 38 от 28-го марта с. г.) считает публикацию этой повести «крупной ошибкой» главного редактора «Нового Мира» А. Твардовского: «на этой повести... лежит печать ущербности, как бы обреченности людей». Особенно возмущает Фадеева, что Аничка, героиня повести, осмеливается упрекать власть за черствое отношение к человеку, за надругательство над памятью тех, кто пал смертью храбрых. Вот отрывок из повести, вызвавший гнев Фадеева: — «В эти мгновения, длившиеся, казалось, веками, она с ужасом спрашивала у Акимова: Зачем же ты пошел туда? За что же ты умер? Кому понес ты чистоту помыслов, свое мужество и свою любовь?».

В том направлении литературы, которое советская критика называет «декадентским», следует выделить, как самое лучшее и самое ценное, роман Константина Паустовского «Преодоление времени» (в первой редакции напечатанный в журнале «Огонек» вскоре после войны) и три работы Василия Гроссмана: «Если верить пифагорейцам» (пьеса, 1953 г.), «В госпитале» (повесть, опубликованная не целиком, а только в отрывках) и «За правое дело» (роман, первая книга которого печаталась в «Новом Мире» в течение 1952-53 г.г.).

В «Преодолении времени» профессор Багалей, ученый-биолог, не сомневается в победе России над Германией. Но он утверждает, что победа его «не устраивает». Сталин понастроил много заводов и фабрик. Но индустриализации сопутствовало оскудение и обнищание сельского хозяйства страны. В неумении найти равнодействующую между силой машины и силой природы — большой порок всей созидательной деятельности большевиков. Опустошения, нанесенные родине войной, сделали нищету сельского хозяйства совсем нестерпимой. В стране вырезан и погиб скот, плодородие почвы катастрофиче-

ски уменьшается, чего и миллионами тракторов не поправишь. Из-за варварской вырубки лесов «засухи и суховеи будут опустошать поля, а кое-где начнется засоление почвы». Интеллектуальное сопротивление хозяйственной политике большевиков приводит Багалея к отрицанию диалектического материализма и к философии пан-космизма, в интерпретации Циолковского: человек бессилен победить природу и до конца постичь ее тайны; организованное насилие над природой всегда приводит человеческое общество к угасанию любви и насилию над добром. Надо отметить, что пан-космизм по Циолковскому был когда-то очень популярен среди поэтов-богостроителей и в свое время вдохновил пролетарского поэта Владимира Кириллова на стихотворение «Разговор со звездами»:

«Надо быть безнадежно глухим и тупицей,
Чтоб не видеть открытых в небесное врат,
И не видеть, как звездная сила струится
В огнецветных созвучьях крылатых сонат

В отрешении от диалектического материализма Василий Гроссман пошел еще дальше Паустовского: им сделана попытка создать собственную философию, сложившуюся под влиянием экзистенциалиста Хайдегера, с книгой которого «Sein und Zeit» («Бытие и время») Гроссман ознакомился во время поездки по оккупированной большевиками Германии*, и теории естествоиспытателя Гурвича, которого «Правда» когда-то назвала «неприкрытым антимарксистом».

Скорбь об угасании любви, которую Паустовский выводит из неверного понимания взаимоотношений человека и природы, переносится Гроссманом внутрь человеческого сердца и объясняется уничтожением человека, как личности. Жизненный путь человека есть восхождение к смерти. На этом пути человек становится рабом забот. Стало быть, каждая из забот — это песчинка смерти. Такое, восходящее к Хайдегеру, представление о заботе и смерти Гроссман применяет в изображении страданий человека, подчиненного тоталитарной системе. Отрывки «В госпитале» Гроссман опубликовал в 1948-м году, через два года после того, как сняли с репертуара его пьесу «Если верить пифагорейцам», где «теория повторяемости исторических циклов» и вечного круговорота, когда ветер возвращается на круги своя, претворена в плач о забвении и попрании старой христианской истины о сострадании к человеку.

* Об этом сообщала красноармейская газета оккупационной зоны Германии. *В. З.*

В романе «За правое дело» непокорный автор продолжает развивать идеи своей запрещенной пьесы.

В докладе Фадеева, на который мы уже ссылались, идеи Гроссмана изложены упрощенно, вульгарно и грубо, но из этого изложения понятно, в чем видят большевики опасность отталкиваний от диалектического материализма. «В основе романа, — утверждает Фадеев, — лежит реакционная идеалистическая философия, выраженная устами действующих лиц романа — академика Чепыжина и профессора Штрума, которых автор избрал, как главных выразителей его собственных взглядов... Сущность этой философии не нова: жизнь будто бы в основе своей неизменна, в жизни всё повторяется, развитие совершается по кругу. Германский фашизм объяснен тем, что в народе существуют, якобы, извечные начала жизни — начало добра и начало зла. В зависимости от обстоятельств в народе, так же, как в человеке, на поверхность всплывает либо начало добра, либо начало зла. Сущность фашизма, по Чепыжину и Штруму, состоит в том, что начало зла всплыло наружу в германском народе. Нужно ли говорить, что это немарксистская, антиленинская философия истории».

Характеристика послевоенного «декаданса», который непрестанно, в течение семи лет, с 1945 по 1953 г.г., тревожит советскую критику, будет неполной, если не остановиться на рассказе Андрея Платонова «Броня» (1946 г.) и на фантастическом романе Вадима Охотникова «Дороги вглубь» (1950 г.). Платонов выражает мнение, что любая машина состоит не только из металла, но и из того настроения, которое человек вкладывает в свой труд, когда создает ее. Сквозь всё творчество Платонова красной нитью проходит идея противопоставления культа человеческого сердца культу машины. В рассказе «Броня» вся советская техника сурово осуждается за то, что в металле, принявшем форму машины, запечатлены человеческие страдания. Герой рассказа проповедует идею перерождения техники путем обработки металла не принуждением и страхом, а свободой и радостью. В рассказе Платонова плечом к плечу идут жестокая критика советской действительности и утопические мечты изменить ее к лучшему.

Этот рассказ перекликается с романом Вадима Охотникова «Дороги вглубь», но Охотников делает упор на общую подавленность советских инженеров, творческие дерзания которых скованы зависимостью от партийных подрядчиков. Фантастические мотивы романа показывают, чего добьется страна, если не инженер будет зависеть от партии, а, напротив, партия от инженера.

В общем, если подвести итог тому, что Симонов назвал «откровенным рецидивом буржуазного декаданса», картина получится невеселая. Вся Россия представляется тюрьмой, по которой бродят или полутрупы, утратившие вкус к жизни, или протестанты с лицом, искаженным бессильной злобой, или интеллигентные романтики, мечтающие силой новой идеи разрушить стены тюрьмы. Критика требует от писателя осуждения недовольных, а писатель проникается состраданием к ним.

Вот каков тот «декаданс», который стал препятствием на пути к выполнению указаний Маленкова о положительном герое новой эпохи. «Упадочнические» настроения подсоветских людей внушили коммунистической пропаганде серьезные опасения, и литературе было вменено в обязанность не разделять грусть отчаявшихся, а, напротив, содействовать ее преодолению.

12-го февраля 1953-го года Аркадий Первенцев опубликовал в «Литературной газете» весьма двусмысленную резензию на постановку в Московском Театре Драмы и Комедии пьесы Цезаря Солодаря «У лесного озера». Первенцев обнаружил в этой пьесе «важное качество — пьеса остро и интересно ставит вопрос о бдительности». Но вопреки этому «важному качеству», «всё происходившее на сцене было ненастоящим, зрителя держат в течение нескольких часов по пустякам». Лукавая ирония, отмеченная нами у Твардовского, присуща и рецензии Первенцева. Он намекнул, что чекисты — великие мастера творить тягчайшее обвинение из абсурда. Года два тому назад А. Твардовский опубликовал в «Новом мире» обращение к «сыну погибшего воина», где дан строгий совет не выдавать товарищей и не доносить на них.

«Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней,
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призваньи,
Товарища в беде не поддержать,
Во чье-то горе обратить забаву,
В труде схитрить, солгать, обидеть мать,
С недобрым другом поравняться славой, —
То прежде ты — завет тебе один —
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын».

Тогда в этих стихах выискали «неверное представление о коммунистической нравственности» (по Твардовскому — Павлика Морозова придется признать выродком); теперь же, после включения стихов в послевоенный сборник, в них нашли

«образец моральной чистоты». Зная специфические советские условия, в каких русская культура влачит свое жалкое существование, трудно поверить, чтоб в печати могли появиться произведения с обличением теневых сторон советской действительности. Тут надо обратить внимание на одно обстоятельство: кроме Паустовского и еще двух-трех литераторов, в «декаденты» попали писатели не только бывшие в свое время военными корреспондентами, но и сохранившие связь с полководцами, одержавшими победу над Гитлером. И, может быть, их творчество — не только мужество отчаявшихся одиночек, может быть, они почувствовали где-то точку опоры.

Литература последнего времени бросает свет на какие-то изменения, происходящие в советской жизни. Какие же перспективы возникают перед литературой? Судя по программному докладу Фадеева, не слишком блестящие. До творческой весны всё так же, как и до звезды небесной, далеко. Фадеев дал понять Твардовскому, Казакевичу и Гроссману, что они будут сохранены для литературы; но это отнюдь не означает, что они могут считать себя героями дня и выдавать серьезные политические ошибки за политическое предвидение. При этом ясно, что новой вспышки «декаданса» партия не потерпит; в этом основной смысл программного заявления Фадеева, выступление которого следует рассматривать, как новое предостережение писателям и административный окрик.

Художественные достоинства советской литературы непрестанно идут на убыль. То, что Симонов называет «декадансом» теперь, не имеет, конечно, никакого сходства с декадентством в дореволюционном смысле. Однако, в сравнении с другими советскими писателями, на стихах и прозе которых лежит печать серости и скуки, «неодекаденты», в общем, гораздо лучше владеют словом. Казакевич, Гроссман и, особенно, Паустовский просто хорошие писатели. Но все они нашли себя не в прославлении режима.

Вяч. Завалишин

НОВОЛУНЬЕ

(О поэзии Казимира Вежинского)

«Месяц — одуванчик бурь».
А. Белый

Казимир Вежинский — один из самых выдающихся поэтов современного польского зарубежья, который продолжает жить активной творческой жизнью, несмотря на атмосферу мировой и личной катастрофы военных и послевоенных лет. В кратком очерке невозможно проследить все фазы этой жизни, можно только бегло с ними познакомить, поскольку это позволяет доступный русскому читателю материал. Из многочисленных сборников поэта, изданных в Польше и заграницей[1], только один полностью переведен на русский. Кроме того, отдельные стихи Вежинского переводил Бальмонт. Поэтическая группа «Скамандра», к которой принадлежал Вежинский, была и литературно и лично связана с русскими символистами, имажинистами и футуристами[2]. Переворот, произведенный «Скамандритами» в польской поэзии, ярко отразился в первом сборнике стихов Вежинского «Весна и вино». Стихийная любовь к жизни, к природе, к человеку, упоение радостью и молодостью, редко

---

[1] В Польше вышли: "Wiosna i wino" (1919); "Wróble na dachu" (1921); "Wielka niedźwiedzica" (1923); "Pamiętnik miłości" (1925); "Laur olimpijski" (1927); "Utwory zebrane" (1929); "Rozmowa z puszczą" (1929); "Pieśni fanatyczne" (1929); "Gorzki urodzaj" (1933); "Wolność tragiczna" (1936).

Заграницей: — "Barbakan Warszawski" (Nicea 1940 i 1941 r.); "Ziemia Wilczyca" (Londyn 1941 i Buenos Aires 1941, Rzym 1945); "Róża wiatrów" (Nowy York 1942 i Jerozolima 1944); "Ballada o Churchillu" (N. Y. 1944); "Pobojowisko" (N. Y. 1944); "Podzwonne za kaprala Szczapę" (N. Y. 1945); "Krzyże i miecze" (N. Y. 1946 i Londyn 1946); "Korzec maku" (Londyn 1951). "The forgotten battlefield" (N. Y. 1944); "The Life and Death of Chopin" (биография Шопена) (N. Y. 1949).

[2] См. статью проф. В. Вайнтрауба «Литература независимой Польши» в 32-ой книге «Нового Журнала».

находили себе такое адэкватное выражение в поэзии, как в стихах этого сборника, может быть, потому что редко национальное самосознание и новое литературное направление так совпадали с личным восприятием мира. Вежинского нельзя было упрекнуть в позе, когда он восклицал:

Без всяких «но», в своей компаньи,
К чему, зачем, и то, и сё!
Мы лично все знакомы с вами
И солнце светит, вот и всё!

или, в панибратстве со всеми, включая само солнце, утверждал, что «носит его в глазу вместо монокля». Молодой, красивый, одаренный поэт действительно видел мир «под углом восхищения» и в самой жизни находил темы, которые давали ему возможность петь «во весь голос». Кроме «весны и вина», любви и молодости такой темой оказался спорт, радостное дерзание человека, преодоление времени и пространства силой воли и мускулов. Эта классическая тема, вероятно, немало способствовала расцвету классической формы, к которой внутренне тяготел Вежинский. Сборник дифирамбов сильному, свободному и счастливому человеку, «Олимпийский лавр», начинается классически:

Мы славим лишь мускулы, сердце, пространство,
И бег Марафонский — безудержный бег[8].

и кончается восторженным утверждением человека в вечности мироздания:

Без начал и правил дан закон планетам.
По кругу трансмиссий мчаться непреложно.
Человек — бессмертен: он повис над светом
Надписью победной, словно столб дорожный.

За этот сборник, переведенный на многие европейские языки, автор был увенчан олимпийским лавром на 9-ой Международной Олимпиаде в Амстердаме в 1928 году. Не имея возможности говорить о стихах этого сборника подробно, отмечу только его безукоризненно классическую форму, украшенную великолепной лепкой гипербол — впору гоголевским — и процитирую одно из лучших, по-моему, стихотворений:

---

[8] Здесь и дальше цитаты из сборника «Олимпийский лавр» в переводе Михаила Хороманского, издание «Петрополис».

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Уж прыгнул! Уж плавно несется над нами,
На древце повис и трепещет, как знамя,
И вдруг начал в воздухе биться и виться,
И вскинулся вверх, словно кошка иль птица.

Держите его! Пусть он в небе застынет,
И шест, как ненужную тягость, откинет,
Как тучка в полете неведомых странствий,
Пусть легкой пушинкой повиснет в пространстве.

Ведь сил ему хватит, ведь тонкий, летучий,
Взлетит он всё выше, под самые тучи,
Откликнется эхом, высоким звучаньем,
И в небо поднимется нашим дыханьем.

После упоения жизнью и миром в творчестве Вежинского наступает период раздумий и поисков (см. «Фанатические песни»). Растущее самосознание поэта и гражданина заставляет его чувствовать себя ответственным за судьбы Польши. «Лирическое восприятие мира недостаточно... Чистый лиризм — это отношение без всякой ответственности, отношение идеального отказа от явлений... Только проза, в которой отвечаешь за характер человека, за идею, за пейзаж, может дать чувство глубокого удовлетворения», заявил он в интервью в 1933 году. В это время он чуть не оставил лирическую поэзию, написав сборник рассказов «Границы мира» (в котором есть несколько рассказов на русские темы). Возможно, что эти поиски новых творческих путей были отчасти связаны с диалектикой исторического процесса, в силу которого экспрессивные средства группы «Скамандра» утрачивали свою новизну, как это предположил польский критик Заводзинский, ссылаясь на русских формалистов (см. его статью о Вежинском в «Rocznik Literacki» за 1932 год). Возможно однако, что еще больше они были вызваны идеологией поэта-патриота, ярче всего отразившейся в сборнике «Трагическая свобода», которым Вежинский увековечил маршала Иосифа Пилсудского в атмосфере легенды, окружавшей его личность. С чуткостью поэта Вежинский уже тогда почувствовал, что смерть маршала — предвестник катастрофы для созданного им государства.

Эта, разразившаяся в 1939 году катастрофа вернула Вежинского к лирической поэзии. Он обратился к музе с воз-

званием «не молчать среди боя» и призывал соотечественников к борьбе не только за Польшу, но за Европу, с которой всегда чувствовал связь через «родовую латынь» польской письменности. В стихах «Варшавский Барбакан» и «Виа Аппиа», в ритмах, напоминающих то просительную ектению, то заклинанье, говорилось о борьбе «за Грецию и Рим» на улицах средневековой Варшавы. Эти стихи выдвинули Вежинского на первое место среди польских поэтов. Он продолжал писать и позже, потеряв родину и близких (см. сборник «Кресты и мечи»), и старался не прерывать разговор с польской аудиторией даже тогда, когда этот разговор превращался в сущности в беседу с несколькими, чудом выбравшимися из Польши людьми (см. «Разговор с приезжими» в сб. «Земля-волчица»). Еще позже и эта живая связь прекратилась.

Странствия продолжались: Испания, Бразилия, Северная Америка... Всё меньше понимая и принимая окружающее, не потому, что вокруг говорят «на непонятном языке» (Вежинский много путешествовал до войны и знает иностранные языки), а потому, что «мир попал в него бомбой» и всё стало чуждо и бессмысленно, поэт ищет спасения от страшной действительности. Он становится певцом прошлого, создателем новой поэзии «ночи и могил». Теперь мир преломляется для него уже не под «углом восхищения», а под углом воспоминаний, и свет из солнечного превращается в лунный. При луне поэт возвращается в прошлое, в чуждых очертаниях угадывает знакомые черты. К лунному свету, к месяцу, он обращается как к старому знакомому, «свидетелю всего дорогого в прошлом», «другу поэтов», «эмиссару Вильна», который один в силах воскресить легенды о героической борьбе Польши за свободу, а, может быть, и самое борьбу. Месяц теперь не только — «поэтический фон», как раньше, но действующее лицо, соучастник важных событий. Он, как показывают разнообразные и часто неожиданные метафоры, почти всегда одушевлен и динамичен: когда «из серебряной лейки серебряным маслом поливает залив», или принимает участие в бразильском карнавале в виде «золотого негра с лихорадочными глазами» или «оленем выбегает на небо». Господство лунного, ночного мотива в поэзии Вежинского этого периода напоминает романтическую поэзию начала 19-го века, в которой «ночная сторона души и мира» была одной из доминант. Смена поэтического ландшафта на ночной и лунный, заметная уже в первых зарубежных сборниках (особенно в «Розе ветров»), происходит окончательно в последнем сборнике «Мерка мака» (Лондон, 1951 г.), в котором

из общего числа 93-х стихотворений «ночь» и «луна» являются dramatis personae, фоном или временем действия в 53-х! Некоторые из этих стихов показывают, что поэт отдает себе отчет в своем «лунатизме». Иногда он отождествляет его со служением музе — «Диане с лунной ресницей», а себя с Эндимионом, которого она переносит в далекие другие миры. «Ночная сторона души и мира» и тесно связанное с ней вдохновение, уводят поэта от настоящего, с которым нельзя примириться, от отчаяния в «единственно-правдивый мир Орфея». И если в молодости Вежинский почти святотатственно восклицал: «Жизнь — это всё! Нету вовсе искусства!» (см. стих. «Безумный манифест»), то теперь в «Разговоре с Орфеем» («Kultura» за 1953 г.) он утверждает словами Орфея: «в мире — нет смысла, смысл — только в искусстве» и в поэзии видит «спасательную лодку», в которой можно переплыть «через все преграды и печали». Поэзии, живописи, музыке посвящены лучшие стихи сборника «Мерка мака», такие как «Баллада о Гайдне», «Зимний концерт», «Van Gogh», «Cézanne» и др. Впечатление от русских мелодий и живописи Марка Шагалла слились с личными воспоминаниями о России времен Великой Войны в «Русском романсе»:

РУССКИЙ РОМАНС

Вновь тебя видел я, вновь тебя видел,
Вдали ты быстро мелькала,
В окна-ль, в трубу-ль упорхнувшая птицей
Из захолустья глухого девица,
Панна воздушная Марка Шагалла.

Где ж это было? На ярмарке, верно,
В паноптикуме иль в балагане,
Или над Витебском, грустным безмерно,
Где-то за стойкой, при свечке сальной,
В шинке, в Рязани?

Да, это было в плену, в России,
Дым из трубы стлался сизый и синий,
Черемуха стыла — столб снега — у дачи,
Ты ж тонкой прядью дыма связала
В рифмы всех будней концы и начала,
Ожерелье своего бессилья,
Календарь неудачи.

И выла, я помню, унылая вьюга,
Когда человек так ужасно скучает[1],
Стихи ты писала в час долгий досуга,
О том, что нет выхода... радости... друга,
Что снег нескоро растает.

А за окном канарейка и клетка,
Скрипка вишневая, каждая ветка
Пела о скуке смертельной,
И паровоз уходил безвозвратно,
В мраке разбрызгав звездные пятна,
А расписанье висело на станции
За олеандром
Бесцельно.

И уплыла ты по воздуху смело,
Плавно раскинув свободное тело,
И разорвав календарь неудачи...
Рифмы опали тоской нежитейской,
Русской хандрой, нищетою еврейской
На крыши Рязани,
На Витебска дачи.

Видел я, видел, как сонная реешь,
Ветер же сыплет страниц твоих снежность,
Сыплет на скрипку и на прощанье,
На канарейку, на смерть-расставанье,
На цвет черемухи, на безнадежность...

И понял я, почему неуклонно
В окна-ли, в трубы ли маревом сонным
Ты в пустоту своей страсти бежала.
Багдад в паноптикуме приснился,
Ковер-самолет над Рязанью раскрылся
И в этом мире тебя не стало...

«Русский романс» довольно характерен для сборника и тематически и формально. Не имея возможности заниматься в этом кратком очерке формальным анализом стихов Вежинского, хочу отметить только новую напевность, новые ритмы, новое богатство эвфонических средств и неожиданно убедительных

[1] Эта строчка написана автором по-русски.

метафор, которые привлекают в последнем сборнике. Разносложные стихи с разнообразными ритмическими схемами, которые заменили традиционные для поэтики Вежинского восьми- и десятисложные ямбы, мастером которых он считался, восхищают своей музыкальностью, неожиданными рифмами или их отсутствием, четкостью коротких, пуантированных строк. Для иллюстрации — еще одно стихотворение последнего сборника, созданное в глуши штата Массачуззетс.

СВЕТ

Вышли серны, засмотрелись,
Пали росы, разгорелись,
Вот росинка — глаз колечка
Из алмазного сердечка,
А другая — изумруда
Мокрое, живое чудо.
Третья капля вниз упала,
Перепелкой убежала.

Вышли серны, в чаще скрылись,
Свет упал, лучи спустились,
Первый луч упал с заката,
Заалел, пропал куда-то,
А другой — Бог весть откуда —
Осушил глаз изумруда;
Третий луч сел у окошка
И задумался немножко.

И целый день смотрелся в мглу,
Навстречу мраку, горю, злу,
И спрашивал: зачем я тут,
В доме, где будто не живут,
Зачем смотрю я за окно,
Где одиночество одно,
В тоску, в неволю...
Дайте волю!
Во мне ведь собственный есть свет.
И скрылся в поле.
Следу нет.

Тогда ты к счастью
Зажгла нам лампу,
На окно ее поставила,
И вновь — светло.

Поэзия Вежинского в ее теперешней фазе представляется мне пронизанной лунным светом, который проникает сквозь мрак «ночи и могил», отчасти восстанавливая старый мир, отчасти создавая новый, идеальный, давая поэту возможность творить, т. е. жить. Вежинскому как-будто открывается теперь другая истина, что можно не только «выпросить поэзию у жизни», как он думал в молодости, но и наоборот — у поэзии выпросить жизнь... Порукой успеха является бескорыстное и вдохновенное служение Вежинского искусству, любовь к прекрасному, оказавшаяся сильнее любви к миру и человеку, и врожденная, созидательная гармоничность, которая всегда помогала ему находить le mot juste и превращать почти неуловимые впечатления и настроения в классически законченную поэзию.

Зоя Юрьева

РАЙ

Как себе ты представляешь рай,
Праведных блаженные селенья?

Так, по-детски, просто: Это — край,
Где целуются, едят варенье.
Где никто уроков не зубрит,
Не боится ничего, не плачет.
И у всех всегда довольный вид...

Ну, а мне он грезится иначе:

Мельница. Заснувшая река.
Ровный свет — ни яркий, ни холодный.
Лодка так стремительно легка.
Я скольжу, как тень по глади водной.
Кто-то ждет меня в пустом саду,
Где сирень, костер и лай собачий,
Как тогда, в семнадцатом году,
В белой мгле, под Нарвою, на даче.

Владимир Злобин

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Как бы ни относиться в настоящее время к творчеству Брюсова, — одно следует несомненно признать. В свое время он являлся значительным новатором в области русского стихосложения и его особой немало интересовались как собратья по перу, так и просто досужие люди. При чем рассказывалось много вздора и небылиц. Постараюсь сообщить в моих воспоминаниях лишь то, что память сохранила, как подлинное.

Дед В. Я. Брюсова Кузьма Андреевич был крепостным графа Брюса, у которого много лет состоял буфетчиком. Года за два до освобождения крестьян, он выкупил себя и жену у барина и переселился из провинции в Москву, где занялся торговлей пробками. По его смерти, семье Брюсовых достался дом в Москве, на Цветном Бульваре, и тысяч 200 капиталу.

Сын Кузьмы Андреевича, Яков Кузьмич, отец поэта, в смысле коммерческой деловитости мало чем напоминал отца. Полный, небрежно одетый, с всклокоченной рыже-серой бородой, он просиживал целыми днями за старинным письменным столом, на котором в беспорядке стояли остатки закусок и, неизменно — бутылка коньяку. Яков Кузьмич проводил время за чтением «Русского Богатства», «Русской Мысли» и других толстых журналов. Изредка вместо журналов появлялся какой-нибудь новый французский роман. По вечерам Яков Кузьмич чаще всего раскладывал пасьянсы.

Как передавали, Кузьма Андреевич мечтал в свое время сделать из сына достойного себе преемника по делам. Дал ему достаточное образование и всячески старался заинтересовать его своей торговлей. Из этих попыток вышло мало толку. На Арбате, например, был открыт магазин оптических принадлежностей и Яков Кузьмич был поставлен во главе этого дела. Но оно окончилось полным крахом. Яков Кузьмич являлся поздно в магазин, и уходил задолго до его закрытия. Дорогой товар исчезал. Касса пустовала. А тут вскоре и скончался Кузьма Андреевич, и Яков Кузьмич перешел на спокойную жизнь «рантье», получая свою долю процентов с капитала, который согласно воле Кузьмы Андреевича, должен был оставаться неприкосновенным до смерти Якова Кузьмича. И лишь тогда

всё состояние было разделено поровну между внуками. Дом же поступил в собственность Валерия Яковлевича и его брата Александра.

Яков Кузьмич, во времена своей молодости и к великому огорчению отца, торговле предпочитал общество свободомыслящей, революционно настроенной молодежи, в стиле героев Тургенева и Достоевского. Был он также постоянным посетителем «Кружка», основанного П. Боборыкиным. Там он познакомился с Матреной Александровной Бакулиной, на которой и женился. Брак этот не принес радости отцу. А мать, Марфа Никитична, особенно огорчалась тем, что невеста сына — стриженая. Впрочем, в те годы, когда я с ней познакомилась, Матрена Александровна была обыкновенной пожилой дамой, с лицом властным и умными черными глазами. Иногда она была приветлива и разговорчива. В такие минуты она нередко вспоминала прошлое, и с увлечением рассказывала о «Кружке» Боборыкина. Как я уже сказала, посещался этот «Кружок» молодежью, преимущественно левой. По всей вероятности, создавая этот «Кружок», Боборыкин, человек образованный и не партийный, ставил себе целью — хотя отчасти отвлечь юных бунтарей от ограниченного мира бомб и кружковщины. Во всяком случае, по словам Матрены Александровны, там устраивались лекции на литературные темы, которые чередовались... с танцевальными вечерами.

Матрена Александровна почти не занималась хозяйством, читала те же журналы, что ее муж, и так же любила французские романы. От былых увлечений вольнодумством у нее, в сущности, сохранилось одно: она никогда не ходила в церковь, и в ее доме священников не принимали. У Якова Кузьмича и Матрены Александровны было пятеро детей: 2 сына и 3 дочери. Валерий Яковлевич был любимцем матери и старшим сыном (род. в 1872 г.).

Впервые я увидела Валерия Брюсова 25-летним, довольно мрачным студентом Московского Университета (историко-филологического факультета), когда ему оставалось сдать лишь государственные экзамены.

В «большой квартире» у Матрены Александровны проживала ее сестра — тетя Саша. Очень старенькая, болезненная и совсем не похожая на Матрену Александровну. Была робкой и очень набожной. Однажды у нее сломались очки, и она попросила меня прочесть в одной из московских газет (не помню, в какой именно) заметку о сборнике стихов Брюсова: «Me eum esse». Помню, что критик был беспощаден, и молодому поэту досталось даже сверх заслуг: сплошная ругань.

Когда я кончила читать, тетя Саша, говоря о Матрене Александровне сделала такое неожиданное заключение:

— Трушенька сама виновата. Распустила его с малолетства. Еще мальчишкой был, — а карманы всегда набиты деньгами. Делал, что хотел. Никто не смей слова сказать. И в гимназию-то не каждый день ходил... А уж студентом стал, то заняли вместе с отцом отдельную квартиру. Греха-то там что было! Дворник-то небось всё рассказывал. Пьянство, непотребство! Ночами напролет... Ну, и написал теперь книжечку! Тфьу!.. А ведь каким умненьким был ребенком! Всем интересовался. Картинки как любил!.. Была у нас такая большая книга, — Брэма, что-ли? Там всякие звери были. Так дашь ему, бывало, эту книгу, — он так тихо сидит: всё рассматривает. Особенно любил тигров. «Я, говорит, хочу быть тигром. Он — самый сильный, и ничего не боится». А то к отцу, к матери пристает: «Купите мне тигра». Эх, думала, из этого будет толк: какой-нибудь дельный ветеринар. Ан, судьба-то как повернулась, — книжки безобразные стал сочинять!

Окончил Валерий Яковлевич гимназию Поливанова, славившуюся как очень передовой постановкой преподавания, так и блестящими преподавателями. Учеником был неплохим, но, как говорили его товарищи, — с большим задором, и довольно часто вступал в спор с преподавателями, которые его недолюбливали.

В 1897 году (если не ошибаюсь) молодой поэт блестяще сдал государственные экзамены, и в том же году женился на моей сестре Иоанне Матвеевне (урожденной Рунт). Помню Валерия Яковлевича женихом. Худой, хорошего роста с черной бородкой, одетый без франтовства; по внешности он скорее походил на трудовика, чем на поэта. Только в блеске больших черных глаз, недружелюбно смотревших из-под густых бровей, было чуточку безумия. Говорил четко, строго, порою — резко.

Помнится, мне, 13-летней девочке, захотелось блеснуть перед поэтом, и я заявила ему:

— А я люблю читать Надсона...

Губы его искривились нехорошей, меня испугавшей улыбкой.

— Да? Это понятно. Надсона читают кролики и глупцы.

Я ушла и расплакалась. А, ложась спать, горестно шептала: «И кумир низведен с пьедестала»...

За любимого тогда поэта мне и раньше доставалось. Но главным образом за то, что Надсона я предпочитала французским и немецким глаголам. Но то были скучные рассужде-

ния обыкновенных взрослых. Тут же прозвучал суровый приговор из уст настоящего поэта...

Впоследствии я привыкла к неожиданным «выпадам» Валерия Яковлевича. Была в его характере какая-то потребность огорошить, потрясти слушателя. И, главным образом, любил задевать людей робких, сдержанных. Впрочем большинству людей предпочитал одиночество. Часами мог просиживать за письменным столом, то роясь в огромных словарях, то увлекаясь книгой нового поэта, то с охотнической настороженностью вылавливая опечатки в гранках. Умел настоять, чтобы в часы его работы в квартире была тишина. Даже посуду не ставили в буфет, когда Валерий Яковлевич сидел за работой.

Тут, справедливости ради, мне приходится опровергнуть заявление С. В. Яблоновского, утверждавшего, кажется на столбцах Н. Р. С., что Брюсов состоял на службе в каком-то страховом обществе. Ни одного дня, ни одного часа в дореволюционной России Валерий Яковлевич нигде не служил, если впрочем не считать журналов «Весы» и «Русская Мысль», где он, в разное время, за месячный оклад, исполнял чисто-редакторскую работу. Средства на жизнь Брюсов получал регулярно — с дома, а случайно — в виде гонораров за литературный труд.

Служить В. Я. не только не был вынужден, но просто и не мог бы по своему характеру. Он избегал и не любил обыкновенных средних людей. Они мешали ему сосредоточиться, уходить в себя, уноситься в свои «брюсовские грезы». И этого он не скрывал, становясь несдержанным, и часто приходя в непостижимую ярость.

Старая нянька, давно жившая в доме, однажды сказала мне по этому поводу:

— Прямо дьявол какой-то, прости Господи! Недаром мамаша-то стриженая ходила, когда он родился.

Впрочем, в исключительных случаях В. Я. умел быть и внимательным, и общительным. Прежде всего — со своей сестрой Надеждой Яковлевной. Так же, как и Евгения Яковлевна, Н. Я. училась в Московской консерватории по классу фортепьяно. У обеих сестер преподавателем был В. И. Сафонов. А Н. Я., кроме того, у проф. С. И. Танеева изучала контрапункт.

Н. Я. была едва ли не самой изумительной личностью, которую мне когда-либо довелось встретить. Наружностью она очень напоминала брата, Валерия Яковлевича. Те же темные густые брови, те же жгучие глаза, та же прямая, сухая фигура. И та же устремленность в движениях, та же изысканная четкость в словах. Только в глазах у Н. Я. светилась ласковая доброта,

совершенно чуждая ее брату. Н. Я. была на редкость образованным человеком. Нередко можно было застать ее за книгой Платона или иного греческого философа, которого она читала в подлиннике с такой же легкостью, как любой французский роман. Просто невероятна была та неутомимость, с которой Н. Я. была занята с утра до вечера. То просиживала часов по пяти у своего Бехштейна за фугами или за исполнением классиков, то посещала консерваторию, то давала уроки, то читала серьезные книги. Я долго знала и очень любила Н. Я., но никак не могла решить, ушла ли она в свое время сознательно от христианства, или никогда не удосужилась дойти до него. Не проявляя ни малейших внешних признаков христианства, Н. Я., во всех помыслах и поступках, была преисполнена идеями некоего высшего гуманизма.

По своим личным средствам, Н. Я. могла бы, по окончании занятий, уезжать на отдых за-границу. Но она редко поступала так. Большею частью, приблизительно в середине июня, Н. Я. одевалась в скромное ситцевое платье, покрывала голову платком и, с мешком за спиной, отправлялась на Север. В мешок, кроме смены белья и мелочей, неизменно укладывался некий зародыш пианино — деревянный ящик с клавиатурой, октавы на 2 — 3, а сбоку — резиновая трубка для надувания. Инструмент этот был необходим для ежедневного упражнения пальцев, и назывался он в шутку: «бэби-пиано».

Месяца на два исчезала Н. Я., посещая на Севере города, селения, монастыри. Всюду знакомилась с остатками старины, с уцелевшими обычаями, с занятными странниками: кооператорами, монахами, сектантами, анархистами, раскольниками. Некоторые из них приезжали к ней потом в Москву и привозили редкостные дары: то старинную вышивку, то расписной туес, полный морошки. Немало среди этих посетителей было лиц, по внешнему виду напоминавших бродяг. Н. Я. неизменно ласково принимала, угощала, расспрашивала их. Нередко одаривала деньгами или вещами.

Навсегда сохранился в памяти такой случай.

У Н. Я. сидит за столом и жадно что-то ест брюнет в отрепьях. Молодой, лет 30-ти. Черные огромные глаза, посиневшие щеки.

Стояли трескучие январские морозы. Повидимому, гость очень промерз, блуждая по московским улицам, и потому весь посинел. В комнату вбежала сестра Н. Я. — Евгения Яковлевна. Посмотрев на незнакомца, она по-французски сказала сестре:

— Бедняга! Вероятно, ему было ужасно холодно в пути... Но какие у него красивые глаза!

Каково же было удивление обеих сестер, когда бродяга, усмехнувшись и подняв на сестер взор, до тех пор опущенный, как у заправского монаха, в свою очередь заговорил на безукоризненном французском языке:

— Глаза — это ничто. Прекрасной должна быть душа.

Этот убого одетый, странный гость был поэт Александр Добролюбов. Про него мы узнали потом, что он происходил из вполне интеллигентной, не-бедной семьи. По каким то внутренним побуждениям, он бросил семью и привычную жизнь, забыл друзей, перестал думать о какой-либо карьере, и принялся бродить пешком по необъятной Руси.

Появилась в дверях старуха-нянька и вызвала Н. Я. в переднюю.

— Надежда Яковлевна, голубушка, а вы видели, в чем пришел «божий человек»-то? Пальтишко ведь на нем летнее. А говорил, что на Север пробирается. Да разве ему в этой одежонке дойти? Он и в Москве под первым забором замерзнет...

Н. Я. сразу всё сообразила и приняла решение:

— Позовите дворника.

А затем прибежавшему дворнику подала пачку рублей!

— Егор, сбегайте на Сухаревку и купите хороший, теплый тулуп.

Сухаревка была тут-же, и дворник быстро исполнил поручение.

А потом, в передней, провожая гостя, Н. Я. с милым смущением говорила:

— С вашим пальто произошло несчастье. Оно... сгорело... по вине горничной, топившей печь. Извините нас и не откажитесь взять взамен вот это...

Пример, приведенный мною, — один из сотни, мне известных.

Н. Я. никогда не говорила об этой стороне своей жизни и ничем не уподоблялась тем скучным и самодовольным филантропам, которые не переводились в Москве, и которые любили поговорить о своих добрых делах, — кто с пафосом, а кто — со смирением. Театр, концерты, выставки, литературные «Среды» у брата, вечера «Свободной Эстетики» (основанные моей сестрой Иоанной Матвеевной), — вот тот внешний мир, которым она, казалось, исключительно жила.

Было еще, впрочем, время, когда Н. Я. открыла у себя бесплатные курсы по теории музыки для совершенно особых

слушателей. По воскресным вечерам, к искреннему возмущению прислуги («Посмотрите, на что похож паркет!»), в «большой» брюсовской квартире появлялись юные подмастерья из плотников, булочников, слесарей, а также молодые служанки, портнихи и т. п. Всё это размещалось в зале, вокруг концертного Бехштейна, и Н. Я. преподавала своим «пролетарским» слушателям сложную науку о ритме и мелодии. Состояла-ли Н. Я. в ту пору в конспиративной связи с подпольной партией большевиков, — я не знаю. Об этом она никогда не говорила, Но, при воцарении большевиков, она оказалась в большой дружбе с О. Д. Каменевой и, стала директором Московской Консерватории.

Вот к этой своей сестре В. Я. относился совсем по особенному. Без малейшей позы, без иронии, без задора. За долгими беседами, испещренными греческими и латинскими цитатами, за чтением стихов (иногда тоже греческих) брат и сестра проводили часы. В. Я. казался робким, несмелым. Можно было подумать, что он был младшим: так внимательно и учтиво вслушивался он в слова сестры, даже в том случае, когда она позволяла себе критиковать некоторые из его стихов. Чего, вообще говоря, он не терпел от посторонних.

Был еще момент, когда с В. Я. спадала тога театральности, и он являлся очень обыкновенным, — даже посредственным человеком. Это — когда он садился с матерью, отцом и двоюродным братом за карты. Играл он много лучше своих партнеров, и им нередко доставалось от В. Я.. Так ясно слышу его возмущенный голос и вижу сердитый жест.

— Это при трех онерах? Какой же ты после этого винтёр? (Это отцу — за винтом).

А матери, за преферансом, бросая карты на стол, он укоризненно кричал:

— Ну, как же можно было назначать семь треф? Это — сумасшествие!

— А что бы ты сказал?

— Только «пас», — как всякий нормальный человек!

«Господи, и это — поэт!» думала я с отчаянием 14-летней девочки, когда пришлось впервые присутствовать в комнате, где происходила такая игра. «Нет, я уверена, — Надсон ни за что не мог бы дойти до такой пошлости!».

Брюсов, вероятно, умел быть и задушевным, и внимательным, и занимательным с теми дамами, за которыми ухаживал. Иначе — как объяснить те бесконечные телефонные звонки, настойчивые письма, которые приводили в отчаяние несчастную Иоанну Матвеевну? Не одними же стихами (порой замыслова-

тыми и не каждой понятными) привлекал Брюсов женские сердца, не переставшие трепетать еще долго после того, как поэт остывал?

Думается, что именно в этом таилась разгадка всех тех нехороших слухов и даже скандальных происшествий, которые связывались одно время с именем Брюсова. Неукротима была его натура, постоянно жаждавшая новизны, перемен. В сборнике «Зеркало теней» (1912 г.) есть у него стихотворение «Sed non satiatus»:

Что же мне делать, когда не пресыщен
Я — этой жизнью хмельной!
.....
Вновь я хочу всё изведать, что было...
Трепеты, сердце, готовь!
Вновь я хочу всё изведать, что было:
Ужас, и скорбь, и любовь!
Вновь я хочу всё изведать, что было,
Всё, что сжигало мне кровь!
Вновь я хочу всё изведать, что было
И — чего не было — вновь!

Было мне лет четырнадцать. Наш пансион, где я воспитывалась, гулял парами по Мясницкой. Перед переходом через улицу мы остановились и с любопытством рассматривали проезжавшую публику. Вдруг я вижу В. Я., нежно обняв даму в красной ротонде, мчится на санках мимо меня. Я радостно поклонилась. Он не ответил, т. к. не видел меня. Вскоре, при первом моем появлении у Брюсовых, стала я весело рассказывать В. Я., за чайным столом, об этом маленьком происшествии. Сестра вспыхнула и ушла из столовой. «Красная ротонда» оказалась — увы! — неоспоримой уликой. Иоанне Матвеевне была хорошо известна г-жа Ш., носившая такую экстравагантную одежду.

Раз и навсегда запомнила я укоризненные слова Брюсова:

— Разве о таких встречах рассказывают?

Потом он встал и ушел объясняться с сестрой.

Впоследствии, и при различных обстоятельствах, у меня случались «такие встречи». Но уже никогда более я не рассказывала о них сестре: у нее и без того было немало огорчений.

В Москве в ту пору встречалось достаточно дам, жаждущих, как и Брюсов, мимолетных, острых переживаний. Поэтому большинство романов у поэта завязывались и развязывались легко. Но был один роман, затянувшийся на долгие годы. Героиню назову г-жей Н.. К тому времени относится одно из

самых удачных стихотворений Брюсова «Антоний» (Сборник «Tertia Vigilia» 1900 г.) В нем поэт восторженно воспевает красавца-триумвира, который всей земной славе предпочел страсть к Клеопатре.

Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.
Когда одна черта делила
В веках величье и позор, —
Ты повернул свое кормило,
Чтоб раз взглянуть в желанный взор.
Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель за тебя!
О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!

С легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича, г-жу Н. в нашем интимном кругу прозвали «Египетской Кормой». С ней я почти не была знакома, но, по случайным встречам на лекциях и собраниях, помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее — неряшливости. Со слов молодых поэтов, посещавших «Египетскую Корму», роман проходил не гладко: сцены, истерики и бесконечные «послания, полные яду». «Египетской Корме» (с которой, как было известно, муж собирался разводиться), явно хотелось, чтобы ее Антоний кинул, наконец, всерьез свой корабль за ней. Иными словами, требовала развода и женитьбы. Но, отдав должное в звучных стихах безумцу Антонию, которым уже сколько веков восхищаются эстеты, поэт В. Брюсов упорно не желал следовать его примеру. Он по своему любил свой дом, налаженную семейную жизнь и тот порядок, при котором ему так хорошо работалось... Тогда г-жа Н. наметила еще одну жертву. То ли для утешения, то ли для возбуждения ревности «Антония», — она решила увлечь в свою волну Андрея Белого.

Это, как известно, — псевдоним. Звали его Борис Николаевич Бугаев. Был он сын профессора Московского Университета, в котором окончил два факультета: естественный и исто-

рико-филологический. В студенческой тужурке увидела я его впервые.

В ту пору был он красив редкой, прямо ангелоподобной красотой. Огромные глаза — «гладь озерная», необычайно близко поставленные, сияли постоянным восторгом. Прекрасный цвет лица, темные ресницы и брови, при пепельно-белокурых волосах, которые своей непокорной пышностью возвышались особенным золотистым ореолом над высоким красивым лбом. Б. Н. был необычайно учтив и хорошо воспитан.

Впрочем, эта воспитанность не мешала ему быть безудержно-разговорчивым. Говорить он мог без умолку целыми часами, и для него было неважно, в какой мере его слова интересны собеседнику.

Помнится, в ту первую встречу Андрей Белый поразил меня темой своего разговора. С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка, он принялся рассказывать о том, как его посещает Единорог, — давнишний его друг. И это отнюдь не было символическим наименованием какого-то человеческого существа. Нет, Б. Н. неоднократно подчеркивал: НАСТОЯЩИЙ Единорог. Вот возвращается Б. Н., по его словам, к себе в комнату. И в сумерках, на фоне окна, он ясно примечает: Единорог уже тут, и дружески кивает своим длинным, единым рогом. Начинается интересная беседа. Единорог, как всегда, «не приемлет» нашей жизни. Ссылается на Платона и приводит греческие цитаты. Б. Н. вступает в спор. Единорог, впрочем, не очень слушает. Он, как и сам Андрей Белый, предпочитает говорить. Как подлинный смысл жизни, приводит мудрость древних и призывает углубиться в «мир трансцендентальный».

Набравшись храбрости, я потом обратилась к Брюсову с вопросом:

Как вы думаете: Андрей Белый — нормальный человек?

— О, да... несомненно...

— А «единорог»?

В. Я. подумал и сказал:

— Б. Н. так привык говорить о нем. Он сам почти верит... И ему так удобнее...

— А вы?

— Мне тоже так удобнее... «Единорог» выбалтывает многое такое, о чем Б. Н. никогда не решился бы говорить.

А сестра, как старшая, поучала:

— Не забывай, что они оба — символисты.

И вот к этому философу и пророку направила свой путь

«Египетская Корма». И борьба двух обратилась в борьбу трех. Борьба нелепая, затяжная, с явными уклонами в сторону андрейбеловского кликушества. Но постепенно наступило прояснение, очень горестное для дамы. Трезвый Брюсов и исступленный Андрей Белый, в неожиданном единении, упорно отказывались плыть за «Египетской Кормой» к тихой пристани брака.

В одном из сборников Андрея Белого есть стихотворение, где он описывает своего приятеля-философа, прогуливающегося по кладбищу. Оно заканчивается так:

«Жизнь», шепчет он, остановясь
Средь зеленеющих могилок,
«Метафизическая связь
Трансцендентальных предпосылок!».

Пожалуй, в ту пору и сам Андрей Белый видел смысл жизни в такой же концепции. Но, повидимому, никакой метафизической связи не ощущал он между предпосылкой, заключавшейся в исступленности взбалмошной дамы и своим стремлением к свободе. Выручил и тут Единорог. Б. Н. так долго твердил настойчивой Прекрасной Даме, что по мнению потустороннего друга, Вечно-Женственное — это прежде всего бесплотность, — что она, наконец, потеряла терпение и вновь обратила свои взоры к былым горизонтам.

А когда я справилась у В. Ходасевича, бывавшего запросто у «Египетской Кормы», что поделывает Андрей Белый, — он остроумно ответил стихом того же поэта:

В небеса запустил ананасом!

Разгадывать этот символический код следовало так: от огромного (небесного) счастья отвернулся с каким-то утонченно-озорным жестом.

Постепенно и в кругу эстетически настроенных читателей Андрей Белый добился и признания, и успеха. Но по мере того, как выходили всё новые и новые сборники его стихов и два крупных романа в прозе: «Серебряный Голубь» и «Петербург», — интересный автор стал явно тускнеть. Перестал декламировать на цыганский лад свои стихотворения. Затем был надолго прикован к постели мучительными приступами ишиаса. Стал забывать об Единороге, а поэзия его облекалась в скромный и серый наряд:

Окна запотели,
На дворе — луна,
И стоишь без цели
У окна.

Ветер. Никнет, споря,
Ряд седых берез...
Много было горя,
Много слез...
И встает невольно
Скучный ряд годин.
Сердцу больно, больно.
Я один.

Раз в месяц, по средам, у Брюсовых собирались поэты. Рассаживались за чайным столом и, по предложению В. Я., кто-нибудь приступал к чтению своих стихов. По раз установившейся традиции, право критики предоставлялось Брюсову.

В тех случаях, когда выслушанные стихи казались ему совершенно ничтожными, он, после некоторого хмурого молчания, прямо обращался к следующему поэту, предлагая ему прочесть свое произведение.

Критиковал Брюсов строго, безапеляционно, но вместе с тем — очень толково, так что всякий, кто хотел этого, мог кое-чему и научиться. Мало кто решался вступать с ним в спор. Только А. Белый составлял, пожалуй, исключение. Впрочем, Б. Н. немедленно отходил от темы и ускользал в некий лабиринт философских изречений, перебивая и не слушая Брюсова. Так что до слушателей одновременно доносились слова (произносимые Брюсовым): «ямб, анапест, сонет, рифма, триолет» и (произносимые Белым): «постулат, трансцендент, феномен»...

Брюсов имел обыкновение, вслед за выступлением поэтов, обращаться к ним с призывом — не полагаться на вдохновение, но работать. Убеждал настойчиво и неустанно, что «стих» дается поэту неутомимому и требовательному. Приводил иногда Art poétique Буало: «Polissez le sans cesse et le repolissez». Но чаще всего давал пример Пушкина, которого ставил выше всех поэтов.

А иногда В. Я. вскрывал перед молодыми поэтами свою заветную мечту. Утверждал, что совершенно так же, как настоящим музыкантом нельзя стать без консерваторского образования, — подлинным поэтом невозможно сделаться без соответственной систематической учебы. А для этого необходимо учредить при университетах специальные кафедры по изучению поэзии и стихосложения.

На «Среды» приглашались, конечно, преимущественно поэты-москвичи: В. Ходасевич, Ю. Балтрушайтис, С. Соловьев, Андрей Белый, В. Гофман, Муни.

В. Ходасевича помню сначала гимназистом (учился вместе с братом В. Я. — Александром), а потом студентом. Болезненный, бледный, очень худой, читал он слабеньким тенорком довольно приличные стихи. За выдержку не по летам, за совершенно «взрослую» корректность товарищи-гимназисты прозвали его «дипломатом». Думаю, что таким он и остался на всю жизнь, что, впрочем, не мешало ему быть порою едкоостроумным. Помнится, Брюсова он поражал своим изумительным знанием материалов о Пушкине, его переписке, и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве, и что не доходило до широкой публики.

Бывал, в последние годы, на «Средах» и В. Маяковский. Этаким бесцеремонным верзилой шатался он целыми днями по Москве. Из кафэ в редакции, оттуда — по клубам и знакомым. Стихами своими пугал обыкновенных слушателей. Основным его занятием (и, как говорили, — единственным средством к существованию) была «железка». Производил впечатление не вполне сытого человека. Придя в гости, он жадно и без разбора поглощал всё, что стояло на столе. Бросал в огромный, беззубый рот пирожное, а за ним тут же — кусок семги, потом горсть печенья, а вслед за ним — котлету и т. д. Его друзья рассказывали, что одно время никакого постоянного места жительства у него не было. Где-то, кажется, — на Кавказе, он был исключен из 7-го класса гимназии, о чем сам говорил не без гордости. Сыпал дерзостями направо и налево. Очень часто острил удачно, но с неизменной наглостью.

Однажды, в присутствии Маяковского, Брюсов достал рукопись моего перевода Орсье «Агриппа Неттейсгеймский» и, среди прочих замечаний, сказал:

— А потом слово «который». У вас оно на каждом шагу. Этим словом нельзя злоупотреблять. Скажем, — раз или два на страницу, больше ни в коем случае.

— А как же Лев Толстой? Почитайте его прозу... — сделала я попытку защититься.

В. Я. пожал плечами и докторально сказал:

— Толстой — не критерий. Он имеет право не придавать этому значения... Не забывайте: quod licet Jovi, non licet bovi.

— А еще меньше — КОРОВЕ, — изрек Маяковский.

К Брюсовым он приходил в обыкновенном темном костюме. Но на разных вечерах и диспутах любил появляться в... широкой дамской блузе желтого цвета. Собственными ушами слышала я, как в лекторской Исторического Музея дежурный пристав уговаривал Маяковского пойти домой и заменить жел-

тую кофту более обыкновенной одеждой. Маяковский упорно отказывался. Живет далеко, к началу не поспеет.

Тогда пристав вынул из кармана 3-х-рублевую бумажку:

— Разрешите, г. Маяковский... передать вам... Пожалуйста, возьмите извозчика!

Маяковский милостиво принял деньги и исчез.

К диспуту он не явился. А люди, хорошо его знавшие, говорили:

— Ну, Володя не приедет. Наверняка, — в клуб отправился... попытать счастья...

Таким мы знали Маяковского до большевистского переворота, после которого он, с целым рядом молодых писателей, учредил Культурно-Просветительную Комиссию при Московской Чрезвычайке. Там устраивались, между прочим, шумные вечера революционной поэзии. О Маяковском поговаривали, что у него — очень крепкая, романтическая связь с молодой художницей, женой крупного чекиста.

Однажды зимой на улице мне привелось с ним встретиться. Он прямо изумил меня. И не столько роскошной шубой, уверенным и спокойным выражением побелевшего и пополневшего лица, сколько улыбкой блестящих, великолепных зубов.

Вероятно, он подметил это мое изумление, так как сразу брякнул:

— Вас удивляют мои зубы? Да... революция тем то и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые!

В самый разгар террора, один старый друг моей семьи, накануне отъезда в Германию со специальным эшелоном, пошел проститься с друзьями. У них на квартире он попал в облаву и был увезен в тюрьму. Всё дело было в ведении М. Ч. К., — одним из главных воротил был тот самый следователь, у которого проживал Маяковский.

Нелегко и неприятно это было. Но никто не брался помочь ни в чем неповинному человеку, и я решилась отправиться к Маяковскому, — просить его о протекции.

Стоял конец зимы. Кругом слякоть, понурые убого одетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице, а еще больше — в нетопленых квартирах. Голодали, жались в страхе, и мало кто спал по ночам. Создавалась всюду невыносимая, удручающая атмосфера.

Когда же передо мной открылась дверь в квартиру следователя Б-ка, я очутилась в совершенно ином мире. Передо мной стояла молодая дама, сверкающая той особой, острой красотой, которую наблюдаем у блондинок-евреек. Огромные,

ласковые карие глаза. Стройный, гибкий стан. Очень просто, но изысканно-дорого одета. По огромной, солидно обставленной передней носился аромат тонких духов.

— Володя, это к тебе — благозвучно позвала блондинка, узнав о цели моего прихода.

Вышел Маяковский. В уютной, мягкой толстовке, в ночных туфлях.

Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закурив, благосклонно выслушал меня. Причем смотрел не на меня, а на дорогой перстень, украшавший его мизинец.

Появилась очаровательная блондинка.

— Дорогая, — обратился к ней Маяковский, — тут такое дело... Только Ося может помочь...

— Сейчас позову его... Во всём её существе была сплошная радостная готовность услужить, легкая, веселая благожелательность.

Очень скоро она вернулась в сопровождении мужа. Небольшого роста, тщедушный, болезненного вида человек, с красноватыми веками. Лицо утомленное, но освещенное умом проницательных и давящих глаз. Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу.

С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания, Маяковский прибавил от себя:

— Очень прошу, Ося, сделай, что возможно.

А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала:

— Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтобы вашего знакомого освободили.

Б-к, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку...

С этого острова счастья, света, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного ménage en trois. Каждый член этого оригинального союза казался вполне счастливым и удовлетворенным. Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. Средь неслыханной бури, грозно разметавшей всё российское благополучие и все семейные устои, он неожиданно обрел уютный очаг, отогревший его измученную, ущемленную душу бродяги. И поэтому весть о самоубийстве Маяковского поразила меня.

Иногда появлялись на «Средах» и петербуржцы: Вячеслав Иванов с супругой, поэтессой Зиновьевой-Аннибал, маленький, похожий на француза М. Кузмин, Игорь Северянин, Гумилев и другие.

Запомнилось посещение Игоря Северянина. Высокий, до-

родный, несмотря на молодость; он держал голову с подчеркнутой самоуверенностью и произносил свои «поэзы» певучим, громким голосом. Выступил он с поэтическим комплиментом по адресу хозяина:

Вокруг талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь!..

(Заслышав эту оценку, сидевшие у стола съежились и стали исподлобья смотреть на поэта).

И только вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...

Но и «равный государь» был явно смущен. Вместо того, чтобы ответить своему гостю, как подобало бы, лестным экспромтом, Брюсов принялся рассуждать о том, что северянинское словообразование «грезофарс» («я поэзию жизни превращу в грезофарс») совершенно чуждо духу русского языка: ГРЕЗА-де слово русское, а ФАРС — французское. Северянин насупился и молчал. Когда же разговор перешел на чисто теоретические вопросы, — он стал прощаться.

Много позднее, во время революции, из Ревеля (тогда ставшего столицей Эстонии) от Северянина пришло письмо. В нем поэт просил В. Я. похлопотать для него о въездной обратной визе в Россию. Сообщал, что ему очень плохо живется, что он грустит и, вне России, не видит для себя выхода из прямо трагически создавшегося положения.

Брюсов ничего не предпринял и даже не ответил на письмо. А на мой недоумевающий вопрос, сказал:

— Он лучше сделает, если постарается уехать в Париж или Нью Йорк. Какие уж тут у нас «Ананасы в шампанском».

Незабываемое впечатление произвело на меня появление Гумилева.

Стоял ясный весенний день. С сестрой Иоанной Матвеевной сидели мы вдвоем за послеобеденным чаем. Из своего кабинета вышел В. Я., и не один. Оказалось, у него был гость, которого он и привел с собой. В подобном появлении не было ничего необычайного. Часам к 4-5 то и дело заходили литераторы, редакторы, и к ним все уже давно привыкли. Но появившийся в этот день гость оказался необыкновенным. «Гумилев», — представился он сам, как-то слишком самоуверенно. Всё в нем изумляло. Казался он как-то шире и выше обыкновенных людей. Происходило это, вероятно, от иного, не московского, и даже не российского покроя одежды. Разговор его тоже не был похож на то, что обычно интересовало писателей,

по будничному беседовавших между собой: технические ухищрения писательского ремесла, вопросы гонораров, печатания, стычки авторов с издателями. Гумилев, еще не получив своего стакана чаю, неожиданно и сразу заговорил о той буре, которая поднялась, когда он плыл в последнее воскресенье на заокеанском пароходе, об острове Таити, о совершенстве телосложения негритянок, о парижском балете.

Брюсову, видимо, не нравилась вся эта «экзотика», но не считая, вероятно, возможным перевести сразу разговор на профессионально-бытовые темы, не покидая чужих краев, он стал говорить о заграничных музеях и выставках... И тут нас всех поразила огромная эрудиция Гумилева. О всемирно-известных музеях он принялся говорить, как ученый специалист по истории искусств. О знаменитых манускриптах, — как изощренный палеограф. Мы прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские танцы?».

Осенью 1920 г. наступили грозные дни террора. Почти ежедневно мы слышали жуткие вести: расстрелян тот-то, арестованы те-то. Помню, однажды вечером нам пришли сказать: «Гумилев расстрелян». Упорно твердили о каком-то заговоре, в котором якобы участвовал несчастный.

У Гумилева есть одно стихотворение. В нем есть такие жутко-пророческие строки:

За то, что эти руки, эти пальцы
Не жали плуга, были слишком стройны,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Обманывали, были беспокойны...
За все теперь настало время мести...

Быть может, в этих стихах таится самое верное объяснение причин, вызвавших гибель Гумилева.

. . . . . .

Не только по родственным встречам знала я Брюсова. Уже взрослой, мне немало случалось работать под его строгим началом. В то время, когда В. Я. состоял литературным редактором журнала «Русская Мысль», я исполняла для него секретарские обязанности. Ту же должность занимала в журнале «Весы» при издательстве «Скорпион», где В. Я. был одним из главных редакторов. Под его редакцией вышел мой перевод д'Орсье «Агриппа Неттейсгеймский». Кроме того, по его поручению исполнялись мной те или иные переводы. Должна сказать, что в области русского языка и литературы он долгое время был моим учителем, очень требовательным и

столь же сведущим. Но помимо этой подлинной эрудиции, он обладал редким даром — заражать учеников тем восторгом, которым горел и жил. Русский язык любил он бережной любовью и поистине страдал, встречая в рукописях или книгах явные погрешности. С невероятной тщательностью относился ко всем фазисам печатания своих произведений. Когда готовилась его книга, он то и дело забегал в типографию и, радуясь, приносил оттуда свежие гранки. Корректуру держал всегда сам и к опечаткам был неумолим.

Помню такой случай. В. Я. предложил мне сверить с его поправками какой-то последний лист. Я исполнила это с наибольшей старательностью и спокойно вернула лист, в котором, по моему, всё было в исправности. Но через некоторое время В. Я. обратился ко мне с оттенком упрека в голосе:

— Сказали, что нет ни одной опечатки? А я нашел... И целых две. Текст набирается корпусом эльзевира, а две запятых попали из петита. Это недопустимая небрежность!

К 1918 году Брюсов (было ему тогда сорок шесть лет) сильно изменился в своем внешнем облике. Поседел, исхудал, часто хворал, и для возбуждения ослабевшей энергии, стал прибегать к героину.

Сестра И. М. была в постоянной панике:

— Чем питаться? Квартира холодная. Где взять топливо? Лекарство для мужа?

В. Я. утратил дух былого задора. С каждым днем становился пассивнее и безразличнее к окружающему. Былое оживление возвращалось к нему лишь в те минуты, когда он возился с 4-х-летним племянником Колей (оставленным «погостить» на короткое время Еленой Матвеевной, его матерью, поехавшей навестить мужа-офицера на Румынский фронт. Из-за невероятных революционных обстоятельств, отсутствие Е. М. затянулось на многие и многие месяцы. Затем отец Коли был арестован, и сестра Е. М., у которой появился новый ребенок, уступила просьбе Брюсовых, и оставила им Колю).

Однажды вхожу я в кабинет В. Я. и вижу, что Коля, в каком-то бумажном колпаке, вооруженный большим ножем для разрезания книг, изображает дикого охотника.

— Количка, а где дядя Валя?

Мальчуган разводит ручонками.

— Его нету...

А потом, хитро подмигнув, показывает под стол. К неописуемому изумлению, вижу: там, скорчившись, на четвереньках, стоит В. Я..

А Коля заговорщическим шопотом поясняет:

— Это — тигр. Я его подкарауливаю.

Целыми часами просиживали вдвоем престарелый поэт и краснощекий бутуз.

В. Я. читал ему Пушкина, рассказывал сказки. А то, склонившись над толстой книгой Брэма, они вдвоем любовались зверями.

Иногда В. Я. отбирал из своей богатой библиотеки две-три книги в изящных переплетах и отправлялся на Сухаревку. Оттуда, продав за бесценок книги, возвращался с сахаром, белыми булочками или яблоками для Коли.

А Иоанна Матвеевна, при содействии старой кухарки Аннушки, сбывала на рынке «всё лишнее» из одежды, посуды, обстановки... Потом пекли хлеб, варили кашу.

Как почти у всех в это время, у Брюсовых создавалась очень тревожная, неуютная жизнь, начинавшая смахивать на настоящую нищету.

Брюсов не разделял всеобщего возмущения наступившей хозяйственной разрухой. Порой казалось, что всё это его даже занимало. Недаром, в свое время, им было написано:

Прекрасен в мощи грозной власти
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый челн.

В первые годы революции дом Брюсовых опустел. Изредка забегал кое-кто из старых знакомых — с недобрыми, мрачными вестями. Брюсов почти не выходил из дому. Да куда было итти? Литературно-художественный кружок был занят красноармейцами, редакции закрылись, типографии и бумага были реквизированы большевиками. А дамы, жаждавшие когда-то бурных встреч, поисчезали кто — на юг, кто за-границу.

Кажется, в 1921 г. у Брюсова произошли две встречи: с Луначарским и Троцким. И с тем, и с другим он, в свое время, познакомился за-границей, куда ему не раз случалось ездить при «старом режиме».

Но прежде должна рассказать об одном событии.

Как-то, в мрачное осеннее утро, в квартире Брюсовых раздался резкий звонок, и в переднюю ввалилась группа: немолодая, решительная баба и несколько рабочих. Сразу тычат ордер из местного Совета Рабочих Депутатов — на реквизицию.

— Тут у вас книги имеются. Покажите.

Ввалившуюся компанию повели в кабинет.. Баба безостановочно тараторила:

— Подумайте — столько книг! И это — у одного старика! А у нас — школы без книг. Как тут детей учить?

Компания переходила от полки к полке. Время от времени кто-нибудь из «товарищей» вытаскивал наугад какой-нибудь том. То выпуск энциклопедического словаря, то что-нибудь из древних классиков. Одного из незваных посетителей заинтересовало редкое издание Дон-Кихота на испанском языке. Все принялись рассматривать художественно исполненные иллюстрации. Потом баба захлопнула книгу и с укоризненным пафосом произнесла:

— Одна контрреволюция и отсталость! Кому теперь нужны такие мельницы? Советская власть даст народу паровые, а то — и электрические... Но всё равно: эту книгу тоже заберем. Пущай детишки хоть картинками потешатся... Вот что, гражданка (это сестре И. М-не). Завтра пришлем грузовик за всеми книгами. А пока... чтоб ни одного листочка здесь не пропало. Иначе придется вам отвечать перед Революционным Трибуналом!

Супруги Брюсовы стояли в полном оцепенении.

Когда Аннушка захлопнула дверь за неожиданными посетителями, она вернулась в кабинет:

— Барыня, а вы бабу-то не узнали? Да ведь это прачка Дарья. Помните, у ней всегда столько белья пропадало? Еще покойная Матрена Александровна хотели на нее в суд подавать! А вы, барин, не убивайтесь. Неужели на такую прачку не найтить коммуниста покрупней? Да я бы на вашем месте к самому Ленину пошла!

Иоанна Матвеевна снова пришла в себя:

— Аннушка, пожалуй, права. Только не к Ленину, а к Луначарскому следует обратиться... Неужели отдать без боя все твои книги этой прачке?

Потрясенный всем происшедшим, очень бледный, стоял Брюсов у своих книг, и машинально раскладывал всё по прежним местам. Он так любил свои книги! Годами собиралась его библиотека. Были в ней редкостные, дорогие издания: их не сразу удавалось приобрести, и ими он так дорожил... После обеда он позвонил Луначарскому. На следующий день — ни жуткой бабы, ни страшного грузовика.

А вечером В. Я-ча посетил сам нарком.

На той же неделе В. Я. получил приглашение к Троцкому. Вероятно, оба коммуниста звали его работать с ними. При чем у Троцкого, повидимому, было «чисто-дипломатическое»

соображение. Привлечением в их стан крупного писателя доказать Европе, что коммунисты не такие варвары, как их изображают. А Луначарский пустил в ход более ловкий маневр. Он прямо явился с предложением — основать кафедру поэзии и стихосложения при пролетарском университете. А это ведь было заветной мечтой Брюсова, и он, без долгих колебаний, ухватился за предложение.

Вскоре после этого захожу к Брюсовым и застаю всю семью на кухне. Сестра и Аннушка раскладывают на столе только что полученный «паек». Огромная бутыль подсолнечного масла, мешок муки, всевозможная крупа, сахар, чай, кофе, большой кусок мяса. У Коли в каждой руке по яблоку. Аннушка сияет и любуется, — по тому голодному времени, — невероятным богатством.

— Ну, поживем за этим царем, — одобрительно говорит она.

Брюсов нахмурился:

— Нечего вздор молоть. Лучше приберите всё это... а то всякий народ тут к вам ходит...

И ушел к себе.

Записан ли был уже тогда он в коммунистическую партию, — не знаю. Об этом у них никогда не заговаривали, а спрашивать я не решалась.

Но почти каждое утро у подъезда его ожидал реквизированный Моссоветом извозчик, на котором В. Я. уезжал в Лито. Там происходили заседания, и там Брюсов выступал с лекциями о поэтическом творчестве.

Опять вокруг него зашевелились люди, но иные, не прежние. Случалось, по вечерам он посещал литературное кабарэ, в одном из переулков на Тверской. Толпились там и старые знакомые, вроде В. Шершеневича, братьев Бурлюков, Маяковского. Но много попадалось и новых, из которых не помню никого, кроме Есенина и Кусикова.

Когда там устраивались литературные вечера — в облаках дыма, при диких выкриках пьяных и под неумолчный звон тарелок и стаканов, — в программе значился иногда и Брюсов.

Среди толстовок, косовороток и солдатских шинелей, на фоне пролетарских, по-молодому дерзких физиономий, он, в приличном костюме старых времен, с увядшим лицом и седой головой, являлся мучительным диссонансом. Голос, бывший когда-то внушительным и громким, глухо и невыгодно звучал наряду с молодыми басами и тенорами.

Некая молодая поэтесса А. неизменно присаживалась к его столику. Бледная, худая, одетая более чем скромно. Слу-

чалось встречать их вдвоем и в иных местах. Что могло их соединить? Его, вероятно, по старой привычке, тянуло поухаживать, еще и еще раз прочесть в женских глазах то обожание и то внимательное понимание, без которых он когда-то не мог жить («Это — надгробные нении в память угасших любовей»). А ее? Должно-быть ей льстило имя, ей импонировало то, что у ее поклонника, знаменитого поэта, — определенное общественное положение и хорошее место. Кроме того, — думается, — что значительную роль в то голодное время играла и щедрость кавалера, платившего и за ужин, и за вино.

Как и в прежние времена, Брюсов, если не был болен, исчезал из дому по вечерам.

Вернулся и к писанию стихов, — впрочем, их содержание оказывалось всё более и более «созвучным эпохе». Ведь недаром было им еще в 1896 г. написано «Последнее желание», которое заканчивалось так:

Иль в городе, где стены давят,
В часы безумных баррикад,
Когда мечта и буйство правят,
Я слиться с жизнью буду рад!

Не думаю, что с радостью, но «слиться с жизнью» старался. Помогало, конечно, виртуозное владение техникой стихосложения. Но всё же стихи того времени порой переставали быть брюсовскими, и начинали подозрительно напоминать Маяковского:

Ах, не так ли Египты, Ассирии,
Римы, Франции, всяческий бред, —
Те имперней, те утлее, сирее, —
Все в былом, в запруду, в запрет.
Так в великом крушеньи (давно ль оно?)
Троны, царства, империи — вдрызг!
Где из прежнего моря дозволено
Донести до сегодня лишь брызг.

Эй, Европа, ответь, не комете ли
Ты подобна в огнях наших сфер?
На созвездье Геракла наметили
Мы, стяг выкинув Эс-эс-эс-эр...

Но так как эти «новые» стихи украшались, по старой традиции, метафорами из истории, географии, философии и мифологии, то, конечно, никакой пропагандной цели в рядах пролетариата они достичь не могли. А в глазах матерых коммунистов по этому самому Брюсов не являлся особенно ценным приобретением.

В июле 1923 г. мне, наконец, удалось добиться права покинуть Россию. Очень больно было расставаться с Иоанной Матвеевной. Ее постоянная энергия и мужество явно начинали сдавать. Я знала, что при всех бурях и невзгодах своей личной жизни, она верила, что с годами пройдет пора увлечений и соблазнов у любимого мужа, и что с его преклонным возрастом, она, наконец, достигнет давно желанной пристани счастья. А также — награды за то долгое безропотное и редкостное терпение, с которым она помогала во всем мужу. Теперь же она увидела, что и этой последней мечте не суждено будет исполниться.

В. Я., проведший перед этим большую часть зимы в постели, снова лежал с тяжелым бронхитом. С нелегким чувством зашла я к нему проститься. Была мучительная уверенность, что это прощание будет последним. В руках у него была книга И. Тэна «История французской революции». В. Я. очень тронул меня. Несмотря на частые приступы кашля, он был наредкость разговорчивым, и всё — в тонах редкой сердечности:

— Что-ж, уезжайте... Это правильно... Вы там устроитесь: вам еще немного лет. Вот для меня такой опыт был бы уж невозможен. Только на первое время вам лучше держаться подальше от литературы... от прессы. Сейчас за-границей два резко-противоположных лагеря. В одном — то же, что и тут. Но не думайте, что в другом — лучше: подозрительность, озлобление, безденежье! Помните книгу Эрнеста Додэ «Кобленц»? Такова была французская эмиграция. Но и наша окажется ничуть не лучше, если не хуже... Вы не принадлежите ни к тому, ни к этому лагерю... Выжидайте... пока не наступят иные времена...

Тут он так сильно раскашлялся, что из соседней комнаты прибежала сестра — поить его каплями. На дорогу он подарил мне довольно толстый альманах, вышедший несколько лет перед тем. Проза и стихи. Но так как на вывоз этой книги у меня не было официального разрешения, то при переезде через границу, ее у меня отобрали таможенные чиновники. На заглавной странице рукою В. Я. было написано:

Как лист, в поток уроненный, я отдаюсь судьбе,
И лишь растет презрение и к людям, и к себе.

Брюсов прожил еще около года. Состояние надорванного, усталого организма то слегка улучшалось, то принимало еще более угрожающую форму.

В 1924 г. я получила от сестры из Москвы роковую телеграмму: Брюсов умер.

Б. Погорелова

ПО СОВЕТСКОЙ ПРОВИНЦИИ

В январе 1941 года ко мне, за город, неожиданно приехал писатель Давид Хаит — коренастый, рыжий, с белыми ресницами, с грубыми чертами лица. Несколько его книг напечатало издательство «Недра». В годы нэпа ему были открыты двери всех газет и журналов. Наше знакомство было шапочное. Поэтому в первый момент его визит ко мне был непонятен. Но сразу же всё разъяснилось.

— Не удивляйтесь, — сказал, входя, Хаит, — о вас идет молва, как о хорошем чтеце, а в советских условиях это — деньги. Предлагаю вам поехать вместе со мною на одну из окраин. Вас вероятно интересует, какие таланты у меня, как чтеца? Конечно, неважные, но эту третьесортность я буду компенсировать организационной работой.

Я охотно дал свое согласие. Стали думать, куда поехать, какие районы еще «не обслужены литературными выступлениями». Хаит принес с собой большую карту Советского Союза. После всестороннего ее изучения мы решили двинуться на Северный Кавказ, начав с Краснодара. Через день выехали. Денег с собой захватили в обрез, надеясь быстро подработать на месте устройством ряда вечеров. Предчувствия у Хаита были радостные.

Приехали в Краснодар. На улицах слякоть. Идет мокрый снег. О номере в гостинице нечего было и думать: за многолетние путешествия по Советскому Союзу никогда не удавалось получить хотя бы малюсенькую отдельную комнатку: вечно всё занято. Хорошо, что в каждом, даже захудалом городишке, есть «Дом крестьянина», или, попросту, постоялый двор. Там всегда можно получить койку в общежитии. Но все ли представляют себе, что это такое? Койки стоят близко друг к другу. От одного соседа пахнет потом, другой храпит, третий кричит во сне. Вентиляция плохая. Курить не полагается, но люди курят, кашляют. Хождения в уборную в продолжение всей ночи.

Краснодарское общежитие — человек на 40. Заснуть не могу от звуков, запахов и грустных мыслей: «как мало нужно человеку для радости и покоя, но у советского человека и

этого нет». В довершение всех бедствий — клопы, неизбежный бич всех советских общежитий. Хаит похрапывает, а я ворочаюсь с боку на бок.

Утром все вещи нужно сдавать в камеру хранения. Перед ней очередь. Всё неспрятанное под замок исчезает. И опять делается грустно: почему страсть к воровству так развилась в последние годы? Ответ один: потому, что нигде ничего нет. Вспоминается пятиведёрный самовар в буфете, на станции Рузаевка. Вы подходите, просите чаю. Вам наливают стакан, кладут сахар, мешают, но чайной ложки не дают. А если сахар не размешался, вы должны подойти к одной единственной ложке, привязанной к буфетной стойке стальной цепочкой. Анекдотично, но факт. Почему додумались до этого? Потому что все ложки разворованы.

После завтрака в общественной столовой мы с Хаитом идем в культпросвет областного Совета. Знакомимся с заведующим — флегматичным молодым человеком. Когда сказали, что решили «обслужить литературными выступлениями окраину», заведующий с гордостью ответил:

— Не думайте, что у нас нет своих писателей... Есть и романисты, и драматурги, и поэты...

— Так, значит, мы по вашему приехали зря? — спросил Хаит.

— Нет, попробуйте что-нибудь устроить, но имейте в виду: сейчас ни один клуб не располагает средствами для культурно-просветительной работы: по распоряжению правительства введена самоокупаемость. Вывешивайте афиши, делайте объявления, продавайте билеты. Прежняя масляница кончилась. Бывало завклубами не знали, куда девать деньги, а теперь не знают, где достать хоть рубль....

С невеселым чувством вышли мы из культпросвета. В какой клуб толкнуться?.. Знают ли нас в этом городе, как писателей? Мы, правда, захватили все свои книги, но ведь не будешь их показывать каждому встречному и поперечному: «Вот, смотри, из Москвы приехали, приходи на наш вечер»... Пошли в самый большой клуб железнодорожников: «Кор». И здесь администрация встретила нас холодно и недружелюбно. Но всё же договорились о выступлении через три дня. Вывесили у входа большую красочную афишу, нарисованную еще в Москве. Все три дня жили в тревоге. Хаит истратил все свои деньги и занял пятерку у меня. Вместо завтрака, обеда и ужина он ограничивался чаем с хлебом.

Но наконец настал вечер нашего выступления. Как и в день приезда, шел мокрый снег. Это не предвещало ничего

хорошего. Пришли в клуб за час до начала. Огромный, неуютный зал. Холодно. Пустынно. Страшно. Ждем публику, а публики нет. К половине 9-го собралось 7 человек. Хаит всё-таки настаивал на выступлении. Отозвав меня в сторону, он говорил:

— Помещение бесплатное. Выручку разделим пополам. Три с полтиной в нашем положении — большие деньги. У меня уже кружится от недоедания голова. Чем будем платить за «Дом крестьянина»? А если провалятся все вечера, как доберемся до Москвы?

— Не будем себя унижать, Давид Маркович. Поверьте: выступление перед семью слушателями страшнее безденежья: о нас пойдет по городу слава, как о нищих, которые рады каждой копейке.

А что же делать?

— Надо что-нибудь придумать.

— Легко сказать «придумать»? Не арканом же их ловить на улице и тащить в клуб...

Следующую ночь я не сомкнул глаз: всё придумывал «выход» из бедственного положения. И к утру придумал. Уже уверенный в успехе всех будущих вечеров, я растолкал спящего Хаита:

— Мы спасены!.. Мы богачи!.. — говорил я, — я изобрел средство обогащения!..

Хаит пришел в себя не сразу.

Так как в общежитии все еще спали, «открытием» пришлось делиться на ухо, шопотом, чтобы утром на нас не поступила жалоба, как на злостных нарушителей порядка.

— Помните ярмарки в больших торговых селах?.. Помните карусели, а возле них «балаганы»?

Ну?

— Помните, как после каждого сеанса все артисты выходили на помост, пели, плясали, кричали, корчили рожи, заманивая публику?

— Ну, помню...

— Мы также, как балаганные артисты, должны заманивать публику. Еще до начала вечера мы должны показать товар лицом.

— Заведующему клубом?

— Не заведующему, а публике.

— Но ведь в городе ни ярмарки, ни каруселей, ни балаганов нет.

— И не нужно, обойдемся без балаганов. Будем ходить в заводские и фабричные цеха во время перерыва и устраи-

вать бесплатные короткие выступления, чтобы заманить их на платные.

— Родион — ты маг и волшебник! — проговорил Хаит. — Ведь это же гениально! Не мертвая афиша, а живое общение с массами! Начинаем! Для первого опыта двинемся на маргариновый завод!

В фабрично-заводской комитет маргаринового завода мы явились веселые и уверенные в успехе. Видя наше хорошее настроение, начальство сразу настроилось на почтительный лад. Мы изложили план действий. К нам отнеслись доброжелательно, но предупредили, что рабочая масса совершенно не интересуется литературой и раскачать ее — дело не легкое.

— Попробуем, попытка — не пытка.

— В час добрый, — напутствовало нас начальство.

И вот мы в самом большом цехе маргаринового завода. Обеденный получасовой перерыв. Рабочие закусывают в красном уголке. Кто сидит, кто стоит. Пьют молоко, принесенное в бутылках из дому, заедая серым домашним хлебом. У некоторых бутерброды. Кое-кто лакомится яйцом, сваренным вкрутую. В цеховом буфете продаются простокваша и ситро. Завтрак отнимает не больше 10 минут. Закурили. У большинства махорка, крепкая, едучая. Свертывают козьи ножки из газетной бумаги, как тридцать и сорок лет назад, в глухих деревнях. На вид почти все тощие, невеселые. На наше приветствие отвечают с некоторой настороженностью.

— Товарищи, — начинаю я, — мы московские писатели. Приехали в ваш город, чтобы устроить целый ряд вечеров для рабочих. Решили начать с вас, но ваша администрация говорит, что это бесполезно, так как вы будто бы совершенно не интересуетесь литературой.

Сквозь толпу протискивается пожилой седоватый человек с черными сверлящими глазами.

—— Кто вам это набрехал?.. Может, они ничем не интересуются, а мы завсегда до научности привержены...

— Мы в этом никогда и не сомневались, — отвечал я, — было бы странно, если бы рабочие всем известного краснодарского маргаринового завода не интересовались литературой. Но вы вероятно думаете, что мы на вечерах читаем по книге что-нибудь такое, отчего после работы трудящегося клонит ко сну? Нет, не думайте этого. Все свои рассказы мы читаем наизусть. Есть у нас и грустные вещи, но больше всего веселые. Если хотите, я сейчас прочту вам что-нибудь коротенькое...

— Просим! — раздаются голоса.

Читаю проверенную во многих аудиториях веселую картинку из деревенской жизни. Принимают хорошо, смеются, дружно аплодируют. Попросили рассказать что-нибудь еще. До конца перерыва успел прочесть еще две вещицы — тоже веселые, из народного быта. На прощанье сказал:

— За двадцать минут многого не расскажешь, а на вечере будем вас развлекать столько, сколько пожелаете...

В ответ раздалось:

— А где ж достать билеты? Василий Мироныч, ты возле клуба живешь, захвати и на мою долю!

Когда мы вышли из цеха, Хаит стал душить меня в объятиях:

— Родион! Гениальный Родион! Мы спасены!

Так к этому вечеру мы готовились три дня. Побывали в нескольких цехах и везде о нас пошла слава, как о «весельчаках-юмористах». Инженерно-технический персонал не заманивали, надеясь на то, что интеллигентная публика заинтересуется писателями и без предварительной рекламы.

Когда в день вечера мы пришли, все места были заняты. Это нас сразу окрылило. Заводский клуб новый, чистый, уютный. Темой нашего вечера была любовь и дружба. В афише, на щите перед входом в клуб, объявлялось, что вечер будет состоять их трех отделений: в двух отделениях — выступления писателей, в третьем — ответы на записки и вопросы.

Я открыл вечер приветствием собравшимся «От союза советских писателей» и предоставил слово Хаиту. Он начал с рассказа «Встреча», который пользовался исключительным успехом во всех аудиториях. Гражданская война. Крымский фронт. Красный командир Михайлов серьезно ранен. Его молодая жена, студентка медицинского факультета, тоже на фронте в качестве сестры милосердия. После ранения мужа она теряет его. Отовсюду ползут слухи, что он умер. Окончилась война. Но супруги Михайловы не нашли друг друга. Она молода, красива. Кончает медицинский институт. Проходят пять лет. «Значит, действительно погиб», — решает она. Выходит замуж за военного. Родится дочь. Годы бегут. Девочка поступает в музыкальную школу. Муж всё время получает повышения по службе. Он уже командир дивизии. Жена носит фамилию прежнего мужа: она — доктор Михайлова. По постановлению правительства заслуженных работников медицины награждают орденами. Список награжденных опубликован в «Известиях». В числе награжденных орденом Ленина — доктор Анна Сергеевна Михайлова. Че-

рез неделю к ней приходит незнакомец с седой бородкой. В передней, на вешалке, он видит командирскую шинель с ромбами. Девочка лет двенадцати, похожая на мать, спешит с музыкальной папкой на уроки. Уютная квартира. Налаженная жизнь. Атмосфера благополучия. Почувствовав это, посетитель решает скрыть свое имя. Он называет себя другом погибшего командира Михайлова. Анна Сергеевна приглашает его в гостиную и просит рассказать побольше деталей о ранении мужа, о его последних минутах жизни.

— Как я любила его...

— Умирая, он повторял ваше имя, — говорит посетитель.

После полутора-часовой беседы гость уходит с решением: никогда не нарушать душевного покоя этой женщины. Вечером он уезжает в свой город за четыре тысячи километров. Смотрит в окно. Плачет и радуется: «Так надо... она счастлива с другим... А это самое главное»...

Хаиту искренно аплодировали. Слушатели вслух восхищались поступком Михайлова.

Наступила моя очередь. После советско-финской войны из уст в уста передавалась трогательная легенда, которую использовали многие писатели. Я читал ее на вечерах в первом, «слезовом» отделении. Тема — военно-бытовая. Счастливая пара. Он — летчик. Она — инженер химик. У них прелестный мальчик. На курорте в Сочи летчик знакомится с известной артисткой, влюбляется в нее. Развод с женой. Редкие посещения сына. Советско-финская война. Летчик присылает с фронта своей второй жене-артистке письмо: «Я ранен. У меня ампутирована правая рука и обе ноги. Это письмо пишет по моей просьбе медсестра. Посоветуй, что мне делать: устроиться в дом военных инвалидов или вернуться к тебе?»... «Обрубок мне не нужен», — решает артистка. Она идет к первой жене, читает ей письмо летчика и говорит: «Если он тебе дорог, бери. Я от него отказываюсь». Первая жена пишет бывшему мужу письмо, каждое слово которого свидетельствует о ее любви, преданности, самоотвержении: «Ты дорог для меня и для сына. Мы будем счастливы посвятить тебе нашу жизнь. У нас ты отдохнешь душой после всего пережитого». Война окончена. Однажды вечером кто-то стучит в квартиру первой жены. Она открывает дверь. Перед ней целый и невредимый родной человек. Он остается с ней навсегда. На следующий день в газетах печатается указ правительства о присвоении летчику Ветвинову звания «Героя Советского Союза». Ему отовсюду приходят поздравления. Узнает и артистка, что он жив и

здоров и вот уже несколько дней живет у первой жены. Она звонит ему. Она удивлена, что он «не кажет глаз домой»...

— Мой дом здесь, — отвечает летчик.

— Но я люблю тебя, — говорит артистка.

— Я знаю цену твоей любви. Больше мне не звони и не пытайся встретиться со мною!..

Оба рассказа —и мой и Хаита — примитивно-безыскусственны. Но у слушателей они имели большой успех.

Второе отделение у нас было сплошь веселое. Я читал свою автобиографию. Вечер затянулся до половины двенадцатого. Так как утром нужно было всем идти на работу, то ответы на записки и вопросы были сняты с программы. Благодарностям не было конца. Мы заработали больше 500 рублей. Судьба нам улыбнулась. И это было так неожиданно, что в первый момент нас охватил страх: «Не перед бедою ли такая удача»?

С этого вечера начались наши триумфы. Таким же способом, т. е. с предварительными «зазывами» мы провели вечера в институтах — виноделия и виноградарства, медицинском и педагогическом, в акушерском техникуме, в ремесленном училище, на ремонтно-механическом заводе, в трех школах десятилетках. Последнее выступление было в небольшом клубе промысловой артели швейников. Вечер должен был начаться сразу по окончании работы. Девяносто восемь процентов публики составляли женщины. Многие из них были обременены большими семьями. Проработав восемь часов, многие рвались домой, но другие их останавливали:

— Неужели не останешься послушать живых писателей? В кои-то веки приехали в наш город, а ты домой бежать?..

— И рада бы остаться, да ведь там шестеро — мал мала меньше...

— Ну, задержись хоть на пять минуток.

Оставшись «на минутку», многосемейные просидели весь вечер. После программы благодарили: — Спасибо, что вспомнили о нас: и наплакались и насмеялись досыта. Приезжайте почаще, не забывайте рабочего человека.

Перед каждым выступлением мы уговаривались — следить за промахами друг друга, за неправильными ударениями, лишними жестами и движениями. Устная речь Хаита была засорена неправильным произношением многих слов. Он говорил корОмысло, глинЯная, жИла, (вместо жилА). Иногда в течение вечера я записывал за ним до сотни искаженных слов. Сначала он выслушивал мои замечания терпеливо, но

потом стал сердиться: «Кто дал вам право быть законодателем произношения?». И я это дело бросил.

Неизъяснимое наслаждение доставляли нам выступления в высших учебных заведениях и в средних школах. С какой жадностью слушала нас молодежь! От аплодисментов дрожали стекла в окнах. Каждый юноша и каждая девушка шли на вечер с блокнотом и карандашом. Некоторые подавали по 15 записок самого разнообразного содержания. Вот некоторые, оставшиеся в памяти, вопросы: — Может ли девушка первой объясниться в любви? — Есть ли жизнь на Марсе? — Есть ли профессии лучше, интереснее, благороднее писательской? — Можно ли по настоящему любить несколько раз? — Почему покончили с собою Есенин и Маяковский? — Почему перестали печатать Демьяна Бедного? — Как избавиться от чувства ревности? — Порекомендуйте самые лучшие книги, какие должен прочесть всякий человек, если он хочет быть культурным. — Как нужно жить, чтобы на душе всегда было спокойно и радостно?

Из Краснодара мы направились в Армавир. Против вокзала мы увидели белый двухэтажный дом с вывеской «Гостиница».

— Попробуем?

— Бесполезно.

— А может повезет?

Зашли. Показали документы. И что же? Нам предоставили лучший номер во втором этаже. Четыре больших окна. Две кровати. Диван, мягкие кресла, большой письменный стол. На окнах голубые драпри с желтоватой подкладкой. На полу новый красный ковер. Вошедшая девушка сказала, что этот номер всегда бронируется для самых главных партийных работников.

— Вы наверное тоже из обкома партии?..

— О, нет, мы только писатели... Беспартийные писатели из Москвы.

— Писатели?.. Которые печатают книги?.. Будете лекции устраивать?..

— Литературные вечера.

Мы хотели поговорить с девушкой, но в дверь кто-то постучал. И она тут же открылась. Перед нами стоял энкаведист в военной форме: шинель, голубая фуражка с малиновым околышем. Девушка испуганно выскочила за дверь. Мы замерли. Сразу прошиб холодный пот. «Неужели всему конец?». Энкаведист понял, что напугал нас и улыбнулся.

О, как мы обрадовались этой улыбке: если улыбается, значит, не арест.

— Простите, что побеспокоил вас.

«Если приходят арестовать, то не просят прощенья», — подумал я.

— Пожалуйста, пожалуйста... Садитесь... Как вы узнали, что мы приехали в Армавир?..

— В краснодарской газете было напечатано, что оттуда вы едете к нам. Надолго?

— В зависимости от обстоятельств... от успеха литературных вечеров...

— Нам бы очень хотелось, чтобы свой первый вечер вы провели в клубе НКВД.

Что может ответить советский человек на такое предложение? Пусть на сердце заскребут кошки, пусть знаешь, что с тобой разговаривает представитель карательных органов, но ты деланно улыбаешься, чтобы он не заметил твоих переживаний. И Хаит и я говорим, что это для нас большая честь.

— Наш клуб свободен через три дня.

— Ну, вот и хорошо: за эти три дня мы отдохнем после краснодарских выступлений... Постарайтесь, чтобы собралось побольше публики...

— Об этом не беспокойтесь: будет полный зал.

По уходе энкаведиста прежде всего глубокие вздохи облегчения у нас обоих. Смотрю на Хаита: он мокрый от волнения.

— Вытрите пот с лица, — говорит он мне.

— К добру это или не к добру?

— Конечно, к добру: за выступление мы не возьмем с них ни копейки, но попросим письменный отзыв... В каждом клубе, куда мы придем, этот отзыв будет отгонять у администрации всякие страхи насчет нашей благонадежности...

— Но как мы будем их развлекать?

— Забудьте об этом, Родион Михайлович... Когда выйдете на сцену... переключитесь на почтительный тон... думайте, что перед вами лучшие люди страны.

— Из моих близких сослано больше 30 человек.

— Из моих — не меньше, и всё-таки я буду улыбаться.

— Хорошо, и я буду улыбаться.

До вечера в клубе НКВД мы ходили по городу. Увлекались мясными пирожками из «отходов» местного мясокомбината. Они готовились в небольшом помещении на главном бульваре, продавались по 10 копеек за штуку. Мы заказы-

вали сразу по полдюжине. Завели знакомство с работниками местной газеты. Они отнеслись к нам по дружески. В газете была напечатана теплая заметка о нашем приезде и о будущих вечерах. Смеялись, когда мы рассказали о своем испуге при встрече с энкаведистом. — «Вполне законная реакция», — сказал секретарь газеты.

Зрительный зал клуба НКВД в Армавире человек на 500. Сцена небольшая. Публики много. Половина женщин — матери, жены и дети оперативных работников. Есть даже старушки, одетые по деревенски.

Чтоб обезопасить себя, мы исключили из своих выступлений всякий политический элемент. Лирика, быт, юмор, шутка — доходят до каждого сердца. Энкаведисты слушали так же хорошо, как интеллигенты, рабочие, служащие, учащаяся молодежь. Нам дружно аплодировали. В антракте окружили плотным кольцом. Излияниям восторгов не было конца. Во втором отделении шумно смеялись. После вечера пообещали прислать справку в гостиницу. И слово сдержали. В справке была отмечена полезность таких вечеров и высокий художественный уровень программы.

Мы связались с местной радио-станцией. Ежедневно в отделе местных новостей сообщалось, где мы сегодня выступаем. В Армавире мы провели 14 вечеров. Все они прошли с большим материальным и художественным успехом. Хаит немедленно все деньги отправлял телеграфом в Москву, оставляя себе гроши. Я большую часть заработка оставлял при себе. Хаит успел переслать своей семье уже больше трех тысяч. Его удивляло, что я держу деньги при себе.

— Неужели ваши домашние не терпят нужды?

— Но нельзя же вдали от Москвы оставаться без копейки... Не забывайте первых дней Краснодара... Всё может случиться...

— Что теперь с нами может случиться? Мы завоевали славу, зарабатываем деньги, о нас пишут и говорят по радио.

— Вот это-то и пугает меня. Не перебарщивайте, Давид Маркович, с рекламой и саморекламой.

Местный партийный комитет решил устроить банкет в нашу честь. В концертном зале партийного дома были накрыты столы на 300 персон. Собрался цвет партии. Сначала говорились речи. Нас благодарили, как писателей, вышедших из народа и несущих свои знания и таланты народу. Мы отвечали благодарственными речами. В литературном отделении были только веселые номера. В заключение я пел под гармонью народные песни и частушки.

За ужином вино лилось рекой. После ужина начались танцы. Хаит объяснялся в любви молодым женщинам, хвастался своими литературными успехами. Нас приглашали почаще приезжать в Армавир. Многие записывали наши адреса, обещая писать. Отсюда мы поехали в Майкоп — столицу Адыгейской области. Там нас поразила пустота в продовольственных магазинах и скудное питание в столовых. На прекрасном спектакле: «Бешеные деньги» Островского в новом городском театре я насчитал всего 50 человек. «Горим, товарищ», — печально призналась мне гардеробщица, интеллигентная на вид женщина, — «здешней публике театр не нужен, а вот на «лилипутов» завтра валом повалят».

В Майкопе у нас было 4 выступления, в Туапсе — 2. О Сочи думали, как о «земле обетованной». Там сняли номер в гостинице на берегу моря. Хаит пошел договариваться в курортное управление о наших вечерах в санаториях и домах отдыха, а я, сидя у окна, любовался морской лазурью. Днем был на выставке картин местных художников в здании новой галлереи. Вечером с Хаитом пошли в городской, недавно отстроенный театр, на гастроль казанской труппы. Шла пьеса Н. Погодина «Кремлевские куранты». Игра и постановка хорошие, но публики и здесь было очень мало. В курортном управлении Хаит договорился о 40 выступлениях по 300 рублей за каждое. На каждого приходилось по 6 тысяч — совсем не плохо. Я уже размечтался, какой справлю костюм, какое куплю пальто, какие приобрету книги... Утром Хаит пошел получать аванс, но вернулся осунувшийся, зеленый, с газетой в руках.

— Мы погибли! — проговорил он и бросил мне последний номер «Правды», где на третьей странице был маленький фельетон «Писатели приехали!». Около ста газетных строк. Подписано Львовым. В фельетоне писалось о «самохвальстве, развязности, очковтирательстве». Нас называли Хлестаковыми. И в тот же день служащий гостиницы подал нам телеграмму из Москвы. «Немедленно возвращайтесь». Подпись: «Групком «Советский писатель».

В Москве, дома меня встретили слезами. В тот же день пришли знакомые писатели посочувствовать и узнать, что мы сделали предосудительного на Северном Кавказе. Вскоре в групкоме писателей, на 10-м этаже, в Большом Гнездниковском переулке, состоялось общее собрание, на котором нас подвергли жесточайшей критике. Яростнее всех нападал на нас Петр Скосырев. Его выступление было омерзительно подхалимским. Нам вынесли порицание с предупреждением.

Последствия фельетона были печальны для нас обоих. В продолжение четырех месяцев, вплоть до начала войны, мы не могли нигде устроить своего вечера. В газеты и журналы от нас не принимали никаких материалов. И я был рад, когда меня мобилизовали в «Московское ополчение»: конец остракизму!

Родион Березов

СЕРОЕ С КРАСНЫМ[1]

Дневник 1940[2]

Париж, 1940, 6 апреля, суббота.

Война, не похожая ни на какую другую.

Насколько там и тогда (в Петербурге 25 лет тому назад) всё время что-то «случалось» и потому хотелось писать, — настолько сейчас — оцепенелость, не говоря уже о наших стенах, но точно во вне тоже, и не хочется писать. С большой буквы — Скука. Мы-то, положим, во-первых, стары, во-вторых — русские: никому и не нужны. А последнее обстоятельство даже особенно важное, т. к. сейчас русские эмигранты и друг другу ни капельки не нужны.

Обветшалые наши «политики», кажется, тремуссируются между собой. Но это столь неинтересно и жалко, что если б мне предложили знать, что там делается — впору отказаться.

Вот, девчонка[3] принесла «Paris Soir». Со скукой посмотрю.

9 апреля, вторник.

У меня болит рука от штопки Дмитриевых[4] рубашек, едва пишу.

А война как будто разгорается. Союзники ради блокады минировали норвежские воды и сегодня вести, что взбеленив-

---

[1] В этом заглавии нет ничего символического, и если оно стало таковым, то независимо от воли З. Г. Она назвала свой дневник, как имела обыкновение это делать, по цвету обложки той тетради, в какой писала. Но силою вещей, когда разыгрались события 1940 года — кровавые на сером фоне скуки — это случайное заглавие стало пророческим. В. З.

[2] Дневник З. Н. Гиппиус доставлен нам из ее архива В. А. Злобиным. Ред.

[3] Прислуга-француженка, прозванная так из-за своей молодости и легкомыслия. В. З.

[4] Д. Мережковского. В. З.

шаяся Германия уже налезла, через Данию, на Норвегию, и норвежское правительство покинуло Осло. Вообще, бешенство Рейха несомненно и проявляется скверно. Не объявил ли вчера Геринг, что Париж будет взят в первых числах июня, а к 1-му июля — заключен мир? Это невоздержание в пророчествах показывает, однако, что Рейх начнет невоздержанно пакостить. Это он может, ибо что ему терять? А вот насчет победы... очень сомнительно, чтобы не сказать больше.

Ни России, ни большевиков никто попрежнему не понимает. Самый страшный ужас, это — что в конце концов большевикам всё простят... И «на колу мочало, начинай сначала», до третьей войны (которую мы, к счастью, не увидим).

Понимать (всё равно, что) помогает только собственный опыт. Даже своих интересов нельзя без опыта понять. En gros, объясняется этим и сегодняшняя психология разнообразных стран. Англия, например. Ни одному англичанину в голову ни разу не пришла и не приходит мысль о возможности, — хотя бы в виде предположения, — победы Германии. Потому что за всю историю Англия не проиграла ни одной войны, ну, и не имеет опыта поражения. С другой стороны, ей кажется, что в ее «интересах» (о «морали» тут нечего), чтобы Россия оставалась в дыре большевизма. Для меня, мол, большевизм безопасен, а «торговать и с папуасами можно»[5].

Северные страны не имеют опыта войны и... уже неспособны к борьбе: «la Danemark envahie et occupée sans résistance», только что читаю.

Bon, посмотрим дальше.

Дальше оказалось, что Норвегия не покорилась, объявила войну, застреляла... что не помешало немцам в нее проникнуть и схватить ее за горло. Заняли разные пункты, бомбардировали Осло, так что правительство его оставило.

Союзники заорали, что идут на помощь. Пока — телеграммы спутаны, ничего толком неизвестно. Идет, будто, морская баталия...

Словом, война разгорается.

11 апреля, четверг.

Морская баталия всё еще длится, из спутанных вестей видно всё же, что союзники берут верх.

---

[5] З. Н., конечно, хочет сказать «с канибалами», ибо цитирует известную фразу Ллойда Джорджа: «Торговать можно и с канибалами», сказанную им по поводу возобновления торговых сношений с Сов. Россией. В. З.

На-днях должно произойти нечто решительное. Немцы уже посадили в занятом Осло своего «Куусинена» (Кислинга), но норвежцы не сдаются, продолжают воевать, союзники помогают.

15 апреля, понедельник.

Без удивления вижу, что эта тетрадь не имеет смысла. Того крошечного пространства, которое отмерено в серенькой итальянской аженде на каждый день — за глаза довольно для того, что я имею записать: какая погода, под дождем мы шли два шага по картье, да какую очередную страну подмял под себя Гитлер. Подробности выписывать из газет — для чего, спрашивается? Рассуждать о происходящем в реальности, к которой «мы» никакого отношения не имеем — бесполезная скука. Для «нас» (кучки 3-х - 4-х эмигрантов) все люди всех стран мира (б. России не исключая) сделались «они». За этими «они», за их действиями в их реальности можно, пожалуй, наблюдать, да и то кое-как, по газетам! А можно и не наблюдать: всегда эта «реальность» может коснуться нас боком и смести, как кучку пепла, даже неприметно ни для кого. Говорю вообще о русских эмигрантах и жалею, что не многие это понимают. Да, именно кучка пепла, а когда она будет сметена — всё равно. Может каждую минуту.

Какая скука!

16 апреля, вторник.

По газетам, — союзники выиграли, как будто, la première manche. Выбили немцев из Нарвика, сделали дессант в Норвегии, потопили кучу кораблей... Гитлер придет теперь в последнее бешенство — куда кинется, неизвестно; но известно, что куда-нибудь да кинется. Если сговорится с этой устрашающей тупицей — Муссолини — кинется на Балканы, обещая Муссолини, за помощь, Югославию. Как жаль этого несчастного. И за что это его Бог наказал?

23 апреля, среда.

«В часы неоправданного страдания и нерешенной битвы...»[6]. Какие, действительно, нужны слова! Понятно, что мне не хочется писать.

---

[6] З. Н. цитирует свое стихотворение, написанное в самом начале войны 14-го года (8 авг. 14 г. С.-ПБ.): «Поэты, не пишите слишком рано», кончающееся четверостишием:

«В часы неоправданного страданья,
И нерешенной битвы,
Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы».

Умер этот милый человек, последний брат Амалии Илья[7]. Очень мне его жалко. Хоть и давно мы не видались. Теперь надо с трудом вспоминать, кто не умер. И когда вспомнишь — удивляешься. Бальмонт, например, жив... О других, о самых мне дорогих (в Польше и России) подтверждения их смерти пока нет, хотя для разума нет в ней и сомнения. Я благословляю этот период неизвестности, он дан для приготовления души, для ее примирения с мыслью о их смерти. Эта работа в душе медленно и происходит. Но страшная она всё-таки, эта работа. «Сердце, отдохни...». Ведь —

«Есть, нам обещают,
Где-то лучший край...»

И только

«Там, в долине рая
Розой расцветая,
Сердце отдохнет...»

Нет, не раньше.

Было существо, очень давно, которое я любила с громадной нежностью. Сердцу был дан период отдохновенья раньше даже, чем оно исчезло, это существо, с моего горизонта, и притом не угрожаемое смертью. А затем — годы, десятилетия полной неизвестности. Его, конечно, конечно нет среди живых. Но если б сейчас и узнать это наверное — душа давно готова. Впрочем, это случай исключительный. И нежность — не всегда любовь.

Наше горе в том, что настоящая, корневая, навечная любовь не бывает в душе равна вере. Вера непременно слабее любви. По силе любовь оказывается равна — смерти. Даже у святых. Когда моя Тереза[8] потеряла веру — любовь у нее осталась. И надежда (она включена в любовь, но не замена вере). И всё это свилось — со смертью.

От неравенства любви и веры — страданье.

Есть, нам обещают...

Да, я знаю, я... верю... А смерть — вот она.

В Норвегии всё продолжается. Неизвестность, куда полезет еще Гитлер, — тоже продолжается! Полезет!

Чемберлен сказал, что эта война — «une lutte éternelle du mal et du bien». Хорошо, хорошо, но Галифакс в это время сговаривается с Майским насчет усиления торговли и только

[7] Илья Осипович Гавронский, брат А. О. Фондаминской. *В. З.*

[8] Sainte-Thérèse de Lisieux. *В. З.*

просит, нельзя ли, мол, не очень снабжать нашими товарами Германию? Как это было бы смешно, если бы не было так... страшно и — глупо? И что еще?

Недаром Керенский, когда на-днях я ему сказала об этой «lutte entre le bien et le mal», грустно и верно заметил: «le mal-то я вижу, а le bien...».

Гитлер заполонил умы, и о большевиках, к их упоению и торжеству, почти не говорят. Больше: опять как-будто надеются переманить их на сторону союзников, как-нибудь задарить, что-ли... Югославия, одна никогда большевиков не признававшая, отправила теперь туда делегацию... торговую, будто бы, пока. Один Fabry еще стоит на своем в «Matin». Напоминает и слова Фроссара: «если Сталин переживет Гитлера — не будет прочного мира в Европе»... Ведь как просто! Как ясно!

Метод Гитлера, «5-я колонна», подготовка внутреннего разложения страны, которую он хочет победить, очень стар. Идет из Германии же, впервые применен в 1917 году. Насаждение разлагающего «правительства» (Куусинен, Кислинг) имело тогда оглушительный успех, если не помогло победе Германии, то лишь потому, что запоздало немного. Но вывело целую Россию из строя и — это ли не успех? — сделало ее через 20 лет годной в союзники Германии.

Если б югославский Стоядинович не опоздал на несколько дней и улетел в Германию — он, конечно, был бы отправлен на родину в должном окружении, как, в свое время, Ленин и Со. в запломбированном вагоне — в Петербург. Техника теперь, кстати, усовершенствовалась. Очень.

Вот «Paris Soir». «Le Reich multiplie les avertissements à la Suède»... Ага, она думала, что «крокодила» надо подкормить и он не съест... Бедная дура. Но мне почему-то казалось, что он на нее не полезет. Не потому ли казалось, что хочется именно ее проучения? За ее «коммунизм» и за предательство Финляндии?

30 апреля, вторник.

Как мне и казалось, что Гитлер на Швецию не полезет, так оно — пока — и вышло. Не лезет. Напротив, достигнувтаки, умерения ее прессы, хвалит ее «нейтралитет» и уверяет, что все сборище балтийских войск — для Норвегии. Немцам, да и U.R.S.S.'у смиренно-благожелательная, «нейтральная» Швеция сейчас выгоднее.

В Норвегии бойня затягивается. Может быть, до осени. Хуже всего, что Гитлер все силы употребляет, чтобы втравить Италию, и уже, как будто, достигает цели. Этот несчастный,

загипнотизированный «успехами» бесноватого, тупица Муссолини уже разнуздал своих опричников (Корсика и т. д.) отправил Дино Альфиери в Берлин, берлинского посла приставил к Ватикану и... всё это подтверждается. Уже нападки на Ватикан, требования не только Корсики, но и Туниса, ликование германской прессы, кстати и оптимизм относительно друга U.R.S.S., который, между тем, посылает в Англию своего сановника (?) для торгового пакта, и Майский сидит с Галифаксом, который ему улыбается.

Воистину, неисповедимы пути Господни.

Но как бесстыдно ожесточается душа от всего происходящего!

8 мая, среда.

Насчет войны — очень скверно. Англия увела войска из Норвегии, явно посадив последнюю, как Польшу и Финляндию. Парламент ихний в возмущении... А если она и... Францию?

10 мая, пятница.

Нечего сказать, денёк! Ночью alerte, который я не слышала, всё время, однако, ужасно кошмаря. Утром — известия, что немцы бросились на Люксембург, Голландию и Бельгию, а в то же время бомбардировали несколько французских городов — Лион, Нанси, Анвер и др. Словом — «le chien enragé» — дал себя, наконец, знать. Нет больше neutres на севере, кроме Швеции (мой прогноз, что немцы в нее не вторгнутся — оправдался; она уже что-то «экономическое» заключила и с U.R.S.S. и с Германией, им т а к а я Швеция выгоднее).

Бог весть, что будет дальше, бои разгораются. Гитлер продолжает свой «молниеносный» метод, сопровождая его тьмой тем шпионов и «бреющей» атакой с воздуха. Авиация Германии до сих пор многочисленнее союзной. Наглость и ложь Гитлера — неописуемы. «Je veux protéger les neutres!»

19 мая, суббота.

Неслыханные бои в Бельгии и на севере Франции. Париж притих и опустел. Alerte'ы то ночью, то днем. Германия играет va tout. Потери ее огромны. Но она уже обошла слева линию Мажино. Напряжение, однако, таково, что вряд ли будет длительно. Союзники не дремлют: сегодня приказ Gamelin умирать, но не отступать.

Америка в мало-понятной, но определенной панике. Однако, еще не хочет выступать. Италия в безобразном положении. Муссолини, пока, «молчит, как проклятый», но пресса

его буйствует à la Hitler, доходя до наглого утверждения, что Гитлер прав, нападая на Бельгию, Голландию, на весь север и т. д. Ватиканский журнал бойкотируется и сжигается бандами возбужденных гимназистов. Я думаю, Муссолини уже в руках Гитлера и, если держится пока, выжидая — вряд ли додержится до конца, не взирая на письма Рузвельта. Впрочем, результаты гомерической бойни будут иметь на него влияние.

Не понимаю, зачем я всё это пишу — при таких обстоятельствах и при нашем, абсолютно жалком положении. Читать газеты днем, детектива вечером, — вот всё, что нам осталось. Даже «бежать в горы» — и то нам нельзя.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Сегодня мы были на Muette, когда заплакала сирена. Пришлось идти в abri, нашли маленькое в переулке. Посидели, потом кончилось. Пошли домой.

Погода всё время располагает к налетам. Очень хорошая.

22 мая, вторник.

События развиваются по часам. Сейчас (вечером) известия, что немцы взяли Амьен и Аррас. Может быть, они хотят окружить Париж, может быть пробиваются к морю (Калэ). Во всяком случае, дела худы: «La patrie en danger!» Только что, по радио, сказал Рейно. Вместо Gamelin, который неизвестно куда девался (изменил? убежал? расстрелян?) взяли Вейгана, а в правительство — старика Petain. В Бельгию немцы вошли просто, так же просто оттуда во Францию. В свое время Бельгия отказалась продолжить линию Мажино (до моря) и немцы ее обошли. Кстати, и войск никаких на бельгийской границе не было (Gamelin?).

Битвы гомерические, Гитлер идет напролом (можно бы ожидать). По собственным трупам в 2 метра вышиной танки идут вперед (буквально, т. е. громоздясь. Кости, должно быть, хрустят). Маас — розовый от крови.

Мы долго гуляли сегодня в Булонском лесу, сидели на скамейке. Было солнечно и очень тепло. Воротились, кофе и — alerte. Пришел Володя[9] с печальными вестями. Выстрелов, как будто, не было. Продолжалось, может быть, полчаса или

[9] В. Злобин.

3/4 часа. Мы не могли бы уехать, даже если бы у нас были деньги (у нас их нет абсолютно). Поезда отменены почти все.

24 мая, четверг.

Вчера Володя был у Нувеля[10], (где видел и Нини Ратькову). Главное, узнал, что Дима[11] еще жив. Безнадежно болен, очень страдает (морально тоже, думаю) и ждет смерти, как избавления. Там же, в Отвоцке, где был, уже глубоко больной, год тому назад. О Хирьяковых ничего не знаю.

А сегодня В. был у Бюрэ[12], застал его одного и тот ему много кое-чего говорил. Например, что 16-го мая положение французов было отчаянное, Gamelin будто бы телеграфировал, что «нынче вечером немцы будут в Париже». Но у Гитлера не хватило фантазии, говорит Бюрэ, и он Парижа не взял. Не знаю, насколько это вздор, что тут правда, но понятно, что Гамлена сместили. Сейчас бои продолжаются и немцы вперед не продвинулись (за этот день).

Черчиль в Англии взял «всю власть».

А Юзя Чапский погиб, — не то убит, не то расстрелян[13]. Он был капитаном польской армии. Мне не жаль Польши. Помимо того, что она погубила Диму и разделила нас (это лично), но она вела себя глупо и лживо (на свою голову) — от мира с большевиками в 20 году до...

28 мая, вторник.

От худа к худу. Сегодня в ночь король бельгийский, посреди боя, велел войскам своим сдаться и открыть немцам дорогу в Дюнкерк. Он точно с ума сошел. «Бельгия предана своим королем!» Правительство бельгийское не желает с этим считаться (еще бы, такой позор! «Неслыханное в истории», сказал Рейно. Он и не имел на это права, ибо король конституционный, и всё правительство оказалось против него). Но, конечно, это удар, ибо немцы окружили Калэ (Булонь давно в их руках). Вот когда борьба уже прямо на смерть. Немцы падают не грудами, а целыми горами, и всё-таки идут, идут вперед.

Прежний бельгийский король вел себя, как герой, — Roi-Chevalier. А этот — .....

---

[10] В. Ф. Нувель ближайший сотрудник С. П. Дягилева, старый приятель Мережковского, друг Д. В. Философова. В. З.

[11] Д. В. Философов. В. З.

[12] Эмиль Бюрэ, редактор-издатель газеты L'Ordre. В. З.

[13] Этот слух, к счастью, не оправдался. Художник и писатель Ю. Чапский — здравствует в Париже. В. З.

29 мая, среда.

Немцы в восторге, муж несчастной, убитой Астрид, вернулся в Брюссель (давно немецкий), в свой дворец, любезно предоставленный ему Гитлером. Но, конечно, тут еще куча неизвестного. Последствия измены, конечно, скажутся, и уже сказываются, т. к. на севере французы и британцы защищаются бурно, но явно должны будут отступить. Неожиданно (вот это главное) остались одни. Весь мир в негодовании, особенно американцы. Но они еще не выступают — не готовы.

Из Парижа уезжают почти сплошь все. В нашем доме, кроме нас, один Боборыка внизу. В. бурно действует, чтобы мы тоже уехали на будущей неделе. Я не очень за это, хотя допускаю сюрприз взятия Парижа. Всякие сюрпризы возможны. На будущей неделе — но и завтра. Правительство французское еще не уезжает.

Британцы день и ночь бомбардируют тыл немецких армий, сбивают кучи аэропланов — но что немцам, раз они по своим трупам лезут вперед?

Они, вообще, так по-человечеству н е в е р о я т н ы, что почти невозможно обвинять союзников в их ошибках. Мои старые башмаки были завернуты в газетный лист от 26 октября 39 года. С ужасом (теперь) читаю: «в Германии открыто говорят о плане Гитлера — наступлении через Голландию, Бельгию, Люксембург на Францию и Англию...». Подготовка этого нескрываемого плана потребовала некоторого времени; в течение этого времени союзники, ничему, в сущности, не веря, не подумали даже о дыре между линией Мажино и морем. Мало думали и о знаменитой «5-й колонне» (работе по внутренней измене). А план был выполнен блестяще, с Данией и Норвегией напридачу. Не так давно Гитлер объявил, что Париж будет взят 15-го июня («без выстрела, просто мои войска пройдут маршем по улицам», — но в это уж и я не верю), — а «к 1-му июля будет наш, немецкий, мир». Привычка к «bluff» Гитлера не встревожила «людей», каковы союзники. Сейчас только, лицом встретившись с фактами, выростает тревога в мире.

Загадочна позиция Италии. Дух там очень тяжелый, тяжесть наростает с каждым часом, и я каждое утро выхожу в столовую, ожидая, что первая бомба там разорвалась. Немецкая пресса в этом, уже не «сюрпризе», не сомневается ни минуты.

Да, что писать? Мы никого не видим, кроме воскресенья, когда бывают остатки наших верных друзей, беспомощных экс-молодых литераторов — Терапиано, Фельзен, Мамченко.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Боже мой, вот уж когда, повторю, — «все умерли, остальные сошли с ума». И, действительно, что еще писать, о чем? зачем?

«В тесности, в перекрестности,
Хочу — не хочу ли я, —
Черную топь неизвестности
Режет моя ладья»[14].

30 мая, четверг.

Мне бы хотелось написать историю эмиграции... о, только нашу, т. е. в круге наших глаз. Но я ленива, я даже не знала сама, как я ленива. Впрочем, к старости особенно это сказывается.

Северная армия союзников, преданная бельгийцами и отрезанная от более южной, еще держится, но уже едва-едва: еще бы, 1:4. Немцы бросили туда всё, что имеют и что с Бельгией освободилось. Италия накануне выступления... Куда? Недаром я говорила, что Муссолини уже давно в руках чорта, которого сам распустил.

А Нарвик-то союзники только теперь взяли!

1 июня, суббота.

"Toutes les dépêches, ce matin, sont d'accord: M. Mussolini ferait conaître mardi la décision, qu'il a prise, et cette décision serait d'entrer en guerre à côté de l'Allemagne..."

Что же еще? Для нас есть и хуже:

"L'aide russe (большевиков), il faut l'obtenir n'en deplaise aux doux illuminés, aux sots et aux misérables, qui à la veille du choc tragique voulaient... nous obliger de déclarer la guerre à la Russie. Les Anglais, eux, ont bien compris l'importance du facteur russe (большевиков) et sir Cripps (марксист-миллионер) s'est envolé pour Moscou...".

"Président Paul Reynaud, de grâce, agissez vous aussi à Moscou. Mettez vous à l'unisson du Mr. Churchill!".

Вот, это Керилис, вместе с «Ordre». Мои предсказания

[14] Заключительное четверостишие стихотворения З. Гиппиус, написанного накануне войны 1914 года. В. З.

(такие легкие) сбываются, уже сбылись. И сбудется дальнейшее. С такими мозгами, с таким плоским, до ужаса, непредвидением французов... Да ведь обманут, обманут, ведь Гитлер, их порождение, честнее, потому что он клинически помешанный. Как же, чего же ждать от этих? И о какой «морали», или еще о чем-нибудь, смеют говорить такие люди? Кроме своей шкуры, глупо, притом, охраняемой (глупо, глупо и страшно!), они ничего не видят... на свою голову.

Биарриц, 1 августа, четверг.

Обещала себе открыть эту тетрадь хоть сегодня, ровно через 2 месяца после последней записи. Не знаю, как эти два месяца описать, как удастся. Это, ведь, чего не было в истории. На меня напало какое-то engourdissement, точно всё это не могла вместить голова. Но с помощью серенькой книжки и сухого стиля отчетности, постараюсь всё восстановить (что от нас было видно и нами ощутимо). Вклею, кстати, несколько газетных вырезок (июньских, с июля мы ничего не знаем).

Итак: в «прощальное» наше воскресенье, 2-го июня, мы, как и всегда, были у М. Терезы[15] — нельзя было без слез смотреть на лица молящихся. «С войной — очень плохо», записала я, без комментариев. Всё уже было готово у нас к отъезду, на среду — усилиями Володи и Дм., — я этому отъезду не сочувствовала: и Биарриц не люблю и alerte не боюсь; не потому, что верю путанным французским газетам с их «confiance», а просто потому, что если даже погибать (всё возможно, думалось) — то бежать как-то стыдно.

Не очень испугала и громадная бомбардировка, дневная, в понедельник. Мы даже не сошли в abri. Бедная Ася[16] (у нее опыт немцев в Киеве) была в это время у нас и очень нервничала. Надо сказать, что она о д н а была права, убежденная в самом худшем: «немцы всё могут».

Бомбардировка продолжалась долго. Из окна кухни (где нет ставень) мы видели огонь и дым пожаров за Auteuil. Вечерние газеты, однако, успокаивали (фальшиво, как всегда, но им мы все верили) и лишь потом мы узнали, что разрушений было довольно. Пришедший во вторник утром Керенский говорил, что заводы Пежо и Ситроен сгорели, много убитых в частных домах.

---

[15] Церковь св. Терезы на rue La Fontaine, в Auteuil, куда Мережковские ходили каждое воскресенье. В. З.

[16] Анна Николаевна Гиппиус, сестра З. Н-ны. В. З.

Керенский весьма неутешителен.

Но газеты продолжали свое «confiance!» И что Вейган имеет план наступления, а Париж будет защищаться улица за улицей, дом за домом... если, мол, немцы, п р о т и в о ж и д а н и я, подойдут к Парижу.

Такова сила вдалбливания одного и того же, при скрывании другого, да еще неверие в небывалое и нежеланное, что мы, даже зная отрывочные факты (я отмечала, что «с войной — плохо» или «очень плохо») — мы как-то внутренно не верили, что так плохо; а уж о катастрофе в 10 дней, да еще какой! даже не помышлял никто. Но я забегаю вперед.

В среду, 5-го июня, в жаркий, прелестный парижский день, мы выехали. На вокзале было тесно, шумно, чуть-чуть ненормально. Но мы доехали прекрасно, в спальном вагоне, даже без запоздания.

Противный Биарриц сер, холоден, переполнен до отказа. Много отелей занято ранеными. Наша комната в Метрополе маленькая, чуть побольше купэ, и дорогая.

Должно быть, какие-нибудь известия просочились, т. к. 9-го июня у меня записано: «война — ужас! Французы — одни, и едва сдерживают наступление на Париж. А 10-го июня, когда выступил Муссолини, сказано: «кончена Франция». 11-го июня — «какой Апокалипсис! Правительство уезжает из Парижа».

И всё-таки, н е с м о т р я на эти слова, ощущения (внутреннего) катастрофы не было.

13-го июня: «Париж будет сдан. Тяжелый ужас».

На автомобиле приехал Керенский. От него начали получать понятие о черном наступлении и всеевропейском французско-бельгийском и т. д. п я т и м и л л и о н н о м и с х о д е.

Над Парижем — черные крылья дымовой завесы. По дорогам — брошенные автомобили, толпы людей с котомками, потерянные дети, дохлые лошади в канавах... Всё это дрожит, всё бегущее полно отчаяния, полоумия... Еще бы! Год пугали немцами и что « б ы л о б ы, если б они пришли, но они не придут confiance». И когда воочию увидел народ, что confiance — блефф! — как не бежать?!

И побежал, полоумный, черный от копоти, куда глаза глядят!

(Продолжаю уже не 1 августа, а 24, суббота, но это всё равно).

П р и м е ч а н и е: 22 августа на улице, от Меньшикова, узнали, что 4 августа умер Дима.

Напрасно стараться записать и описать все эти сумасшедшие дни, начиная с 10 июня, выступления Муссолини, весь этот Апокалипсис, когда и в книжке у меня почти нет отмет, кроме: «тяжелый ужас». «Париж будет сдан». «Завтра, как обещал Гитлер, т. е. 15 июня, он входит в Париж». (Тут же сон о Диме: «мне лучше» — и понимание, что он умирает).

И, наконец... Неужели? Да, Франция просит пощады. Петэн объявил, что «l'armistice inévitable»... Сказочно!

Бесполезно описывать и Биарриц этих дней и наши собственные мотанья после реквизиции отеля (сначала французами) в буре, в грозе, и, наконец, наше затискиванье в этот «ночлежный дом», Maison Basque, приют беженцев и начало нашего голоданья (деньги иссякли).

На улицах толпы, толпы. Магазины закрылись. Франция уже послала молить перемирия (похабного, конечно). Условия неизвестны, оно еще не принято. Лишь 23 июня стали говорить, что условия подписаны (в Compiègne), там, где Франция в прошлую войну диктовала их немцам. Та же мольба послана Италии. «Atroces exigences!» еще бы! Полфранции отрезывается. Где Правительство и какое оно — смута. Одно известно, что все смещены, орудует Petain (ему 86 лет).

24 июня — буря, гроза, Биарриц весь в безумии... И вторник, 25-го, среди продолжающейся бури объявлен «Днем траура». Битвы кончены. (Да и Франция...?).

Газеты наполнились статьями покаянья, — всё, мол, пропало, кроме чести (??). И, действительно, почему «кроме чести?» Франция поступила так же, как бельгийский король: «Roi félon», называли его, а теперь...

Впрочем, всё еще было непонятно... что случилось?

Объявили тяжелейшие условия перемирия. Кроме Парижа, севера, оккупация в с е г о западного побережья, вплоть до Испании. И победители явились в Биарриц уже 27 июня, в четверг.

О, какой кошмар! Покрытые зеленовато-черной копотью, выскочили точно из ада в неистовом количестве в таких же закоптелых, грохочущих машинах...

29 июня у меня записано: черных ро́ботов всё больше, и всё они омерзительнее... Нет выхода. И к чему говорить об honneur Франции? Позор...

Англия никакого перемирия не просила и продолжает войну.

В следующие недели постепенно выяснилось, что Англия покинула (будто) Францию с прорыва на Meuse (а сколько еще времени дурманили головы «confiance»!) и тогда судьба

Франции была решена, может быть, но наверное много еще было всякой дряни, косности, глупости и глупой беспечности. История разберет когда-нибудь. Во всяком случае план Гитлера разделить союзников вполне удался: 6 июля Франция уже порвала дипломатические сношения с Англией.

С начала июля можно, в конце концов, и не записывать ничего, ибо до сегодня никаких перемен мы не видим. Немцы запретили все газеты из неоккупированных мест, в оккупированных цензура полная, в Париже они сами издают «Matin» и «Paris-Soir». Антисемитизм полный. Здешние газеты тоже под немцами. Мы ничего не знаем кроме того, что говорят они же.

Ро́боты закопченые ходят по магазинам, всё скупают (кроме того, что интендантство так берет) и отсылают в Германию. Ни кусочка мыла уже месяц. Ходят по-трое, наглые, жрут пирожки в кондитерской... как их не разорвет! Все сношения между ихней Францией и ее незанятыми остатками — порваны. Час берлинский.

Пусть газетные вырезки докончат мое историческое повествование, до сегодняшнего дня (24 августа)[17], а дальше я к старому времени уже не вернусь, только кое-что бывшее личное, и дальше тоже о нас буду продолжать, наша тяжкая жизнь в этом концентрационном лагере... очень напоминающая мне Совдепию, жизнь в СПБ в годы 17-20.

2 сентября, понедельник.

С того дня (22 августа), как мы, встретив на улице зловещего Меньшикова, узнали, что умер Дима, я так в этом и живу. Я знала, что он умрет, что он глубоко страдает и жаждет смерти. Я даже думала, что он уже умер — трудно было себе представить, что он мог всё это, и себя, пережить...

А всё-таки — лучше не знать наверное. Вот снова подтверждение, что вера — всякая, даже не моя ничтожная, а большая — в с е г д а слабее любви. Чего бы проще, кажется, говорить, как Сольвейг:

«Где б ни был ты — Господь тебя храни
А если ты уж там — к тебе приду я»...[18]

---

[17] Эти вырезки — их 5 — особенного интереса не представляют, кроме, м. б., покаянной статьи Франсуа Мориака «La Verité», напечатанной за несколько дней до оккупации в «La Gazette de Biarritz». Но она от покаянных статей того времени отличается лишь благородством тона и тем что о немцах в ней — ни слова. В. З.

[18] Г. Ибсен, Пер Гюнт.

Да, приду. А если и не приду — ведь я этого не узнаю... Но мысль, что не приду и не узнаю...

Через день тот же Меньшиков сунул вырезку из паршивой газеты какой-то, где говорится не только о смерти Димы, но, через несколько дней после него, о смерти старика Хирьякова. Мало того: там же я узнала, что жена его, та самая Джессика (Вебер), которая годы писала мне одна о Диме и его состоянии — покончила с собой... еще в октябре! Вроде Чеботаревской, но ведь у нее была дочь, Леночка, — где она?

Это меня совсем помутило. Лучше про это здесь не надо.

Кольцо жизни стягивается. Да, я ничего, ничего не понимаю!

З. Гиппиус

В ЗАЩИТУ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА

Профессор Ив. Андреев опубликовал в церковно-философском ежегоднике «Православный Путь» (приложение к журналу «Православная Русь», 1950) статью «Владимир Соловьев — мистик в свете православия». Основная цель этой статьи — доказать, что видение Софии, как «Вечной Женственности», трижды пережитое Соловьевым, было дьявольскою «прелестью», которая отравила философию Соловьева. Для обоснования этого тезиса Андреев не только анализирует видения Софии, но еще и старательно отмечает отрицательные черты характера Соловьева, напр. то, что он в отрочестве принимал участие в диких играх и шалостях, наводящих ужас на обывателей, пережил в юности религиозный кризис «под знаком яростного атеизма», любил шутки, смех, балагурство, неприличные анекдоты (стр. 156 с.) и т. п.

Займемся вопросом о дьявольской «прелести». В стихотворении «Три свидания» Соловьев рассказывает, что он в девятилетнем возрасте влюбился в девятилетнюю девочку, но она холодно отнеслась к его признанию в любви.

Мне девять лет. Она — ей девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! Он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
«Житейское... отложим... попеченье» —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток! — бесследно вдруг иссяк он,
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

В связи с столетием со дня рождения Вл. Соловьева мы печатаем о нем статьи проф. Н. О. Лосского и Е. Х. Занкевича. *Ред.*

Выписав этот отрывок из «Трех свиданий», Андреев говорит: «Эротика и мистика здесь тесно сплетены. Корни религиозного опыта всей жизни Вл. Соловьева — в этом детском видении. Но эти переживания не православны и не церковны... Это — чистая прелесть». «Если «душа кипит в потоке страстных мук» чувственной влюбленности и ревности, то следующее непосредственно за этим состоянием «видение» не может быть ничем иным, как прелестью» (115).

Рассуждая так, Андреев ставит в непосредственную связь с видением Соловьева «эротику» и «чувственность», тогда как в действительности видению предшествовала яростная гневность («дуэль!»), которая не могла содержать в себе сексуального переживания. Гневная злобность не соответствовала характеру Соловьева; ему была свойственна любовь к людям и даже к неодушевленным предметам. В семилетнем возрасте он стал читать, по указанию своего отца, жития святых. Религиозное чувство было в нем так сильно, что он начал упражняться в аскетических подвигах; зимою он иногда лежал в постели без одеяла с целью победы над плотью. Понятно поэтому, что такой замечательный ребенок удостоился благодатной помощи Господа Бога, пославшего ему светлое видение. Возвышенный характер видения удостоверен следствием его: оно сразу исцелило душу ребенка. Соловьев продолжает свой рассказ так:

И детская любовь чужой мне стала.
Душа моя к житейскому слепа...
А немка-бонна грустно повторяла:
«Володенька — ах! Слишком он глупа».

Почему Андреев не выписал этих строк стихотворения Соловьева? Не потому ли, что они противоречат его гипотезе о дьявольской прелести? Третье, самое важное видение Софии было пережито Соловьевым в пустыне вблизи Каира. Соловьев рассказывает, как он лег спать ночью на песок в пустыне и что он увидел, проснувшись на рассвете:

И я уснул; когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами полными лазурного огня
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет во веки —
Всё обнял тут один недвижный взор...

Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Всё видел я, и всё одно лишь было, —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О, лучезарная! тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...
В душе моей те розы не завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.

Вслед за этим видением что переживал Соловьев?

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась.
И не смолкал в ней благовестный звон.

Молитва эта, сопутствуемая благовестным звоном в душе, есть, конечно, общение с Господом Богом. Злой дух был бы очень непредусмотрителен, если бы посылал видения, увлекающие душу к живому общению с Богом.

Видение Соловьева было редким случаем того явления, которое можно назвать «вселенским сознанием». О таких видениях R. Bucke написал книгу «Cosmic consciousness» в 1901 г. Он утверждает, что Паскаль имел такое видение и оно существенно повлияло на его религиозную жизнь. Если бы Bucke знал о видении Соловьева в пустыне, рассказ о нем был бы ценным украшением его книги. Величие этого видения так грандиозно, что объяснить его можно только, имея в виду всемогущество Божие, славу Царства Божия и славу Божию, как она пронизывает даже и нашу грешную Землю. Считать злую силу источником такого видения это значит оказать слишком много чести Сатане.

Профессор Андреев вовсе не цитирует в своей статье описание этого видения, приведенное мною выше. Он только говорит, что третья встреча подробно описана в поэме «Три свидания» и тотчас вслед за этим продолжает: «Это опять было состояние прелести. Достаточно сопоставить мистический опыт Соловьева с православным опытом Преподобного Серафима Саровского (беседа о Св. Духе с Мотовиловым), чтобы убедиться в полярности и несовместимости этих опытов» (161 стр.).

Если бы Андреев выписал из поэмы Соловьева описание его видения в пустыне, читатель сразу увидел бы, что нет

оснований говорить о «полярности и несовместимости» опыта Соловьева и православных святых. Он понял бы, что заявление Андреева — совершенно голословно. Подсознание Андреева хитро руководило им, побуждая его не цитировать описания третьей встречи.

Отсутствие логической связи в рассуждениях Андреева можно заметить также и в следующих его словах: «Понимая, что в основе его светлых видений лежит темная чувственность, Вл. Соловьев впоследствии написал стихотворение, в котором образно и ярко выразил мысль о том, что темное является необходимым корнем светлого:

...Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.

«Это — поэтическое оправдание прелести, которое само является соблазном», говорит Андреев и понимает «темное», как «темную и грубую чувственность» (155). В действительности «сумрачное лоно» есть, как Соловьев говорит в этом стихотворении, «сила бытия». Очевидно, он имеет в виду неопределившуюся еще, недифференцированную силу бытия, которая может свободно определить себя к творению возвышенной красоты, но может вступить и на противоположный путь творения грубой чувственности. Тютчев в своих прекрасных стихотворениях много говорит об этом «родимом хаосе», и нет оснований обвинять его в оправдании «прелести». Кольцов говорит об этой силе бытия, как о «святой колыбели».

В начале своей статьи Андреев обвиняет Соловьева в «грубой чувственности», а в конце ее, рассматривая трактат его «Смысл любви», он нападает на Соловьева за то, что он сурово осуждает «внешнее соединение, житейское и в особенности физиологическое» (169). Иными словами, Андреев упрекает Соловьева за то, что он отрицательно относится к чувственной стороне любви двух полов друг к другу, за то, что он проповедует платоническую, т. е. чисто духовную любовь их друг к другу. Итак, для Андреева, скажет ли Соловьев, «да», он в прелести, скажет ли Соловьев «нет», он опять в прелести. Ясно, что Андрееву нужно во что бы то ни стало, даже и противореча себе, принизить Соловьева. Не стоит поэтому тратить время на опровержение множества

искажений философии Соловьева в статье Андреева, но нужно коснуться вопроса о сущности системы Соловьева и отметить некоторые недостатки ее, которые однако вовсе не служат доказательством того, что его видение Софии было «прелестью».

В третьем видении весь мир предстал Соловьеву, как органическое единство. Такое строение мира есть существенное свойство его. Глубоко заблуждаются материалисты, согласно учению которых мир есть раздробленное множество. Все великие философы, — Платон, Аристотель, Плотин, Отцы Церкви, великие христианские мыслители средневековья, в новой философии Спиноза, Фихте, Шеллинг, Гегель мыслят мир, как органическое целое, в котором есть распады и разъединения, обусловленные грехом эгоизма, но они не раздробляют мир до конца; некоторый аспект органического единства всегда сохраняется и служит залогом возможности воссоединения. К сожалению, такие наиболее глубинные свойства бытия трудно выразить в точных понятиях. Когда философ начинает мыслить о них, он легко впадает в заблуждение и выражает великую истину в тесном сплетении с ложью. Это бедствие случилось и с Соловьевым. Мысля о единстве мира, он вывел его из ложного учения об Абсолютном, как Всеединстве. Согласно его учению, Абсолютное содержит в себе в неразрывной связи два полюса: вечное Абсолютное, т. е. Бога и становящееся Абсолютное, т. е. мир. Таким образом, у него нет точного понятия о бытии мира, которое свободно сотворено Богом, как нечто «совершенно иное» (см. R. Otto, Das Heilige), и вовсе не необходимое для Бога. Бог и мир у него суть два необходимые полюса Абсолютного, как Всеединства. Отсюда получается близость к пантеизму, несознанная Соловьевым. Ошибка эта очень часто встречается в философии в различных видоизменениях. В такой форме, как она находится в философии Соловьева, она имеется у Шеллинга и у многих русских философов, у от. С. Булгакова, Франка, Карсавина.

Видение Соловьева, показавшее ему мир, как органическое единство, было откровением великой истины о мире, но, пытаясь понять основы ее, Соловьев усилиями собственного мышления прибавил к ней ложь. Видение заключало в себе истину, следовательно, утверждение, будто оно было дьявольскою «прелестью», есть чистая нелепость. Мало того, поскольку Соловьев в своей философии опирается на свое видение, а не на свои субъективные домыслы, он отстаивает ценные религиозные истины. В самом деле, мир предстал пред ним

в видении в аспекте великой чистой красоты, которая поэтому обязывает признать, что единство мира есть следствие благодатной помощи Божией; и весь мировой процесс, эволюцию природы и историю человечества, Соловьев понимает, как процесс богочеловеческий, т. е. руководимый Богочеловеком Христом. Такое влияние видения на его философию явно свидетельствует, что оно было от Бога, а не от злой силы.

Недостатки философии Соловьева, упоминаемые Андреевым, еще более очевидно не стоят в связи с его видением; многие из них рассмотрены в моей «History of Russian Philosophy». Его теория андрогина, как цельной личности, получающейся в результате духовной любви мужа и жены, сочетающей их в единое целое, возможна лишь в связи с тем, что Соловьев отрицает субстанциальность человеческого я. Кто признает субстанциальность я, тот не может допустить, чтобы цельная личность получалась из сочетания двух я, мужского и женского. Ошибочные доводы Соловьева против субстанциальности я подробно рассмотрены в моей статье «The Absolute Criterion of Truth» (Review of Metaphysics, June, 1949).

Догмат Троичности есть величайшая истина, имеющая основоположное значение для всей философии, и теоретической и практической. Эта истина дана нам Откровением и не может быть строго логически доказана человеческим умом. Однако имея ее в виду особенно в сочетании отрицательного (апофатического) богословия в связи с положительным (катафатическим) богословием, человеческий ум может вырабатывать глубокомысленные соображения о смысле и составе этой идеи. Таких соображений существует множество и выражают они различные аспекты бездонной глубины этой конкретной идеи, неисчерпаемой в абстрактных понятиях. Сущность учения Соловьева о Св. Троице такова. Бог един по существу, но троичен в Лицах, которые суть д у х, как преимущественно субъект воли и блага, у м, как преимущественно субъект истины, и д у ш а, как преимущественно субъект чувства и красоты. Итак, три Лица Св. Троицы суть источник трех великих абсолютных ценностей, нравственного добра, истины и красоты. Каждая из них, доказывает Соловьев, есть одна из форм любви, если разуметь под любовью «всякое внутреннее единство многих существ». Свое учение он кратко выражает в следующей прекрасной формуле: «Абсолютное осуществляет благо через истину в красоте». Свое учение Соловьев по молодости лет в то время, когда он его развивал, считал доказательством Троичности; эта пре-

увеличенная оценка логической силы учения вовсе не умаляет ценности содержания его учения.

Андреев говорит: «дерзновенная антропоморфическая попытка Соловьева пояснить мистическую сущность Пресвятой Троицы на примере тройственности человеческого духа — самое слабое место в его построениях» (164). Всякий, кто обладает хотя бы слабым знанием истории учений о Троичности, улыбнется, читая это заявление Андреева: величайшие философы и богословы, многие из них святые, делали аналогичные попытки истолкования Троичности. Учения, подобные Соловьевскому, не суть антропоморфизм. Философ и богослов, усвоивший из Откровения догмат Троичности, очень часто приходит к мысли, что и сотворенный Богом мир имеет во множестве случаев троичное строение и находит, между прочим, троичное строение в природе человека. Таким образом учение о человеке получается тринитарное, а не учение о Боге — антропоморфическое. При этом, конечно, философы не упускают из виду коренного отличия тройственности в Боге и в человеке: в Боге — это Три Лица, а в человеке — только три способности.

Андреев не ценит научного и философского знания в вопросах религиозной веры. «Чем сильнее, глубже, чище и цельнее у человека любовь к Богу и вера в Него», говорит он, «тем больше, глубже, полнее, крепче и яснее он познает сущность явлений и перестает нуждаться в практической помощи научного и в теоретической помощи философского знания». «Соловьев этого не понимал и упорно стремился к построению, непостроимого без помощи свыше, цельного органического мировоззрения» (163). Андреев противоречит себе: если вера в самом деле ведет к глубокому пониманию сущности явлений, то это значит, что она тесно связана с подлинной наукой и философией. Можно даже утверждать, что всякое вполне достоверное знание истины достигается не иначе, как при помощи свыше; об этом можно найти ценные соображения в книге кн. Е. Трубецкого «Метафизические предположения познания». Где есть бескорыстное стремление к добру, там, наверное, есть и помощь Божия. Если математик, даже и неверующий в Бога, искренно стремится к постижению истины, он открывает математические истины при благодатной помощи Божией. Уверенность Андреева в том, что Соловьев, вырабатывая свои философские учения, не понимал необходимости помощи свыше, высказывается им совершенно голословно. Правда, в философии Соловьева есть много ошибок и недоговоренностей, но то же самое можно

сказать и о всех человеческих философских трудах без исключения. Андреев упускает из виду, что даже и философско-богословские творения величайших Восточных Отцов Церкви, исходящие из глубокой и святой веры, тем не менее далеки от совершенства. И. В. Киреевский говорит, что в творениях Отцов Церкви нет совершенной философии и потому, опираясь на них, нужно продолжать разработку ее. Это дело может быть выполнено лишь многими поколениями и никогда не будет завершено в земных условиях.

В традиционных христианских учениях есть много утверждений, явно несостоятельных. Напр., не разграничивая точно первый акт творения Богом «неба и земли» от следующих за ним шести дней творения, которые можно понимать, как шесть дней эволюции «земли», совершающейся при благодатной помощи Божией (напр. «да будет свет»), христианская литература ведет к мысли, будто Бог сотворил также и несовершенное бытие, что совершенно недопустимо. Непонятна мысль, что грехопадение Адама повело за собою искажение всей природы. Широко распространено среди христиан традиционное учение об аде, согласно которому бесчисленное множество людей после нескольких десятков лет жизни обречено на невыносимые муки, длящиеся безысходно в течение бесконечного времени. Мысль, что всеблагой Бог, обладающий всеведением, сотворил такие навеки несчастные существа, несостоятельна. Богословие и философия стоят перед задачею истолковать слова Иисуса Христа о вечных муках так, чтобы показать, что они вовсе не обязывают выработать учение о д е й с т в и т е л ь н о с т и вечно длящихся во времени мучений в аду.

Множество мыслящих людей отпали от христианства вследствие недостатков его традиционных форм, и Соловьев задался целью ввести вечное содержание его «в новую соответствующую ему, т. е. безусловно разумную форму» (Письмо двадцатилетнего Соловьева к Романовой). Защиту существенных истин христианства он предпринял в то время, когда в русском обществе господствовал материализм, позитивизм и нигилизм. Его призыв вернуться к христианству, выраженный в живой новой форме и согласованный с требованиями современной науки и философии, не остался «гласом вопиющего в пустыне». Много талантливых русских людей, даже и тех, которые в юности были марксистами, посвятили под влиянием Соловьева свою жизнь разработке христианского миропонимания на высоком уровне современной культуры. Ни Соловьев, ни его преемники не создали вполне совершенной хри-

стианской философии, потому что эта задача не может быть выполнена человеческим умом. Однако многие ценные стороны христианства выражены в этих трудах в новом освещении без нарушения догматов и, следовательно, без впадения в ересь. Благодаря этой работе религиозных философов начинает восстанавливаться связь русской интеллигенции с Церковью и можно надеяться, что это движение спустится вниз в мало образованные круги общества, утратившие религию под влиянием псевдо-научной пропаганды большевиков. Если такие традиционалисты, как профессор Андреев, будут после свержения большевиков задавать тон в России, они опять скомпрометируют христианство и оттолкнут от Церкви интеллигенцию, вслед за которою отпадут от Церкви и менее образованные круги народа.

Необдуманный поступок Соловьева, принятие им один раз в жизни в 1896 г. причастия у католического священника, был вызван грубою нетерпимостью его духовного отца. Соловьев очень дорожил Таинством Евхаристии. После опубликования книги его «La Russie et l'Eglise universelle» в 1889 г., где Соловьев признает Папу Римского духовным главою христианства, он пошел исповедываться у своего духовника отца Варнавы, но от. Варнава сказал ему: «Иди, исповедуйся у своих католических священников»! Длительное лишение св. Причастия тяготило Соловьева и через несколько лет он причастился у католического священника Николая Толстого. Он решился на этот шаг, потому что согласно его учению мистическое единство Восточной и Западной Церкви сохраняется, несмотря на внешнее разделение их. Поэтому причастие у католического священника не было для него отречением от православия и переходом в католичество. Вообще Соловьев принадлежал к числу тех людей, которые полагают, что вероисповедные перегородки до неба не доходят. Однажды он сказал профессору Лопатину: «Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик»[1].

Принимая во внимание благожелательное отношение Соловьева ко всем христианским вероисповеданиям, можно согласиться с Мочульским, что Соловьеву «принадлежит заслуга единственно правильной постановки вопроса, инициатива растущего на наших глазах экуменического движения»

---

[1] Об отношении Соловьева к протестантизму недавно появилось обстоятельное исследование: L. Müller, Soloviev und der Protestantismus, Verlag Herder, Freiburg, 1951.

(Вл. Соловьев, стр. 135). Андреев решительно осуждает это движение. Он говорит, что «консервативное (т. е. охраняющее Истину) Православие борется в настоящее время с разнообразными формами обновленческого Православия»; оно борется с «проповедью единения между Истиною и Ложью, широкими потоками Экуменического движения, беспредельным расширением понятия о церковной икономии, деятельностью ИМКА, обновленческими принципами нового богословского образования и т. п.» (153). Такой консерватизм есть не охранение истины, а ненависть ко всякой вновь открытой истине, нисколько не противоречащей старым истинам, и даже ненависть к новому стилю выражения исконных истин христианства. Это — дух старообрядчества, напоминающий нетерпимость Никиты Пустосвята.

Особенно горестно видеть непонимание ценности экуменического движения. Враждебное отношение различных вероисповеданий друг к другу в высокой степени компрометирует нас, христиан. Экуменическое движение объединяет тех лиц, которые, руководясь подлинною христианскою любовью, задаются целью благожелательно исследовать различия и сходства разных вероисповеданий. Объединяемые общею любовью к Христу, сторонники этого движения становятся способными видеть и понимать достоинства каждого из вероисповеданий, вовсе не отрекаясь от своего вероисповедания. В экуменическом движении видное место занимает от. Георгий Флоровский, важнейший современный представитель охранительного православия. Достаточно этого имени, чтобы понять, что участие в экуменическом движении не есть измена Православию.

Великую услугу русской культуре оказала американская YMCA в Париже, издавшая множество русских книг, вовсе не требуя, чтобы они были близки к протестантизму. Некоторые из этих книг талантливо освещают христианство и в частности Православие с новых точек зрения и в глубоко новом стиле. Они приобретают всё возрастающее влияние во всем мире, возвращают интеллигенцию к Церкви и вызывают уважение к Православию у иностранцев. Осуждение американской YMCA за эту бескорыстную деятельность ее есть проявление постыдной неблагодарности. Если бы дух старообрядческого изоляционизма возобладал у нас, Русское Православие приобрело бы характер некультурного провинциализма и упало бы на уровень узколобого сектантства.

Приступив к писанию статьи против Соловьева, Андреев, повидимому, не перечитал его произведений и литературы о

нем. Многие из отрицательных оценок учений его, а также указания на недостатки его характера он почти дословно выписал из книги Мочульского с тем однако существенным отличием, что Мочульский считает видение Софии светлым и заканчивает свою книгу словами профессора Герье над могилою Соловьева: «Радость и надежду ты всюду вносил с собою, дорогой Владимир Сергеевич... Светлое видение, которым ты жил и утешался, было не напрасным».

После статьи Андреева появилась в «Православной Руси» (1951, № 9) без подписи статья «Одним ли мvром мы мазаны?», содержащая в себе также отрицательное отношение к философии Соловьева. Автор ее говорит:

«Знает Церковь Бога, знает человека, знает — Богочеловека, крестною смертью примирившего падшее человечество с Богом, но не знает православное сознание 'Богочеловечества'». В учении Вл. Соловьева автор находит «соблазнительную светскую философию, с головою выдающую себя самым именем богочеловечества».

Удивляет это резкое осуждение термина «богочеловечество». Идея нераздельности и неслиянности двух природ, Божеской и человеческой, в Иисусе Христе, хорошо выражается словом Богочеловечество. Если этого слова не было до Вл. Соловьева (что мне не верится), то велика заслуга нашего великого мыслителя, который ввел этот термин. К сожалению, слово человечество имеет два значения: им можно обозначить абстрактно человеческое естество, но еще чаще мы разумеем под ним конкретное целое всех людей. Однако когда мы говорим о Богочеловечестве Иисуса Христа, этого недоразумения не возникает. К тому же, излагая свое учение о Богочеловеке Иисусе Христе, Соловьев подчеркивает, что оно «тождественно с догматическими определениями Вселенских соборов» (Чтения о Богочеловечестве, XI и XII).

Соловьев употребляет слово Богочеловечество также и в том смысле, при котором человечество означает весь человеческий род. Иисус Христос, второй Адам, говорит Соловьев, «не есть только э т о индивидуальное существо, но вместе с тем и универсальное, обнимающее собою всё возрожденное, духовное человечество»; это тело, Церковь, «развивается, чтобы в конце времен обнять собою всё человечество и всю природу в одном вселенском богочеловеческом организме» (там же). В книге «Духовные основы жизни» Соловьев так выражает эту мысль: «Церковь не есть совершенное Богочеловечество, а только совершающееся» (часть II, гл. II).

Совершенствование человечества под руководством Бого-

человека Иисуса Христа имеет целью достигнуть того состояния, о котором Апостол Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (К Галат., 2,20). Имея в виду эти слова Апостола, можно понять, почему Соловьев решился назвать Церковь Богочеловечеством.

Не будучи специалистом в богословских вопросах, я обратился к богослову, хорошо знающему творения Отцов Церкви, как Восточных, так и Западных. Его ответ показывает, что вопрос о термине «Богочеловечество» в обоих его значениях весьма сложен: по его словам, возражения против этого слова в применении к Иисусу Христу имеют основание, поскольку слово человечество здесь есть абстрактное понятие, а в Богочеловеке Христе всё имеет конкретный характер. Из таких соображений ясно, что человеческий язык слишком мало приспособлен для выражения трудных богословских проблем; какое бы слово мы ни избрали, оно может вести к недоразумениям и заблуждениям. Как раз общепринятое выражение «Богочеловек Иисус Христос» может быть источником особенно грубого заблуждения: Бог-Логос есть личность, человек есть тоже личность, поэтому можно вообразить, будто «Богочеловек» есть существо, состоящее из двух личностей, что нелепо и противоречит Халкедонскому догмату. Что же касается термина «Богочеловечество Иисуса Христа», несмотря на абстрактное значение слова человечество в нем, он хорошо выражает догмат, поскольку, говоря о воплощении Логоса, мы утверждаем, что Он имеет два естества: в слове естество находится такой же суффикс «ств», как и в слове Богочеловечество.

Говоря о совершенной Церкви, как о Богочеловечестве, мы разумеем под словом человечество конкретное целое людей. Но этот термин тоже может повести к грубому заблуждению, именно к нелепой мысли, будто он означает, что каждый человек, достигший состояния, о котором говорит Апостол Павел, имеет сам в себе и Божескую и человеческую природу. Итак, куда ни кинь, всё клин; все термины человеческого языка несовершенны. Однако не следует бояться слов: пользуясь каким-либо термином, нужно давать определение его, и люди, обладающие живым умом, способные присоединять к непривычному для них термину смысл, выраженный в определении его, не впадут в заблуждение. Соловьев, употребляя термин Богочеловечество, дает разъяснения его, нигде не противоречащие догматам Православия; поэтому нападение на него в статье «Одним ли миром мы мазаны?» несправедливо.

Н. Лосский

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ, КАК ПУБЛИЦИСТ

1

Всё то, что высказано Владимиром Соловьевым в его публицистических работах, органически вытекало из его мировоззрения и жизнеощущения. Вот почему его публицистическая деятельность может быть лучше понята и должным образом оценена лишь в связи с его взглядом на мир и жизнь. Без этого условия деятельность эта оказалась бы изолированной, оторванной от питавшего ее живого источника.

Владимир Соловьев был не только блестящим публицистом, но прежде всего глубоким мыслителем и мистиком; он был, кроме того, богословом, историком, литературным критиком и поэтом. Он был, далее, истинным человеком, о котором Э. Л. Радлов выразился, что у него было «гениальное сердце». Несмотря на многосторонность своего творчества или, вернее, именно благодаря ей, Соловьев был необычайно цельной натурой. Через всю его жизнь и его неутомимую деятельность проходит ярко выраженное чувство вселенскости, его универсализм. В этом отношении он резко выделяется, как редкое и своеобразное явление, на фоне не только русской, но и мировой философии последних столетий. Ничто не было так чуждо и противно его природе, как партикуляризм и сектантство всякого рода. Причину этой характерной особенности Соловьева следует искать в тех внутренних глубоких переживаниях, которые он испытал трижды в своей жизни: в первый раз 9-летним мальчиком и дважды в 22-летнем возрасте, при чем третье и последнее переживание имело место в египетской пустыне и самим Соловьевым считалось «самым значительным событием» в его жизни. Из переживаний этого рода, которые можно рассматривать как непосредственный религиозный опыт и которые в литературе известны как «озарение», «прозрение», «духовное созерцание», вытекала не только его философия, но и вся его жизнь — не только жизнь мысли и чувства, но и жизнь воли, жизнь в высшем духовном плане и жизнь

повседневная. Подобные переживания определили в свое время характер жизни и направление деятельности таких исторических фигур как Моисей и другие ветхозаветные пророки, как Будда, Платон, Плотин, Яков Бёме. В поэтической форме это переживание нашло отражение в стихотворении А. С. Пушкина «Пророк». До сих пор недоказано, пережил ли сам поэт то, о чем он говорит в этом стихотворении, но несомненно, что в нем изображено в образах именно то, что пережил Соловьев в египетской пустыне и что переживали еврейские пророки или Яков Бёме[1].

Внутренний опыт еще более обогатил духовную жизнь юного мыслителя; благодаря этому опыту, Соловьев обрел не только уверенность в правоте своего дела, не только чувство своего призвания, но и чувство смирения и скромности. Он никогда не был чисто академическим, оторванным от жизни и абстрактно-мыслящим философом. Его философствование развивалось в связи с культурной и общественной жизнью его времени. По природе своей он был предрасположен к тому, чтобы действовать в мире как философ-публицист в лучшем значении этого слова.

Уже в первом публичном выступлении Соловьева — хотя это было перед студенческой аудиторией — чувствуется вся сила его публицистического и полемического таланта. Я имею в виду его первую лекцию в московском университете, прочитанную им в начале 1875 года. Хотя тема этой лекции («Метафизика и положительная наука») казалась далекой от жизни, но 22-летний доцент Соловьев уже тогда прозревал непосредственную связь модного в то время направления мысли с опасностями в общественной и духовной жизни. Можно сказать, что публицистическими отступлениями изобилуют почти все произведения Владимира Соловьева. Каким бы отвлеченным ни показалось на первый взгляд то или иное его сочинение, оно сплошь и рядом содержит в себе обсуждение самых животрепещущих вопросов. Стремление служить развитию и благу народа и человечества проявилось у Соловьева весьма

---

[1] Тема о «религиозном» или «мистическом» опыте разработана в современной философии и психологии весьма недостаточно. Имеются отрывочные данные в книгах В. Джемса «Многообразие религиозного опыта», Д-ра Бека «Космическое сознание» и некоторых других работах, мало известных широкому кругу читателей. Внутренний религиозный опыт есть как раз то, что отсутствует у некоторых религиозных писателей, например, у Н. Бердяева. *Е. З.*

рано. Еще юношей он горел желанием помочь обществу истинным просвещением. В переписке со своей кузиной Е. В. Селевиной (урожденной Романовой) он, между прочим, писал: «Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным... Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено»[2].

Публицистическими сочинениями Соловьева обыкновенно считают следующие его работы: «Национальный вопрос в России», «Византизм и Россия», статьи о неурожаях в 90-х годах, посвященные общественным проблемам главы «Оправдания добра» и последнее его произведение, «Три разговора». Статьи и книги Соловьева свидетельствуют о блестящем таланте проповедника социальных идей, основанных на здоровой духовной жизни, на принципе свободы и христианской морали. Соловьев обладал незаурядными ораторскими способностями, однако некоторые события в его жизни заставили его выступать публично лишь в исключительных случаях.

2

Как известно, профессорская деятельность Владимира Соловьева продолжалась всего лишь один год и прекратилась на второй день после его знаменитой лекции в Петербургском Кредитном Обществе (в 1881 году). В этом выступлении Соловьев высказал мысль, что, исходя из чисто христианских мотивов, убийцы царя Александра II должны были быть помилованы: наступило время, когда царь может доказать последует ли он Христу; если же он не последует Ему, то мы будем следовать Христу, а не царю. Из публики подошел к докладчику какой-то субъект, погрозил ему кулаком и сказал: «В первую очередь тебя надо повесить». Но среди слушателей раздались возгласы: «Нет, он будет нашим пророком!..». Слова Соловьева произвели в официальных кругах весьма отрицательное впечатление и ему ничего иного не оставалось, как подать прошение об отставке, которая и была принята университетским начальством. Один из его слушателей впоследствии рассказывал, что он посетил Соловьева на другой день

[2] Письмо Владимира Соловьева от 2 августа 1873 г. (См. «Русская Мысль», 1910, № 5, стр. 170-172).

после его смелой лекции. Соловьев был сильно озабочен и писал длинное письмо одному высокопоставленному лицу, в котором разъяснял истинный смысл своей лекции, опиравшейся на христианские принципы. Этот студент слышал, как беспрерывно раздавался звонок в передней, и видел, как профессору приносили букеты цветов и письма[3].

С прекращением профессорской деятельности Владимир Соловьев сделался вольным ученым и публицистом. Обыкновенно он жил на пятом этаже какой-нибудь петербургской гостиницы, принимал там различных посетителей и работал нередко и по ночам. И он не делал ничего для того, чтобы снова вернуться к столь успешно начатой им педагогической деятельности. В письме к А. А. Кирееву в 1883 году он писал: «Мне минул 31 год, и я начинаю тяготиться своей праздностью; не придумаете ли вы мне какого-нибудь практического занятия, кроме профессорского, ибо я к нему не желаю возвращаться»[4]. Из этих строк видно, насколько сильный шок причинила душе Соловьева история с его публичной речью в Кредитном Обществе.

Сестра Соловьева, М. С. Безобразова, описала в своих воспоминаниях последний публичный реферат брата, имевший место около 1893 года в Москве. «Зал был переполнен, — рассказывает она, — яблоку негде было упасть. Соловьев вышел. Бледный, тихий, печальный смотрит перед собой, чуть-чуть прищурившись. Но вот он приподнял голову, всегдашним жестом откинул со лба волосы, заговорил, сначала негромко, потом голос всё креп, могучей, мягко-звенящей волной перекатывался по зале, вольно, легко разливаясь до самых дальних концов и углов. Широко раскрытые глаза горят, лицо вдохновенно и всё словно светится. Соловьев громит, голос растет и, кажется, один этот человек в зале, один звук наполняет весь воздух кругом — его голос. Он громит беззаконие власть имущих законников, безверие верующих и христиан, бьющих себя в грудь и смиренно и самодовольно произносящих: Господи! благодарим Тебя, что мы не как эти мытари и грешники, — после чего спокойно предаются радостям жизни, в которых каждодневно распинают Христа. Он прославлял неверующих, которые, не веря, горят любовью и сгорают за других; тех беззаконников, которые, попирая законы человеческие, блю-

---

[3] Н. Н-в: «Воспоминания о Вл. Соловьеве», «Мир Божий», 1900, № 10, стр. 25-27.

[4] См. Письма В. С. Соловьева под ред. Э. Л. Радлова, Спб., 1909, т. II, стр. 110.

дут, хотя бы и не сознавая в горячности своей, законы Бога...». С эстрады оратор пошел медленно, чуть сгорбившись, приглядываясь и щурясь (Соловьев был близорук), чтобы не толкнуть кого-либо. Раздался взрыв аплодисментов с одной стороны и «несмелое, невнятное шипение — с другой». В толпе слышалось: «Пророк! Так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота!». Другие говорили обратное: «Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается... Против правительства, против законного порядка... Чересчур смел! — надо бы ему рот закрыть»... После этой речи Соловьева ему действительно было запрещено выступать публично[5].

Мы видим, что по своему темпераменту и характеру мысли Владимир Соловьев был прирожденным оратором, проповедником и публицистом. И если внешние обстоятельства не благоприятствовали его выступлениям с речами и публичными рефератами, то всю силу своего таланта он мог сосредоточить в своих статьях и книгах.

3

Великой заслугой Соловьева, как публициста, было разоблачение несостоятельности и внутренней фальши крайнего национализма, выступившего в 80-х годах прошлого столетия под флагом «позднего славянофильства», фактически выродившегося в доктрину народного самовосхваления, застоя и реакции. Соловьев боролся с этим направлением, неутомимо преследуя его приверженцев до «последних их убежищ и изворотов». Его критика национализма, о которой мы будем говорить дальше, далеко опередила его время и особенно теперь, в середине XX-го столетия, мы, пережившие страшные годы тоталитарного нацизма, можем по достоинству оценить борьбу Владимира Соловьева с этой аномалией идеологического и социального развития. Мысли Соловьева в этом вопросе имеют значение не только для русского, но для всякого иного народа.

Состояние русского общества конца 80-х годов современники изображают весьма мрачными красками. На русское общество быстро надвигалась некая тьма. «Дикие вопли казались призывным кличем, болотные огни принимались за путеводные звезды». Проповедь эпигонов славянофильства,

---

[5] См. М. С. Безобразова: «Воспоминания о брате Владимире Соловьеве». «Минувшие годы», СПБ. 1908, 5-6, стр. 148-149.

выражавшаяся в человеконенавистничестве, высокомерии и невежестве, уже торжествовала свою победу, выдавая себя за единственно «законное выражение русских начал и патриотизма». И вот среди этого мрака и брожения умов ярким светом блеснуло правдивое и сильное выступление в печати Соловьева. Это была его статья «Россия и Европа», появившаяся в 1888 году в «Вестнике Европы». До сих пор автор был известен и почитаем лишь в литературных кругах; теперь же его имя стало общеизвестным и сразу заняло выдающееся место. Это признавали как друзья, так и враги.

Спор закипел вокруг сочинения Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», объявленного катехизисом позднейшего славянофильства. Это сочинение сделалось ширмой, которой прикрывались «маленькие душой и умом, но сильные внешним успехом провозвестники новой, модной формы национализма». Раньше Соловьев помещал свои статьи в таких журналах, как «Русский Вестник». «Православное Обозрение», «Русь» или «Известия Славянского Общества». Эти издания носили более или менее националистический характер; поэтому особенности взглядов и личность Соловьева, помещавшего в них свои статьи, невольно оставались для читателей неясными. По мере духовного роста Соловьева расхождения между ним и руководителями названных изданий усиливались. Редактор «Руси» И. С. Аксаков стал печатать примечания к статьям философа, что приводило к полемике между редактором и сотрудником. Наконец, наступил момент, когда Соловьев, видя в национализме угрозу тому делу, которому он чувствовал себя призванным служить, почувствовал настоятельную потребность в беспрепятственном высказывании своих взглядов. И он порывает отношения со своими первыми литературными друзьями и начинает печатать свои статьи в «Вестнике Европы». Однако, печатая свои работы в журнале западнического направления, он не сделался западником в полном значении этого слова, как он не был до того и ортодоксальным славянофилом.

Тем не менее в некоторых кругах Соловьева стали называть перебежчиком из славянофильского лагеря в западнический. Он сам говорил, что подобное суждение такая же неправда, как и утверждение многих, что он будто бы римский католик, протестант или иудей. Партийность всякого рода была чужда духу Соловьева, и если в начале своей публицистической деятельности он дружил с славянофилами, то это объясняется тем, что у славянофилов — особенно у ранних — он находил какую-то частицу истины. В «Очерках из истории русского сознания» («Вестник Европы», 1889, №№ 5, 6, 11

и 12) он дал всестороннюю и глубокую оценку всего славянофильства. Он прямо поставил вопрос: где теперь славянофильский лагерь и его представители? И отвечал, что все приверженцы наивного, безидейного национализма объединились в самом ярком проявлении псевдо-национального принципа — в антисемитизме. В остальном они не шли далее вопроса о бороде и платье. Достоинство того или иного учения познается по его плодам. И Соловьев указывал, что наиболее зрелым плодом славянофильства был «мусульманский фанатизм М. Н. Каткова и других «новейших обскурантов». Эти люди уверовали в русское государство как в абсолютное воплощение народной силы. Такая вера ведет к отрицанию всяких объективных начал правды и добра. Русский национализм, как он выразился в славянофильстве, прошел полный цикл своего развития. Первая фаза этого развития состояла в поклонении собственному народу, как преимущественному носителю вселенской правды. Во второй фазе национализм поклонялся народу, как стихийной силе, независимой от вселенской правды. И, наконец, наступила фаза прямого отрицания вселенской правды, фаза поклонения тем националистическим односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяли русский народ от остального человечества. По свидетельству современников, слова Соловьева прозвучали погребальным звоном над славянофильской аберрацией национализма.

Для всякого народа есть, по Соловьеву, только два исторических пути: языческий путь самодовольства, косности и смерти и христианский путь самосознания, совершенствования и жизни. Истинный патриотизм требует не самолюбования и самовосхваления, а национальной самоотверженности. Первым актом такой самоотверженности в русской истории было призвание варягов. Принятие христианства от греков тоже свидетельствовало о смирении русского народа, а не о его самодовольстве. Наконец, в петровской реформе, открывшей путь к западной образованности, проявилась самобытная черта народного характера, состоявшая в том, что народ не стал слепо подражать западным образцам, а стал творчески перерабатывать достижения Запада. Только на этой основе мог произойти тот подъем национального творчества, который ознаменовал 19-й век в России.

В «Национальном вопросе в России» Соловьев блестяще вскрывает сущность не только русского, но и всякого национализма. «Возводить свой интерес, свое самомнение в высший принцип для народа, как и для лица, — писал он, —

значит узаконить и увековечивать ту рознь и борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но весь исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограничении этого факта, в постепенном возведении человечества к высшему образу правды и любви». Соловьев часто повторял, что христианство упраздняет не национальность, а национализм. Народность или национальность есть положительная сила, выдвигающая богатырей научной и художественной мысли. Но ей противоположен национализм, представляющий собой коллективный эгоизм; он понижает духовный уровень народа и личности и содействует развитию грубых инстинктов.

Каждый народ по особенностям своего характера предназначен для особого служения. Народности — это как бы различные органы в едином теле человечества. Но если члены человеческого тела только в басне спорят между собою, то в народах — органах человечества, слагаемых не только из стихийных, но и из сознательных и волевых элементов, — может возникнуть и возникает на деле противоположение себя целому, тенденция выделиться и обособиться от него. В такой тенденции положительная сила народности превращается в отрицательное усилие национализма. Это есть народность, оторванная от живых сил и обращенная ко всему дурному. Крайний национализм губит впавший в него народ, делает его врагом человечества, которое всегда окажется сильнее отдельного народа.

Для Соловьева, однако, сверхнародное не есть безнародное. Победа над личным эгоизмом не есть уничтожение человеческого «Я», человеческой личности, а, напротив, есть возведение этой личности на более высокую ступень. Так обстоит дело и с народом. Отказываясь от своего национализма (то есть от национального эгоизма), народ не только не теряет самостоятельной жизни, но обретает свою настоящую жизненную задачу, состоящую не в преследовании низменных интересов, а в исполнении исторической обязанности, соединяющей его со всеми другими народами в общевселенском деле. Патриотизм, возведенный на эту ступень, дает полноту личной нравственности. Лучшие стороны человеческой души прилагаются тогда к вопросам и делам политическим, а не противопоставляются им. Бесчеловечие в международных и общественных отношениях, политика людоедства губит и личную, и семейную нравственность. Человек не может долго пребывать в состоянии раздвоения между личной

нравственностью и политической безнравственной деятельностью. Не следует возводить это раздвоение в принцип и действовать в отношении людей своей народности по-христиански, а в отношении прочих сограждан по-язычески. И Соловьев призывает представителей государственного и национального интереса покончить с практикой, диктуемой воззрениями, свойственными лишь придорожным разбойникам и африканским дикарям. Высшим руководящим началом всякой политики должен быть не интерес и не самомнение, а нравственная обязанность.

«Одно знаю наверное, — писал Соловьев, — если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, от права силы и не поверит в силу права, если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины, она не будет иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних». В частности, Соловьев утверждал, что без этой духовной свободы окажется невозможным разрешить такие важные вопросы, как польский, славянский и еврейский. В этих вопросах необходимо руководствоваться голосом совести.

Соловьев пытался «охристианить» не только дела церковные, государственные и гражданские, но и область экономических отношений. Он не боялся так называемого «короткого замыкания», к которому, по взгляду некоторых современных публицистов, может привести контакт политики и христианского начала.

4

В статьях, посвященных неурожаю в России в 1891-1892 годах: «Народная беда и общественная помощь» («Вестник Европы», 1891, № 10) и «Мнимые и действительные меры к подъему народного благосостояния» (там же, 1892, № 11), Соловьев изобличает крайнюю несостоятельность нашего высшего полу-культурного общества и такую же несостоятельность «нашего бескультурного народа». Народ жил вполне так, как того требовали противники просвещения, никакой цивилизации не знал и пришел к такому упрощению, которое стало смущать даже опростителей, убедившихся в невозможности для них признать голодную смерть нормальным явлением. В стихийном бедствии, принесенном неурожаем 1891 г., Соловьев видел не случайное зло, а неизбежное следствие состояния нашего общества. Там, где нет «прочного союза свободных индивидуальных сил, солидарно и сознательно действующих

для улучшения народной жизни», — там нет и подлинного общества. Создание такого союза в России тем более необходимо, что дело шло уже *не об улучшении,* а о *сохранении* народной жизни. Опорой общества нельзя считать ни религию, ни семью, ни собственность; единственная нравственная основа общества — это принцип *человеческого достоинства.*

К работам Соловьева, посвященным политическим вопросам, принадлежат статьи: «Значение государства» («Вестник Европы», 1895, № 12) и «Византизм и Россия» (там же, 1896, №№ 1 и 4). Статьи эти блестяще написаны, хотя некоторые положения автора и представляются спорными. Они дают яркую характеристику основных моментов истории Византии и влияния их на русское государство и церковь. Русские цари, подражая римским и византийским кесарям, забыли о задаче «поднимать языческое государство до высоты христианского царства» и стали понижать христианское царство до уровня «языческой самодовлеющей государственности». Подобный разлад между признанием истины на словах и отрицанием ее на деле ярко сказался в жестоком царствовании Ивана IV Грозного. Россия XVIII-го века сознала гибельность этого разлада, что является великой заслугой Петра I.

Недостаток более глубокого мышления привел к роковым противоречиям и русское общество XIX-го века. С одной стороны, «люди, исповедывавшие, и даже с особым усердием, христианские начала, вместе с тем проповедывали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления». С другой стороны, люди, требовавшие «нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности».

Учениями, «упраздняющими самое понятие о нравственности», являлись те модные философские течения, которые стали засасывать русскую интеллигенцию 70-х и 80-х годов. Как известно, магистерская диссертация Соловьева была озаглавлена: «Кризис западной философии. Против позитивистов». (1874). В этой диссертации юный мыслитель выступил против господствующего философского течения и подверг, кроме того, смелой критике западную философию. Сила критической мысли Соловьева была настолько велика, что присутствовавший на этом диспуте известный историк К. Н. Бестужев-Рюмин (1829-1897) написал вдове московского профессора Ешевского: «Россию можно поздравить с гениальным человеком».

Появление на кафедре молодого Соловьева было событием большого значения. Открыто и без компромиссов он изло-

жил свое мировоззрение, примкнув к духовному направлению, представленному такими мыслителями, как И. В. Киреевский (1806-1856) и П. Д. Юркевич (1827-1874). Тем самым он вступил в борьбу с идеями, представленными в России Н. Г. Чернышевским и его единомышленниками. Такой тонкий наблюдатель общественной жизни, каким был Владимир Соловьев, не мог не почуять уже в ту эпоху двух опасных тенденций в умственном и общественном развитии России — тенденций, которые вполне созрели и дали плоды лишь в XX-м столетии. Соловьев с его духовной дальнозоркостью отчетливо видел, куда приведут обе аномалии, если они будут расти. С одной стороны, это была аномалия национализма (поздние славянофилы с их псевдо-патриотизмом); с другой — бескомпромиссный материализм, одним из виднейших представителей которого был Н. Г. Чернышевский, оказавший такое сильное влияние на молодого Ленина.

Мысли Соловьева о позитивизме и социализме рассеяны во многих его сочинениях. Мы ограничимся лишь немногими цитатами. В «Философских началах цельного знания» (1877) мы читаем: «Как социализм, если бы даже осуществились все его утопии, не мог бы дать никакого удовлетворения существенным требованиям человеческой воли, так точно и позитивизм, если бы даже исполнились его pia desideria (благочестивые пожелания) и все явления, даже самые сложные, были сведены к простым и общим законам, не мог бы дать никакого удовлетворения высшим требованиям человеческого ума, который ищет не фактического познания (т. е. констатирования) явлений и их общих законов, а разумного их объяснения». В своей речи «Три силы» (1877) Соловьев говорил: «Смешно было бы видеть в социализме какое-то великое откровение, долженствующее обновить человечество. Если в самом деле предположить даже полное осуществление социалистической задачи, когда всё человечество равномерно будет пользоваться материальными благами и удобствами цивилизованной жизни, с тем большею силой станет перед ним тот же вопрос о положительном содержании этой жизни, настоящей цели человеческой деятельности, а на этот вопрос социализм, как и всё западное развитие, не дает ответа».

5

Творческая натура Соловьева жила не только в мире теоретической мысли, она стремилась к деятельному воплощению в жизнь подлинного, нелицемерного христианства. Соловьев

был проповедником активной бодрости духа, которой так недоставало русскому обществу. Видя недостатки и пагубность политических устремлений 80-х годов, он выступил с разъяснением вопроса, что требуется от русской «партии», тогда еще не существовавшей. «Одно из двух — писал Соловьев в 1886 году, — или Россия находится в духовном младенчестве и тогда ни о каком сознательном общественном действии и ни о какой русской партии не может быть и разговора. Или же для России наступила пора духовной зрелости, и в таком случае русская партия должна прежде всего добиваться того, чтобы русский народ мог *свободно* итти своим путем. Не внешние враги и соперники, не поляки и немцы на наших окраинах составляют важную помеху для правильного хода русской жизни; настоящая наша беда — в той охранительной системе, которая всячески старается внутри самой России похоронить ее веру, угасить ее дух, заглушить ее слово»[6].

В этюде «Идолы и идеалы» (1891 г.) Соловьев видит грех национализма (славянофильства) не в том, что он приписывал России высшее призвание, а в том, что он забыл о нравственном начале. «Пускай бы эти патриоты еще решительнее провозглашали русский народ собирательным Мессией, лишь бы только они помнили, что Мессия должен и действовать как Мессия, а не как Варрава». По мнению Соловьева, на деле оказывалось, что в основе учения славянофилов была не христианская идея, а «зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служения высшему началу и делающий из самой нации предмет идолослужения. Провозгласили себя народом святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя его стали проповедывать — к счастью, не вполне успешно — такую политику, которая не только святым и богоносным, но и самым обыкновенным смертным никакой чести не делает».

6

В замечательных по силе и красоте мысли произведениях Владимира Соловьева иное может показаться сейчас ошибочным или устарелым. Но на высказывавшиеся им в разное время положения не следует смотреть, как на нечто застывшее или окостеневшее. Соловьев беспрестанно рос духовно, благодаря этому росту находил силы преодолевать в себе то, что в новой фазе развития ему казалось ошибочным. Его мысли, например, о теократии или о соединении церквей были не застывшими

[6] Вл. Соловьев: «Что требуется от русской партии?» (1886).

догмами, а только этапами на его духовном пути. Близко знавший его В. Л. Величко сообщает, что за месяц до смерти Соловьева он попросил у последнего давно изданную брошюру «L'idée russe», проникнутую симпатиями к унии. Соловьев ответил: «Зачем? Это отошло. Я — живой человек, а не бронзовая медаль какого-нибудь изма»[7]. Проповедник идеи соединения церквей во второй период своего философского развития, Соловьев в последнем своем произведении «Три разговора» отказался от этой идеи, а в повести об Антихристе мы читаем, что теократия была введена никем иным как Антихристом.

Близкий друг Соловьева, князь Евгений Трубецкой писал в 1911 году: «Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподазривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника. Переход от одной точки зрения к другой понимается, как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие. Соловьеву в течение всей своей жизни приходилось страдать от такого партийного к себе отношения и не в одной политике. Современники приклеивали к нему ярлык «славянофила»; в славянофильском лагере, наоборот, его в то же самое время травили, как «западника», «католика»[8] и даже «изменника». При этом нельзя сказать, чтобы никто его не ценил: многие восхищались им, как публицистом, другие пленялись его стихами, третьих привлекала какая-либо сторона его религиозных и философских воззрений; но почти никто не охватывал его миро-

---

[7] В. Л. Величко: «Владимир Соловьев, жизнь и творения», СПБ. 1904, 2-е изд., стр. 84.

[8] Причисление Владимира Соловьева к католикам продолжается до сих пор. Издавая в настоящее время на немецком языке полное собрание сочинений Вл. Соловьева (в 8-ми томах), профессор Боннского университета В. Шилкарский делает, несомненно, большое культурное дело. Но, с другой стороны, он грешит против памяти самого Владимира Соловьева, надевая на него ярлык ортодоксального католика и искажая этим подлинный дух его учения. *Е. З.*

понимания в целом: то, что составляло сущность его воззрений было доступно лишь весьма немногим»[9].

Аналогичные мысли высказывал и кн. С. Н. Трубецкой, брат Е. Н.: «С различных сторон ему (Соловьеву) хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду; и они же яростно нападали на него и обвиняли в отступничестве, когда убеждались, что он не считал их правду безусловной. Кто только не звал его ренегатом! Еще недавно в одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что, как публицист, он плыл без компаса. И, как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу»[10].

Как публицист, Соловьев был провозвестником политики, основанной на принципах нравственной ответственности и уважения к человеческой личности. Его мысль далеко перерастала современную ему эпоху, служившую идолам и забывавшую об идеалах. Разоблачая этих идолов, Соловьев в то же время был полон предчувствиями грядущих катастроф. В его предсмертных произведениях история человечества представляется как борьба добра и зла, при чем зло он понимает, как объективно существующую силу, для борьбы с которой необходимо иметь точку опоры в ином плане бытия.

Религиозно-общественные воззрения Владимира Соловьева совершенно забыты в настоящее время на его родине. Но его идеи еще могут сыграть руководящую роль в деле перестройки общественных отношений на основе свободы и христианской морали.

Е. Х. Занкевич

---

[9] Кн. Ев. Трубецкой: «Личность В. С. Соловьева», Сборник «Путь», Москва. 1911 г., стр. 69-70.

[10] Кн. С. Трубецкой: «Основное начало учения Соловьева».

ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАРТИЯ, ПОПУТЧИКИ И ЖАН ПОЛЬ САРТР

Многие предполагали, что французская коммунистическая партия — сильнейшая вместе с итальянской — компартия в свободной Европе, получила в последнее время удар, от которого она едва ли сможет оправиться. Точных и проверенных данных о теперешнем численном и морально-политическом состоянии этой партии ни у кого нет, за исключением узкого круга ее руководящей верхушки и, вероятно, их кремлевских хозяев. По неофициальным сведениям, численность этой партии упала до 349 тысяч; если это так, то эта цифра, будучи еще очень внушительной, является третью ее численного состава 1946-47 г.г. и половиной ее состава 1950 года.

Неопровержимым и официальным является факт сокращения тиража коммунистической печати. Вечерняя комгазета «Сэ Суар», а также многие коммунистические газеты в провинции должны были прекратить свое существование из-за отсутствия читателей. «Юманитэ», центральный орган компартии, от семисоттысячного тиража дошел до ста восьмидесяти тысяч. Коммунисты систематически теряли в последние годы на дополнительных выборах и в профсоюзах.

Симптомы медленного разложения сталинизма во Франции, несомненно, налицо. Можно, однако, удивляться живучести кремлевской агентуры во Франции, несмотря на события, которые, казалось, должны были ее расшатать до основания. Не следует, разумеется, преувеличивать значения этих симптомов; вспомним, что в 1939 году после германо-советского пакта, французская партия превратилась в настоящий скелет[1]. Это не помешало ей через несколько лет, после освобождения, при вновь появившейся благоприятной полити-

---

[1] Автору этих строк известно, что в одной ячейке Парижской окраины, где в 1938 году числилось 400 членов, тогда, после этого злополучного пакта осталось всего 9 человек. *Д. А.*

ческой конъюнктуре и при наличии сохранившихся надежных партийных кадров, стать первой по численности партией в стране.

Кстати, на последних муниципальных выборах, в апреле текущего года, коммунисты потеряли (по сравнению с 1947 г.) всего около четырехсот тысяч голосов, или десять процентов своих избирателей. Правда, выборы происходили в исключительно благоприятной для коммунистов обстановке; мирное наступление Кремля позволило им частично выйти из положения политической изоляции, а возвращение больного, но всё же живого Тореза, помогло коммунистам опровергнуть «антисоветские выдумки» о Торезе-заложнике.

Нам кажется слишком упрощенным тот взгляд, что рост и упадок коммунизма во Франции зависит исключительно от социально-политического положения в стране вообще, и ее рабочего населения в частности. В конце концов, во Франции почти нет безработицы; положение рабочего Франции лучше положения рабочего Западной Германии и едва ли хуже чем положение его собрата в Бельгии; однако, в Западной Германии коммунистического влияния в рабочей среде почти не существует, а в Бельгии это влияние ничтожно. Если бы рост и упадок коммунизма зависел исключительно от социально-экономических факторов, то как объяснить тот факт, что твердынями коммунизма во Франции стали, например, такие аристократически-буржуазные учебные заведения, как «Политехническая Школа» или «Высшая Нормальная школа»[2], питомцами которых являются дети самых зажиточных слоев населения. Не следует также терять из виду, что эти социально-экономические факторы те же, что были четыре года тому назад, когда число партийных коммунистов перевалило за миллион.

Причины, вызвавшие подъем коммунизма во Франции сложны, разнообразны и едва ли доказуемы и объяснимы какой-либо готовой формулой. Напротив, стадии и причины его упадка можно проследить в свете определенных событий и в особенности, в свете той эволюции, которую проделал за последние годы свободный мир.

В 1948 году вождь партии Морис Торез, в одной из своих речей в Лилле, счел нужным довольно прозрачно намекнуть, что коммунисты не отказываются от мысли о захвате власти и что «враги народа» не избегнут уготованной им участи. Тогда к партии льнули из страха и отчасти из-за

[2] Ecole Normale Supérieure.

карьеры. Виднейший коммунизан Пьер Кот призывал французскую буржуазию капитулировать перед «неминуемой силой будущего», с которой тщетно бороться. В Европе царствовали растерянность, чувство обреченности и неуверенность в американском союзнике. Странно: непрочное равновесие сил, как будто, мало изменилось; Европа располагает всё еще теми же немногими дивизиями, включая американские и английские оккупационные части, против тех же миллионных кремлевских армий; однако неуверенность спала; страх уступил желанию бороться, хотя бы с местной пятой колонной. Медленно, но верно, коммунистов поставили в положение бесплодной, — всё еще опасной, но непосредственно более не угрожающей — оппозиции. В психике среднего француза, компартия больше не «неминуемая сила будущего». Ставка на коммунистического коня стала рискованной. Рабочим надоели частые и совершенно бесплодные мобилизации в защиту сталинского «миролюбия» и «свободолюбия». 28-го мая 1952 г. на призыв протестовать против прибытия в Париж генерала Риджвея, партия могла вывести на улицу только несколько тысяч молодых людей, главным образом, из оплачиваемых аппаратчиков; неделей позже, на призыв объявить генеральную забастовку протеста против ареста «любимого вождя» Жака Дюкло откликнулось два процента рабочих.

Эти две даты казались переломными в истории французской компартии. Они доказали, что коммунисты больше не владеют улицей и что рабочие слепо за ними не идут, хотя при выборах они не прочь выразить свое недовольство, голосуя за коммунистических кандидатов. Поражение было признано Центральным Комитетом Партии, который однако взвалил ответственность за провал на средние и низовые органы, якобы недостаточно хорошо усвоившие сталинское организационное искусство.

**
*

Поразительным, особенно для иностранного наблюдателя, окажется тот факт, что процессы, чистки и аресты, в Праге, Москве и других странах-сателлитах, не оказали на умы партийной массы и даже периферии сильного разлагающего влияния. Француз, говорят, не любит и не знает географии, кроме своей собственной. Это верно не только в отношении географии; политическое и социальное развитие мира он так же видит, исходя, главным образом, из собственных, национальных, весьма ограниченных рамок и переживаний.

Да что собственно в происшедшем могло его поразить? Процессы и чистки стали неотъемлемой обыденностью коммунистической действительности. Тот, кто допустил и переварил предательство Бухарина и Зиновьева, не имеет оснований усомниться в подобном же поведении Сланского и Анны Паукер. Что касается антисемитского налета, имевшего место в последних расправах, то руководство французской компартии уже как будто давно предвосхитило эту эволюцию коммунизма. Характерно, что несмотря на наличие многих евреев в низовых организациях, в Центральном Комитете партии, состоящем из 79 человек, имеется всего один еврей. Коммунистическая печать давно вдалбливает в умы озлобленных и обездоленных рабочих масс, что они являются жертвами махинаций банков Ротшильда и Лазара, избегая напоминать, что крупнейшими богачами Франции являются носители чисто «арийских» фамилий, вроде Бусака и Дюрана. В качестве агентов иностранцев, продавших независимость Франции, упорно называются Блюмы, Мейеры и Моки. Известный коммунистический публицист Херве, в книге, выпущенной четыре года тому назад, говорил о засильи еврейской буржуазии в руководстве французской социалистической партии.

Гораздо более загадочной является сравнительно слабая реакция партийного середняка на недавнее исключение двух виднейших вождей партии, Андре Марти и Шарля Тийона. Разумеется, отдельные демонстративные выходы из партии были. Однако, эта операция прошла безболезненно, по традиционному советскому сценарию: единогласное одобрение исключения развенчанных вождей в низовых ячейках, центральных органах, парламентской фракции, а также во всех паракоммунистических «народно-фронтовых» организациях, где исключенные играли руководящую роль, вроде Союза бывших сопротивленцев, партизанов и макизаров, «Борцов за мир» (где председателем был Тийон), Союза «героев» бунта французской эскадры в Черном море, Союза бывших участников интернациональной бригады в Испании, общепризнанным вождем которых был Андре Марти.

Равнодушие, инертность, стадность почти полумиллионной партии, контролирующей к тому же бесчисленные массовые организации, должны привлечь к себе особое внимание. Нельзя забывать, что Марти был своего рода «легендой французского коммунизма»*, его наиболее популярной фигурой,

* Правда, посвященным людям было известно, что «Легенда Марти», в большей мере, сфабрикована руководством партии. Марти

олицетворением большевистской непримиримости и твердокаменности. В глазах партийной массы он всегда выгодно отличался от краснобая-карьериста Жака Дюкло и от бесцветного кремлевского нахлебника Мориса Тореза, заявившего однажды, что он согласен с приказом Москвы до того, как он с ним ознакомится. Шарль Тийон, участвовавший вместе с Марти в бунте Черноморской эскадры (в этом качестве Марти — единственный французский коммунист, фигурирующий в написанной Сталиным Истории ВКП), был первым руководителем коммунистических отрядов сопротивления при гитлеровской оккупации, в то время как Торез отсиживался в Москве и Куйбышеве, а Дюкло ничем себя не проявлял. Отупение, растление умов, деморализацию в рабочей среде большевизму удалось довести до такой степени, что позволительно задать вопрос: не следует ли придти к выводу, что отрава так глубоко проникла в народные массы, что ее безоговорочного послушания можно добиться даже и без соответствующих чекистских органов? Ведь в расправе с Марти и Тийоном был использован весь реквизит, обязательный в подобных случаях в Москве и Праге; тут были и унизительные «раскаяния» и обвинения во лжи, в растрате денег; местному политбюро удалось «доказать», что Марти был связан с полицией уже с 19-го года. Ужасающая по своему психологическому значению, деталь: по примеру Москвы и Праги, коммунистам в свободной Франции удалось найти близких родственников Марти, игравших роль провокаторов, «изобличивших» его преступные деяния и помыслы. Надо ли после этого удивляться, что в стонущей под чекистской пятой Чехословакии, сын одного из подсудимых в последнем процессе одиннадцати бывших вождей компартии, письменно умолял суд расстрелять его отца и просил, чтобы его сыновнее послание было прочтено отцу перед казнью...

***

Известно, какое разлагающее влияние на французскую интеллигенцию и учащуюся молодежь имеют коммунизанствующие попутчики. Эта пестрая разновидность, рекрутирующаяся, как и всюду, из самых разнообразных кругов —

вовсе не был «вождем восстания», присоединился он к нему в конце, а после ареста и особенно на суде держал себя не очень храбро. Всё это было доказано неопровержимыми документами в парламенте социалистическим депутатом Максом Леженом. *Д. А.*

от «прогрессивных» католиков, неискушенных протестантских пасторов и малоосведомленных раввинов до отставных, часто роялистски-настроенных адмиралов — придает компартии престиж, представляя коммунизм как какую-то часть общественного мнения. Компартия, вынужденная строго блюсти «генеральную линию» Москвы, рубит с плеча; ее аргументация часто лишена нюансов и мало подходит для политически и умственно высококвалифицированной французской интеллигенции. Повторяя фантастические измышления Москвы, при том в дословных выражениях, компартия всё больше предстает как агентура иностранной державы, как пятая колонна, имеющая мало общего с национальной жизнью страны. Но, другое дело попутчики; во первых, некоторых из них как-то невозможно представить себе в качестве агентов, ибо их прошлое (патриотизм, участие в движении «сопротивления») служит залогом их бескорыстия и честности; во вторых, эти поборники сталинского миролюбия, позволяют себе иногда уклоняться от «линии» и даже критически относиться к тем или иным явлениям советской жизни. Правда, «уклон» или критика никогда не касаются основных, существенных вопросов советской политики; сохраняющий видимость независимости попутчик никогда, например, не осудит советскую агрессию в Корее или гнусные выступления Вышинского в ОН. Уклон сводится, в лучшем случае, к скептической оценке теории Лысенко, или к робко-высказанному соображению о том, что Советы, при бóльшем доверии к Западу, могли бы улучшить торговые сношения с Францией. Беда в том, что мистифицированные советской пропагандой, попутчики исходят (во всяком случае, они так это дело представляют) из «хорошо понятых» интересов Франции, притом Франции не советизированной или «народно-демократической», а Франции с ее нынешней социально-политической структурой, т. е. либеральной, частно-собственнической и капиталистической.

Попутчики во Франции бывают разные: от очень близких к сталинцам бывших «левых» социалистов, группирующихся вокруг большевистской газеты для интеллигенции «Либерасьон», до сохранивших известную независимость суждения и пользующихся признанием — редактора «Обсерватэр» Клода Бурде и профессора католического института Жака Мадоля. Однако, попутчики всех толков сходятся в одном: Франция должна выйти из Северо-Атлантической коалиции, порвать свои военно-политические отношения с Америкой и всеми силами противиться вооружению Западной Германии, доверяя вполне миролюбивым намерениям Кремля.

Надо сказать, что пражский «процесс ведьм» с его антисемитским привкусом на некоторых из попутчиков подействовал отрезвляюще. Среди подписавших воззвание представителей интеллигенции, клеймящее позором пражскую инсценировку, мы в числе многих находим и имя Клода Бурде, который не будучи попутчиком в полном смысле этого слова, является одним из виднейших лидеров нейтралистски и просоветски настроенной части французского общества. С Жаком Мадолем случился казус, явно не входивший в планы устроителей его выступления. Этот весьма просоветски настроенный профессор католического института и один из столпов «прогрессистского» движения, недавно посетил, в составе одной делегации, Советский Союз. Приехал он оттуда разочарованный, хоть и сохранивший некоторые иллюзии, вернее, с некоторой неуверенностью, касательно миролюбивых планов советских вождей. Нам пришлось присутствовать на его отчетном докладе, и мы можем засвидетельствовать, что его рассказ о Советском Союзе поверг его прогрессивных слушателей в уныние. За его трехнедельную бытность в социалистическом отечестве он успел заметить, проезжая из Москвы в Минск, недалеко от железной дороги, многочисленные колонны оборванных и разутых мужчин и женщин, тяжело работавших под наблюдением вооруженной стражи. На недоуменный вопрос делегатов, сопровождавший их представитель «ВОКС»'а объяснил, что это заключенные исправительно-трудовых лагерей. «Позволительно предположить — резонно заметил профессор — что такие колонны встречаются еще чаще в Сибири». Шоссейные дороги в СССР — повествует дальше Мадоль — в очень скверном состоянии; они сносны только вблизи больших городов; на центральных улицах Москвы, Ленинграда, Минска много новых зданий; однако, стоит вам свернуть на боковую улицу, вы видите полуразвалившиеся дома, годные только для сноса; в Универмаге Мадоль насчитал очередь около кассы в 70 человек; доведя свое любопытство до крайности, путешественник решил осмотреть московское кладбище; тут он убедился, что счастливые советские граждане умирают в раннем возрасте; «обычно это могилы людей умерших в тридцать лет; однако, возможно, что это всё были жертвы войны». Делегация, как полагается, осмотрела фабрику, колхоз, школу и, конечно, музеи и театры. На вопрос одного наивного слушателя, пожелавшего осведомиться, могла ли делегация сама выбрать фабрику, колхоз или школу, которую она желала бы осмотреть, или объект осмотра был выбран ВОКС'ом, Мадоль ответил: «ВОКС не только решает, ч т о

мы должны осмотреть; я уверен, что учреждения, назначенные для осмотра, заранее предупреждаются о приходе делегации». И Мадоль добавил: «всё виденное нами в этих учреждениях имеет относительную ценность и, вероятно, является мало типичным для среднего уровня страны». Утонченного француза поразила советская безвкусица и гигантомания. «В Москве сейчас строят дворцы-особняки старомодного стиля, с колоннами и львами, мало выражающие современную эпоху; в Сталинграде началась стройка огромной мраморной (!) набережной, длиной в тридцать километров; при остром квартирном кризисе такая расточительность непонятна!».

Сконфуженные устроители собрания пытались перевести разговор на другие рельсы: «В конце концов — заявил один из них — внутреннее положение России — дело самой России; нас, французов, интересует, главным образом, является ли СССР элементом мира или агрессии; только исходя из этого соображения, французский народ может правильно определить свою политику». Докладчик, стараясь удовлетворить своих друзей, дал однако, и тут весьма неожиданное объяснение. Поражаясь необычайно большому числу военных на улицах Москвы и других городов (почему-то особенно много военных в театрах), Мадоль полагает, что Западу нечего опасаться советской агрессии. «Если Россия вынуждена вести экспансивную политику, эта экспансия себя проявит на востоке, а не на западе. Русские отдают предпочтение восточным проблемам, мало интересуясь Западом. Кстати — сказал Мадоль, — я уверен, что коммунисты убедились в своей неспособности освоить и переварить Запад». Оказывается, Мадолю удалось на обратном пути провести несколько дней в Чехословакии, в стране, которую он хорошо знал до второй мировой войны. «Я был поражен теми изменениями, свидетелем которых я был. В этой когда-то жизнерадостной, цветущей стране, сейчас чувствуется такая напряженность, такой страх и такая беспросветность! Чехословакии явно коммунизм не пришелся по вкусу...». Напротив, Варшаву Мадоль нашел отстроенной, а ее население менее озабоченным.

**
*

Однако, при всех ударах и потерях последнего времени, коммунисты во Франции вправе и ликовать. К стану компопутчиков пристал глава французских экзистенциалистов, писатель с мировым именем Жан Поль Сартр. Эта метаморфоза ошеломила всех. Было известно, что автор «Грязных рук» органи-

чески ненавидит сталинцев и что последние платят ему той же монетой. Действительно, нет такого эпитета в арсенале советских ругательств, которым бы Сартра не награждала московская «Литературная газета» и вслед за нею, ее французские приспешники; он был и растлителем молодежи, и шпионом, и ублюдком, и моральным уродом. Ярость коммунистов объяснялась, конечно, значительным влиянием Сартра на французскую молодежь и его исключительной способностью подмечать в «большевистском человеке» такие черты, которые большевики предпочли бы скрывать. Поэтому ликующее сообщение коммунистических газет, что в числе участников пресловутого «Конгресса борцов за мир» в Вене будет и Сартр, для широкой публики было большой неожиданностью; для почитателей литературных дарований Сартра было еще грустнее читать его описание и оценку этого сборища, о целях и организаторах которого ни у кого не было сомнений. Обычно острый Сартр, который, казалось, всегда видел всех и всё насквозь, вдруг заговорил елейным языком заурядно-одураченного попутчика, увидевшего в венской инсценировке высокое и авторитетное собрание людей, искренне жаждущих мира.

Эту постыдную чушь Сартр не постеснялся высказать с трибуны конгресса, а по приезде в Париж, поспешил поделиться этими своими впечатлениями на страницах влиятельнейшей парижской газеты «Ле Монд». Коммунистические мастера пропаганды сразу учли значение сартровского «превращения»; ошеломившую всех речь Сартра, они позволили ему произнести вне очереди, при открытии конгресса. В своем выступлении он не ограничился хвалебной оценкой конгресса, а также воспользовался случаем изложить свою «нейтралистскую» программу: «Европа должна стать мостом, синтезом социалистического (т. е. советского, Д. А.) и капиталистического мира; первым актом европейской политики, должен быть разрыв с Северо-Атлантической коалицией». Намерения Кремля Сартра не тревожат; он уверен в глубокой привязанности Кремля к миру.

Чем же объяснить это «превращение», блестящего, хоть часто и парадоксального диалектика? Сартра нельзя заподозрить в низменных материальных побуждениях; этот плодовитый и много-читаемый писатель очень богат; его нельзя купить контрактом (как это бывало с другими писателями) на издание собрания сочинений в миллионном тираже в Госиздате, хотя бы уж потому, что Сартр прекрасно понимает, что доступ его произведений в страны за Железным Занавесом безвозвратно закрыт, ибо там он всегда будет «отравителем

молодежи». Сартр настолько отдает себе в этом отчет, что не без зловещего юмора сам называет себя членом весьма многочисленного «Союза будущих расстрелянных».

Трусостью? Его мужественное участие в борьбе против гитлеризма говорит, как будто, об обратном. Сартр знает, что в случае занятия Франции большевиками, он, конечно, разделит участь некоторых героев его же пьесы «Грязные руки»; мысленно, он несомненно согласен с Франсуа Мориаком, напомнившим ему, что американские солдаты, которых он так ругает, в конце концов охраняют его письменный стол от большевистских варваров.

Неосведомленностью? Едва ли. Сартр знает всю неприглядность советской действительности и опять-таки, если судить по его произведениям, сознает до какого умственного отупения и морального уродства дошел «новый» человек, воспитанный большевизмом. В свое время Сартр и писал и протестовал против советских концлагерей. Но сегодня, он почему-то считает, что французам следует «подметать у своего дома», что им «ближе судьба мадагаскарцев, чем... туркменов». Но советские лагеря населены вовсе не туркменами и расположены не только на территории Туркмении; к тому же режим советского концентрационного мира не может даже быть сравниваем с теми обидами и стеснениями, которые испытывают жители Мадагаскара или колониальные народы французской Северной Африки.

Для понимания эволюции общего миросозерцания Сартра характерна его нашумевшая полемика с писателем Альбером Камю, а также серия его публицистических статей «Коммунисты и борьба за мир», напечатанных в редактируемом им ежемесячнике «Temps modernes».

Провалы коммунистических манифестаций и забастовок в мае и июне прошлого года, сопровождавшиеся неизбежными столкновениями с полицией, послужили, повидимому, для Сартра отправной точкой для ревизии его политической ориентации. «Провал — пишет он — произвел на меня обратное действие; меня как раз пугает факт изоляции компартии от рабочих масс». Тут Сартр придерживается не одному ему свойственного порочного взгляда, что «несмотря на всё», тоталитарный коммунизм является «естественной преградой» против фашизма. В кругах левого сектора Франции распространено убеждение, что в 1934-36 г.г. страна избегла фашизма, благодаря активному участию коммунистов в «Народном Фронте». Пропитанный неискоренимыми иллюзиями, Сартр безнадежно пытается «сотрудничать с коммунистами, исходя из

моих собственных принципов». Эта попытка ни в теории ни на практике не нова. Но она давно доказала свою полную несостоятельность; при чем для попутчиков она неминуемо кончается либо благодарственной пулей в затылок, либо показательным процессом. Такова судьба всех попутчиков большевизма, имя им легион: от левых эс-эров в России до бывшего министра Восточной Германии, буржуазного демократа Деттингера.

О степени политической проницательности Сартра можно, например, судить по его утверждению, что «русская компартия» и поныне «находится под руководством Коммунистического Интернационала». Основанием для такого утверждения, служат для него статуты, принятые на втором конгрессе Коминтерна в 1920-м году.

Основной вопрос, который Сартр пытается мучительно разрешить, это «каково должно быть наше отношение к исторически сложившемуся коммунизму»? Вооружившись многочисленными цитатами из Маркса и Ленина[1], этот новоиспеченный марксист приходит к выводу, что нынешняя фаза большевизма исторически неизбежна. Правда, анализ его не убедителен, ибо коммунизм он видит и судит абстрактно, по книгам и статьям, написанным сто, или в лучшем случае, тридцать лет тому назад. Действительный же коммунизм, во всей его страшной и неумолимой реальности, выродившийся в тоталитарную диктатуру, Сартр упорно игнорирует. Правильнее было бы говорить не о «загадке» и не об «эволюции», а о парадоксе Сартра. Автор «Грязных рук» протягивает руку коммунистам как раз тогда, когда в «тюрьме народов» разыгрываются сцены, перед которыми описанные Сартром в его драмах, лишь бледная фантазия.

Д. С. Анин

---

[1] Характерно, что Сартр почти не цитирует Сталина. *Д. А.*

НА КАРАТЕЛЬНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Прошло более двух месяцев со смерти Сталина. Вместо Сталина, к власти пришел некий неоформленный коллектив, состоящий не то из 3, не то из 5, не то из десяти человек. Этот коллектив проявил инициативу в двух направлениях. Во-первых, несколькими подачками — в роде выпуска на свободу Отиса и небольшого числа американцев, англичан и французов, томившихся в корейской неволе с июня 1950 г., — туманно-миролюбивыми заявлениями и понижением тона человеконенавистнической пропаганды против Запада, он вызвал, во-вне, впечатленье что теперь, пожалуй, можно будет договориться с СССР и тем рассеять то напряженное состоянье, которое уже несколько лет владеет миром. Во-вторых, также несколькими мелкими подачками, успокоительными заявлениями и обещаниями правящий коллектив попытался вызвать в стране надежду на какое-то облегченье и, в частности, на передышку на карательно-террористическом фронте. Этой второй серии актов и посвящается настоящая статья.

В применении к нормальному государству о карательно-террористическом фронте странно было бы говорить. Но это вполне естественно в отношении СССР.

Действительно одна из главных установок советского суда, это — внедренье страха в советских граждан, страха неопределенного, ибо всякий знает, что «кара» может прийти без всякого основанья, просто потому, что судами недостигнута норма репрессии. Не так давно потрясающий случай из практики был сообщен проф. Б. Константиновским: судья, вполне убежденный в невиновности его клиента, все же сказал ему, вполголоса, что оправдать его не может, так как он уже оправдал трех человек, и дальнейшее оправданье навлекло бы на него, судью, подозренье в утрате классовой бдительности, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Советский суд, конечно, карает и подлинных преступников за деянья, кото-

рые навлекли бы на них кару в любой стране; но, кроме того, он является органом правительственного террора.

Той же функции служит и другой, гораздо более страшный аппарат, который начал свою деятельность под названием ЧЕКА, продолжал ее как ГПУ, потом стал народным комиссариатом внутренних дел, потом министерством внутренних дел, потом министерством государственной безопасности, и наконец опять министерством внутренних дел, возглавляемым членом правящего коллектива Лаврентием Берия, по приказам которого миллионы русских людей были оторваны от домов и семейств, направлены в лагеря принудительного труда, расстреляны в подвалах или сгноены в тюрьмах.

Оба аппарата оперативно разделены, но функционально составляют единство, ибо служат той же цели. И так как этот двуединый аппарат безостановочно ведет против населения враждебные, почти что военные действия, то его вполне законно называть фронтом.

И вот на этом фронте произошло движение. 27-го марта президиум верховного совета издал указ об амнистии, по существу очень широкой в отношении обыкновенных преступлений, но не покрывающей преступлений политических и примыкающих к ним. Статьей 8-й указа было сообщено, что в месячный срок будет пересмотрено уголовное законодательство, в смысле отмены наказуемости ряда деяний и понижения наказуемости других.

Почти одновременно советское правительство освободило пятнадцать докторов, привлеченных к ответственности за убийство, посредством отравления, Жданова и Щербакова, а также за участие в заговоре, направленном на убийство нескольких советских генералов. 5-го апреля «Правда» разразилась громовой статьей против виновников неосновательных и незаконных арестов ныне реабилитированных докторов. Эти лица, говорит «Правда», нарушили статью 127-ю сталинской конституции, которая гарантирует советским гражданам неприкосновенность личности и объявляет, что никто не может быть арестован без санкции судебного органа или органа прокурорского надзора. Несколько позже министр юстиции К. Горшенин счел нужным вернуться к теме о социалистической законности, периодически появляющейся и исчезающей в советской печати. Каждый работник, каждый колхозник, каждый советский интеллигент, сказал министр, может спокойно и уверенно работать, зная, что его гражданские права

находятся под надежной охраной советской социалистической законности.

Этими актами ставится несколько вопросов. Постараемся в них разобраться. Прежде всего, о чем свидетельствует указ об амнистии? Не может быть сомнений: как сами возвращаемые, так и их друзья и родные испытывают большую радость, большое облегчение. Но невольно и перед ними, и просто перед всеми сознательными советскими гражданами встает вопрос: почему теперь отпускают такое множество людей, еще так недавно заклейменных преступниками; и почему они должны были подвергнуться репрессиям, от которых они теперь избавляются, тогда как миллионы граждан, совершивших такие же поступки, прошли тяжкие муки с начала до конца?

На первый вопрос указ как будто дает ответ: он издан потому что, в результате упрочения общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, укрепилась законность, а преступность сократилась. Это как будто все объясняет. Но невольно приходит в голову сомненье: в 1947 г. почти такими же словами была мотивирована отмена смертной казни, которая потом была восстановлена; а в 1940 г., почти теми же словами о росте благосостояния и сознательности, было объяснено, как это ни странно, введение платы за правоучение в трех старших классах десятилетки и в высших учебных заведениях. И как раз тогда же были введены неуклонные наказания за нарушение трудовой дисциплины, от которых теперь освобождаются амнистируемые.

Итак, всё время упрочивается строй, растет благосостояние и культурный уровень — так по крайней мере говорят указы — а вот, со ссылкой на эти факты, то налагают наказанья, то отменяют их, то отменяют смертную казнь, то опять ее восстанавливают. Очевидно, официальное объяснение никуда не годится.

Почему же в таком случае дана амнистия? Нет сомнений в том, что она стоит в тесной связи с вызванными смертью Сталина переменами в составе советского правительства. Новое правительство, объяснило спешку в своем формировании необходимостью предупредить растерянность и панику, но само эту растерянность проявило, сначала подтвердив Маленкова в числе секретарей ЦК, а затем лишив его этого важного поста, сначала включив в него Игнатьева, а потом лишив его этой роли и даже признавшись перед всем миром в том, что в Советском Союзе уголовные дела бывают подстроены про-

исками членов самого правительства и вымогательством сознаний.

Новое правительство проявило растерянность, потому что испугалось встречи с народом ему подвластным. Амнистия и вызвана этой боязнью. Надо было дать народу нечто осязательное, но в то же время всевластья правительства не подтачивающее. Надо было дать народу нечто такое, за что он был бы благодарен правительству и готов был бы позабыть, пусть на время, о своем бесправии, о созданной каторжными пятилетками и бессмысленными вооружениями тяжести существования, о придушении всех вольных взлетов человеческого духа.

Во-вторых, почему сделан новый упор на темы о социалистической законности и неприкосновенности личности?

Спокойно и уверенно работать! Как хотелось бы этого советским гражданам. Но они слишком хорошо знают, что как раз спокойствия и уверенности у них нет, что свобода и даже жизнь каждого всегда стоит под страшной угрозой — проявления к данному лицу неблагосклонного внимания агентов министерства внутренних дел, унаследовавших страшную, мрачную и позорную репутацию в преемстве от Че-ки, ГПУ и Наркомвнудела.

О социалистической законности говорят давно, вернее, говорят постоянно. Еще Ленин взывал к ней, и еще при нем, во имя социалистической законности, были изданы кодексы гражданский, уголовный, процессуальные и другие. Что же, воцарилась тогда социалистическая законность? Всякий знает, что не воцарилась. Всего через год после издания уголовного кодекса несколько хозяйственников были приговорены к смерти за экономическую контрреволюцию, преступление, которое тогда не было предусмотрено уголовным кодексом и к тому же преступление, которого осужденные не совершили. А потом, в порядке разбойных набегов на деревню, была произведена коллективизация, за время которой погибло пять миллионов человек, виновных только в том, что поверили словам советской власти и, добросовестно хозяйничая, несколько выбились из нищеты, в которую их загнало советское правительство за годы военного коммунизма; за то же время погибло, вопреки советским законам, неисчислимое имущество. В том же порядке необузданного произвола были ликвидированы скромные предприятия, снабжавшие обывателей предметами повседневного обихода, или оказывавшие им услуги в роде починки сапог, стирки белья, снабжения более или менее сносно при-

готовленной пищей. И все это было ликвидировано в порядке административного разгула, в прямое нарушение законов.

Но вот пришла сталинская конституция и вместе с ней новые толки о советской социалистической законности.

За границей многие выразили надежду, что теперь в Советском Союзе воцарится законность. И тогда, как и теперь, советское правительство публично заявило порицанье виновникам незаконных арестов в Казани и других городах, произведенных через несколько дней после принятия новой конституции. Но, в сущности, почему было ждать от нее чего-то нового? Ведь статья пятая советского уголовно-процессуального кодекса от 15-го февраля 1923 г., который действует и поныне, провозглашает, что никто не может быть лишен свободы иначе, как в случаях, указанных в законе, и в порядке законом определенном. В действительности, как все знают, в Советской России безостановочно шли массовые аресты, без судебных приказов или по приказам, выданным без всякой проверки, без всяких реальных оснований. Пятнадцать советских докторов, ныне освобожденных, это только пятнадцать человек из миллионов, подвергнутых репрессии в произвольном порядке.

И вот теперь опять говорят о социалистической законности. Что же, на этот раз, может быть, дело обстоит серьезнее? Полагать так нет никаких оснований. Вчитаемся в слова министра юстиции. Он не говорит, что до сих пор дело с законностью обстояло плохо, а вот теперь будут приняты такие-то и такие-то меры, и тогда всё повернется к лучшему. О социалистической законности он говорит в настоящем времени: она, де, уже есть, и потому никому и ни о чем не следует волноваться. Но то, что есть теперь, было и вчера, и третьего дня, и десять лет назад, и 35 лет назад, с того самого дня, как установилась советская власть.

Правда, министр обрушился на тех, кто сфабриковал следственное дело группы врачей и обещал сурово их покарать. В мае было объявлено, что они карам подверглись. Но всякий знает, что в Советском Союзе следственные дела фабрикуются пачками, неустанно, и днем и ночью. Фабрикуются они путем ложных доносов, иногда исторгнутых путем устрашения или прямого насилия, и путем сознаний, также исторгаемых насилием, иногда прямыми пытками, или ложными обещаниями. Вот если бы министр юстиции сказал, что агентура министерства внутренних дел разогнана, что отныне на страже

социалистической законности будет стоять независимый суд, дело было бы другое. Но этого он не говорит.

Вместо того, как бы подтасовывая карты, он в тему о законности, вкрапливает такие приманки, как пресловутые права на труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в случае старости, болезни и потери трудоспособности, и при том подчеркивает, что права эти советским гражданам гарантированы, в противоположность бесправию, царящему в буржуазном обществе.

Вот тут то и любопытно было бы спросить министра — чем эти права гарантированы? Если советский гражданин почувствует, что его право на труд, или на отдых, или на образование, или на материальное обеспечение нарушено, что может он сделать? Подать жалобу в суд и получить от него властное и окончательное решение, предписывающее кому следует сделать то, что полагается по закону? Конечно, добиться этого гражданин не может. Если рабочий, не получивший полагающейся ему путевки в дом отдыха, или старик, выслуживший пенсию, но получающий ее в нищенском размере, или вовсе не получающий, подаст в суд, то суд ответит ему — дело не мое, ступайте по начальству. А начальство — это те самые люди, которые нарушили советские законы об отдыхе или пенсии. Все делается по правилу — рука руку моет. На жалобу рабочего или старика, чаще всего, никто не обратит вниманья, и нарушенная законность восстановлена не будет.

В-третьих, почему новое правительство нарушило одно из своих обещаний? 27-го апреля истек срок, который оно самому себе поставило, срок изданья указа о смягчении уголовного закона, но по день окончанья настоящей статьи (25-го мая) указа не было. О причинах нарушенья обещанья можно высказать несколько предположений.

Прежде всего, акт 27-го марта был издан в период начальной растерянности. Возможно, что более поздние донесенья МВД первоначальных опасений не подтвердили. В самом деле, народ подчинялся не обоготворенному Сталину, а карательно-террористическому аппарату, и когда вместо именного, сталинского, аппарат стал анонимным, народ никакой перемены не почувствовал. Обожествленье Сталина было, по всей видимости, ненужным маневром, не на нем покоилась власть тирана, а на голой силе. Новое правительство своими первыми действиями зачеркнуло последние действия Сталина, а теперь,

повидимому безнаказанно, зачеркивает самую память о Сталине.

Другое предположенье таково: новый коллектив не смог договориться по вопросу о том, в чем же должны выразиться послабления. На совещаньях не то президиума центрального комитета, не то какого-то неофициального «верховного тайного совета», каждый мог проявить готовность к снисходительности по делам, его не касающимся, но не по тем, в отношении коих он непосредственно распоряжается. Это было бы аналогично положенью, которое часто получается в правительственных совещаньях о сокращении бюджета: каждый министр настаивает на сокращениях по всей линии, но только не у себя, а в чужих ведомствах. А сейчас нет хозяина, который мог бы всех рассудить.

Третье предположенье связано с тем, что в недавней статье (Новый Журнал кн. 30) я назвал окамененьем коммунистического строя. Режим утратил свой первоначальный динамизм и неспособен к быстрым и решительным действиям. Правда, эта мысль была оспорена Г. Аронсоном, который высказал предположенье, что статья была написана до 19-го съезда. Очевидно, он полагал, что съезд провел важные реформы, противоречащие предположенью об утрате режимом динамизма. Но новый правительственный коллектив поспешил отменить всё то, в сущности, очень малое, что было сделано съездом. Такое явленье как раз очень типично для застывающего в неподвижности

Предположенья эти, в сущности, не исключают, а дополняют друг друга. Вполне возможно, что указ о смягчении уголовного законодательства еще состоится. Но по существу, это не устранит ни одного из приведенных выше соображений; ибо неисполненье обещанья в срок есть его нарушенье. Но вот чего наверное не будет — это водворенья подлинной законности и неприкосновенности личности. Действительно, чтобы гарантировать советским гражданам действительную неприкосновенность личности, недостаточно статьи в «Правде». Нужна коренная ломка учреждений и порядков. Какая именно — отлично известно из истории и из порядков, принятых в демократических государствах. Прежде всего, необходимо упразднение всяких организаций, управомоченных на осуществление репрессивных мер без суда или, во всяком случае, без строгого и быстрого судебного контроля. Необходима, конечно, розыскная полиция, занятая раскрытием преступлений и разысканием преступников. Но не должно быть учреж-

дения, имеющего право лишать граждан свободы, а то и жизни, по простому подозрению в нелойяльности, по неосновательному доносу, а то и просто по собственному усмотрению.

Во-вторых, необходимо сосредоточение всех распоряжений о лишении граждан свободы в руках независимого суда. А советский суд независимым не является. Народные судьи избираются по той пресловутой системе, которая сводится к стопроцентному одобрению избирателями списков, заготовленных в Кремле, или на местах, но по директивам из Кремля. А судьи более высоких рангов избираются, на срок, советами или верховными советами, опять-таки на чисто политических основаниях, из числа лиц, готовых подчиниться директивам коммунистической партии. Эти судьи независимостью не обладают. Подлинно независимые судьи являются как бы голосом безличного и бесстрастного закона. Советские судьи говорят то, что им продиктовано правительством. Даже если бы на практике осуществилось то, что сказано в конституции, иными словами, если бы аресты были поставлены под контроль судов, это ровно ничего бы не изменило: осуществляющие контроль судьи стали бы применять свои права так, чтобы угодить партийным верхам, от которых полностью зависит их судьба. Итак, необходима полная и коренная реформа судебной системы, освобождение ее от подчиненности правительству.

Сталинская конституция делит контроль над арестами между судами и прокуратурой. Прокуратура же, по самой своей природе, зависит от правительства. Конечно, даже в демократических государствах право предварительного задержания, в случаях, не терпящих отлагательства, дается прокуратуре или полиции. Без этого обойтись нельзя. Но из этого вытекает необходимость третьего изменения в советских порядках. Необходимо, чтобы всякий арест, состоявшийся не по судебному приказу, был поставлен под последующий контроль суда, конечно независимого.

В-четвертых, необходим полный пересмотр уголовного законодательства. Много более глубокий, нежели обещанный указом 27-го марта. Статьи советского уголовного кодекса о контрреволюции сформулированы так, что под них можно подвести совершенно невинные действия неугодных власти лиц, что на практике и происходит постоянно. При сохранении в действии таких законов, даже и выше очерченные реформы не привели бы к цели. Вот что в самом деле значит неприкосновенность личности. Словами, даже министра юстиции, она не дается. Нужны дела и дела крупные, в корне ломающие

систему насилия и произвола. И не пойти на них власти, в насилии зачатой и на произволе утвердившейся.

Неприкосновенность личности никогда в истории не давалась по доброй воле тех, кто ее систематически нарушал. За нее приходится бороться. Те слова о неприкосновенности личности, которые недавно раздались в Москве, означают, что русский народ сознает ее необходимость, и будет за нее бороться, когда условия позволят ему начать борьбу с надеждой на успех.

Н. С. Тимашев

КОММЕНТАРИИ

1. После Сталина: в России

Есть некоторое преимущество в том, чтобы писать о текущих событиях для журнала, выходящего только раз в три месяца. Как ни быстро развиваются в наше время события, опасность безнадежно отстать от них всё-таки не так уж велика. Зато за этот трехмесячный срок если не все, то многие основные факты сами собой укладываются в некоторую, хотя бы приблизительную перспективу, в свете которой можно проверить свои первоначальные впечатления.

В этих первоначальных впечатлениях всегда неизбежно есть много эмоционального. В отношении же к такому событию, как исчезновение со сцены Сталина, эмоциональный момент достиг крайнего напряжения. Слишком долго тень, падавшая от его зловещей фигуры, распространялась по всему миру. Слишком многое в жизни современного человечества было связано с его планами и действиями — прямо или косвенно. Только этим можно объяснить те, как теперь уже видно, преувеличенные ожидания, которые вызвала его смерть среди русской эмиграции, да и вообще в свободном мире. Казалось, что не только началась новая эра, но что последствия этой радикальной перемены дадут себя знать немедленно и самым ощутительным образом. Тем самым была создана психологическая почва для возникновения разнообразных иллюзий. Одни возлагали свои надежды на быстрое развитие борьбы между претендентами на сталинское наследство, которая в свою очередь должна была привести чуть ли не к немедленной народной революции в России. Другие, исходя из представления о неустойчивости и слабости нового советского правительства, склонны были придавать преувеличенное значение его «либеральным» уступкам внутри страны и «дружелюбным» жестам по адресу внешнего мира. Но так как ни в той, ни в другой области пока что никакие решительные изменения не наступили, то во многих случаях можно наблюдать естественную психологическую реакцию: преувеличенные ожидания сменились одинаково преуве-

личенным разочарованием и скептицизмом. Теперь раздаются голоса, что по существу всё осталось попрежнему и что, следовательно, ни для судеб России, ни для судеб мира смерть Сталина особого значения иметь не будет.

Такое утверждение должно быть признано глубоко неверным. Сталин не был, конечно, «великим человеком» в том смысле, в каком это слово обычно применяется к историческим деятелям. «Великий человек», в традиционном понимании, должен быть яркой индивидуальностью и носителем творческого начала, созидателем новых ценностей, всё-равно культурных или общественно-политических. Если это политический вождь, то, по выражению немецкого социолога Макса Вебера, это должен быть вождь «харизматический», одаренный своего рода благодатью (хотя бы и не от Духа Святого, как у Апостола Павла).

Ни одной из этих черт в Сталине не найти. В его лице мы имеем парадоксальный, и ужасающий в своей парадоксальности, пример человека, сыгравшего огромную роль в мировой истории с более чем ограниченными личными ресурсами. Безличный, безблагодатный, бесцветный вождь — какое трагическое завершение для русской революции, стоившей столько крови, столько человеческих жизней, столько страданий! Вот когда действительно встал над Россией «исполинский образ скуки», мерещившийся Гоголю! В этом смысле, конечно, прав был Троцкий, когда он называл Сталина «посредственностью». Но он был неправ в своей недооценке тех специфических дарований Сталина, которые позволили ему сначала стать абсолютным властителем «шестой части мира», а потом распространить свое влияние далеко за ее пределы. Дарования эти были низшего порядка, но владел он ими в высшей степени и пользоваться ими он умел с исключительным искусством. Он был несомненно замечательным политиканом — не государственным деятелем, даже не политиком, а именно политиканом, или, еще точнее, величайшим из «аппаратчиков». Теперь мы знаем *что* в современных условиях может сделать хорошо налаженный политический аппарат в руках искусных и на всё готовых демагогов, и в этом заключается быть может самый устрашающий урок нашей эпохи.

Аппарат сам по себе есть, конечно, нечто безличное, но, по своеобразной диалектике тоталитарных партий и режимов, для бесперебойного его действия требуется единоличное возглавление. Ему в высшей степени присуще иерархическое начало, и, как мы знаем, весь тактически-организационный замысел большевизма был построен на системе суживающегося кверху водительства: пролетариат ведет за собой многомил-

лионную массу трудящихся, партия ведет за собой пролетариат, центральный комитет ведет за собой партию. Фактическая замена центрального комитета — Политбюро, а Политбюро — единоличным вождем были только логически и практически неизбежными выводами из этого первоначального замысла. Но именно потому, что появление вождя вытекает из самой системы партийного аппарата, вождем может стать далеко не самый умный, самый одаренный или хотя бы самый популярный в партии человек. Такому вождю ненужны ни яркая индивидуальность, ни творческие способности, ни популярность. Ему нужны совсем другие качества и другие таланты: безграничная воля к власти; настойчивость в достижении своих целей; предельная неразборчивость в средствах; беспощадность к врагам и соперникам; острый политический нюх и мастерство в политической интриге. Всё это качества, которые прекрасно могут уживаться с личной бесцветностью и с интеллектуальной посредственностью. Как в дарвиновской теории «естественного отбора», в борьбе за власть, происходящей в тоталитарном государстве, выживают не высшие, т. е. более развитые организмы, а те, которые обладают наибольшей приспособляемостью к данной среде, вопреки, а может быть даже и благодаря своей примитивности. Единственным мерилом успеха является способность добиться верховной власти и ее за собою удержать. Процесс это долгий и требующий непрерывных усилий, но раз власть достигнута и укреплена — в полном распоряжении вождя оказывается аппарат со всеми его огромными возможностями. Без некоторого подобия «харизмы» и такой, сам по себе безблагодатный, вождь обойтись не может, но это подобие создает для него покорный аппарат, усердно пропагандирующий миф о его непогрешимости и гениальности. Впрочем, для его престижа гораздо большее значение имеет доказанная им на практике полнота его власти, тот гипноз всемогущества, с помощью которого он держит в подчинении миллионы своих подданных.

В силу самой природы тоталитарной системы, эта благоприобретенная власть по наследству передана быть не может. Вот почему смерть Сталина, независимо от его личных качеств, есть событие огромного значения для дальнейших судеб советской диктатуры. Пусть с внешней стороны аппарат коммунистического господства остался незатронутым — по существу он сегодня уже совсем не то, чем он был три с половиной месяца тому назад. С исчезновением единого полновластного вождя, в самой его сердцевине образовалась пустота, которая никаким коллективом заполнена быть не может. Как правильно

указывает А. Вейсберг[1], диктатура уже потеряла свой монолитный характер, так как в самом ее центре произошло раздробление власти. Если Сталин держал в своих руках неограниченный контроль над всем аппаратом властвования в целом, то теперь отдельные части последнего — администрация, партия, армия, политическая полиция — уже поделены между его наследниками. Вместе с тем ни одному из них не принадлежит безусловное, преобладающее главенство в Политбюро, как оно несомненно принадлежало Сталину. Прав А. Вейсберг и в своем указании на то значение, которое это разделение власти будет иметь в области идеологического контроля. При жизни Сталина «генеральная линия», даже если в отдельных случаях она ему кем-нибудь и подсказывалась, окончательно устанавливалась им одним и подкреплялась только его авторитетом. Всегда и при всех обстоятельствах это была линия Сталина и именно в силу этого обстоятельства она была общеобязательной. «Великий Сталин сказал...» и все должны были следовать его указаниям. Сейчас открывается возможность возникновения несовпадающих между собою «линий» Маленкова, Берии, Молотова, Булганина и других членов Политбюро, и даже в тех случаях, когда оно, в результате достигнутого компромисса будет говорить одним голосом, самая мысль о возможности разногласий в его среде неизбежно будет ослаблять психологический эффект возвещаемой им «генеральной линии». Есть все основания предполагать, что исчезновение Сталина поведет — и вероятно уже повело — к значительному ослаблению гипноза всемогущества советской диктатуры.

Это, конечно, фактор очень большого значения, и в этом смысле правы были те, кто видел в смерти Сталина начало больших перемен в Советском Союзе. Неправы были они только тогда, когда, в понятном нетерпении, уверенно ожидали быстрого и драматического развития событий или когда старались определить те конкретные формы, какие эти события могут принять. Это значит не отдавать себе отчета в том, насколько ограничены пределы исторического или политического предвидения. Самое большее, что изучение исторического опыта и анализ современного положения могут позволить нам сделать, это — наметить основные тенденции развития и его вероятные результаты. За этими пределами мы вынуждены оставаться в области более или менее правдоподобных догадок — по той простой причине, что во всякой исторической ситуа-

[1] См. его статью «Les chances de la liberté» во французском журнале *Preuves*, № 27, май 1953 г.

ции заключается не один, а несколько вариантов дальнейшего развития, и победа одного из этих вариантов над другими никогда не бывает предопределена. Вопреки фаталистам, многое зависит от сознательных усилий действующих в истории человеческих сил, но многое зависит и от непредвиденных случайностей.

Помимо этих общих условий, ограничивающих возможности нашего прогноза, приходится считаться еще и с неполнотой и весьма приблизительной точностью тех сведений, которые мы имеем о том, что делается сейчас в России. Проблема русского будущего это — уравнение с большим количеством неизвестных. Мы можем предполагать с достаточной уверенностью, что со дня смерти Сталина коммунистическая диктатура находится в состоянии неустойчивого равновесия и что тем самым значительно увеличились шансы народов России на освобождение. Но ни срока, ни способов этого освобождения мы пока еще предугадать не можем. Мы знаем, что борьба за власть на верхах в коммунистической партии неизбежна — и есть достаточно показателей того, что она началась сейчас же после смерти Сталина, а может быть уже и в последние дни его жизни. Но мы не знаем ни того, как долго она продлится, ни того, чем она кончится. Повторится ли опять то, что произошло после смерти Ленина, когда понадобилось больше пяти лет для победы Сталина — даже если не принимать в расчет окончательную его расправу с остатками оппозиции? По этому вопросу существуют разные мнения. Некоторые считают, что перед Сталиным стояли бóльшие трудности, чем те, что пришлось бы преодолевать теперь претенденту на пост единоличного диктатора. Указывают при этом на бóльшую монолитность вымуштрованной Сталиным партии, на отсутствие в ней каких-либо фракций или уклонов, на исчезновение с партийного горизонта всех сколько-нибудь независимых личностей — иными словами, на большее совершенство партийного аппарата. Но вот тот же А. Вейсберг, которого я уже цитировал выше, доказывает в своей статье, на мой взгляд очень убедительно, что именно успех сталинского опыта делает его повторение невозможным. Не один Маленков, но все его соперники — люди одной и той же, сталинской, школы. Все они одинаково хорошо помнят, *каким* путем Сталин пришел к власти, и знают, *что* ожидает их в случае поражения. Все они «предупреждены» историей, и ни один из них не допустит, чтобы его взяли врасплох. Вот почему едва ли Маленкову или кому-нибудь другому удастся обойти соперников так, как обошел своих соперников Сталин, и добиться власти «тихой сапой». Остается путь «двор-

цового переворота» с помощью доступной претенденту вооруженной силы, но и этот вариант представляется мало вероятным. Попытка к такому перевороту могла бы вызвать нечто вроде гражданской войны внутри коммунистического аппарата, которая в свою очередь могла бы явиться сигналом для народного восстания. Сталинские наследники слишком осторожны для того, чтобы пойти на такой риск.

Если это рассуждение правильно, то мы стоим перед перспективой затяжного кризиса — более или менее длительного пребывания «коллегиальной диктатуры» в состоянии неустойчивого равновесия, которое может быть нарушено только вмешательством со стороны. Здесь наша мысль обращается прежде всего к вопросу о возможности народной революции в России. Мы не сомневаемся в наличии широко распространенного и острого недовольства среди населения Советского Союза, и перспектива его примирения с ненавистным режимом является для нас исключенной. Но от наличия такого недовольства, как бы остро и распространенно оно ни было, еще далеко до революционных действий. Строго говоря, стихийных, самопроизвольных революций не бывает; всякая, даже самая общенародная революция требует для своего осуществления какой-то пропагандной и организационной подготовки. Я не стану входить здесь в обсуждение спорного вопроса о том, в какой мере такая подготовка возможна в условиях тоталитарного режима и в чем именно она может состоять. Думаю, однако, что все согласятся с утверждением о необычайной сложности и трудности этой задачи. Думаю также, что пока у нас нет достаточных данных, чтобы утверждать наличие в сегодняшней России «непосредственной революционной ситуации». Не в состоянии мы предугадать и того, как скоро и при каких обстоятельствах эта ситуация может сложиться.

Со смертью Сталина в твердыне коммунистической диктатуры образовались опасные для нее бреши. Тем самым для дела русского освобождения открылись возможности, каких у него раньше не было. В конечном исходе борьбы между народом и угнетающим его режимом сомнений у нас быть не может. Развязка может прийти быстрее, чем это сейчас кажется, по крайней мере тем из нас, кто опасается преувеличенных надежд, грозящих разочарованием. Но мы все должны быть готовы к тому, что борьба может затянуться на долгое время. Не будем жить в лихорадочном ожидании конца, который может быть еще и не так близок. Сейчас, больше чем когда-либо, нам нужны душевная выдержка и трезвость мысли.

2. После Сталина: на Западе

Были люди, которые ожидали, что западный мир воспользуется созданным смертью Сталина замешательством для того, чтобы нанести советской диктатуре чувствительные удары если не военного, то политического характера. Казалось бы, момент для этого был самый подходящий, а между тем, как мы теперь знаем, такой переход западного мира от обороны к наступлению, или хотя бы к более активной обороне, — пока что не произошел.

Напрасно было бы приписывать это целиком успеху «мирной кампании» кремлевского правительства. Во-первых, и сама эта кампания была не слишком последовательной, поскольку миролюбивые жесты и заявления перемежались в ней с декларациями и поступками, от всякого миролюбия весьма далекими. Во-вторых, тот несомненный успех, который она всё-таки имела, не был повсеместным или во всяком случае не был распределен равномерно между отдельными частями западного мира. Как и следовало ожидать, в Европе он был значительно больше, чем в Америке, где и эмоциональное отталкивание от коммунизма, и скептическая настороженность по отношению ко всему, что исходит от Кремля, укоренены сейчас гораздо сильнее, чем в любой из европейских стран.

Те, кто надеялся на активизацию западной политики, рассчитывали именно на американскую инициативу, и то, что Америка такой инициативы не проявила, является для многих предметом большого разочарования. Его можно признать естественным, но это не освобождает нас от обязанности постараться понять те объективные причины, которые определяют осторожную и выжидательную политику правительства Айзенхауэра. Прежде всего их надо искать в самом положении нового правительства — первого республиканского правительства, пришедшего к власти за последние двадцать лет, и в своем большинстве, начиная с президента, состоящего из людей, не имеющих профессионального политического опыта. Со дня прихода этого правительства к власти не прошло еще и пяти месяцев, и за это время значительная доля его энергии уходила на решение таких проблем, как перестройка административного аппарата или налаживание отношений с Конгрессом. Перед ним стояла и еще более сложная проблема — согласование между собой таких кардинальных пунктов его программы, как усиление национальной обороны, с одной стороны, и сбалансирование государственного бюджета, с другой.

За этими специфическими затруднениями нового правительства встают трудности, вытекающие уже из традиционной американской политической структуры и психологии. Я часто вспоминаю слова генерала Маршалла о необычной в своем роде судьбе Америки, оказавшейся в положении руководящей мировой державы без надлежащей исторической подготовки. С тех пор, как эти слова были сказаны, Америка, конечно, многому научилась на опыте последних лет, но всё же она еще не успела полностью приспособиться к новому для нее международному положению. О былом американском изоляционизме говорить больше не приходится, но пережитки изоляционистских навыков дают о себе знать до сих пор. Об этом недавно писал в «Нью Йорк Таймс» известный американский журналист Рестон, озабоченный тем, что ход истории обгоняет эволюцию американской политической мысли и государственных учреждений. Рестон приводит несколько примеров этого «отставания» Америки от истории. Так в дипломатическом ведомстве ответственные места в значительной мере всё еще заняты людьми, которые в доброе старое время были подготовлены к роли простых наблюдателей, что делается во внешнем мире, а теперь вынуждены играть роль активных участников в международных отношениях. Прежде особой беды не было в том, что председатели комиссий по международным делам в Конгрессе выбирались в порядке старшинства или что на ответственные дипломатические посты назначались люди, оказавшие политические услуги администрации. Сегодня пережитки этой системы угрожают международным интересам Соединенных Штатов. Если лет тридцать тому назад какой-нибудь сенатор обрушивался на Государственный Департамент или говорил дерзости по адресу иностранных правительств, то заграницей мало кто обращал на это внимание, а внутри страны это доставляло репортерам и читателям газет невинное развлечение. Сейчас, когда за политикой Соединенных Штатов следит весь мир, подобные «эскапады» представляются развлечением весьма сомнительного характера.

Рестон указывает также на пережитки старых настроений в американской народной психологии. Сюда относится, например, выросшая на почве первоначального пионерства иллюзия американского всемогущества. Средний американец склонен думать что Америка может добиться всего, чего она хочет, что желательное равнозначно с возможным, и по мнению Рестона эта психология часто отражается в дебатах по внешней политике, происходящих в Конгрессе. Желательно, чтобы ко-

рейская проблема была разрешена возможно скорее, чтобы в Китае было демократическое правительство, чтобы Германия стала объединенной республикой, чтобы в Англии установилась нормальная экономическая жизнь, а во Франции — прочное правительство. Если же все эти желательные вещи не происходят, то в этом повинны либо нерешительность Президента, либо глупость Государственного Департамента, либо, наконец, нелойяльность отдельных дипломатов. Другая распространенная иллюзия заключается в убеждении, что оказываемая Америкой финансовая помощь способна обеспечить доброе отношение со стороны других стран и определить их политику в надлежащем направлении. Отсюда возникают такие предложения, как недавняя резолюция бюджетной комиссии Сената о прекращении финансовой поддержки Объединенным Нациям в случае, если они допустят в свой состав представителей коммунистического Китая.

Я остановился на статье Рестона потому, что она хорошо объясняет те домашние препятствия, которые встречает на своем пути внешняя политика американского правительства. К ним присоединяются препятствия, чинимые извне — не врагами, а союзниками. Президент Айзенхауэр прекрасно понимает, что Америка не всемогуща и что в одиночестве она с мировыми проблемами справиться не могла бы. Вместе с тем, при всем своем материальном превосходстве над другими западными странами, она не может и не хочет быть гегемоном такого типа, как Советская Россия. У Америки нет сателлитов, а есть союзники. Сателлитам можно приказывать, а с союзниками надо договариваться. Полномочные представители советской власти ездят в «народные демократии», чтобы начальственным окриком наводить там порядок, а если нужно — устраивать чистки или государственные перевороты. А вот американским министрам Даллесу и Стассену пришлось сначала объехать европейские союзные страны, а потом летать из одной азиатской страны в другую для того, чтобы обсуждать, уговаривать и объясняться. В Европе многие любят сейчас жаловаться на американское давление, но в странах, где раздаются эти жалобы, ни пресса, ни политические деятели, ни даже представители правительств не чувствуют себя вынужденными воздерживаться от критических замечаний насчет американской политики. В момент, когда пишутся эти строки, соединенным усилиям американской дипломатии, военного командования и самого президента не удалось еще сломать упорное сопротивление Синмана Ри в вопросе об условиях корейского перемирия. Какое еще нужно доказатель-

ство фантастичности разговоров об американском «диктате» и американских «марионетках»?

Конечно, всё было бы гораздо проще и удобнее, если бы Америка могла — ударом кулака по столу — добиться хотя бы вынужденного единогласия среди своих союзников. Но мечтать об этом значит забывать о разнице между миром свободным и несвободным. Внешнее единогласие восточного блока обеспечено именно тем, что в нем все расхождения загнаны внутрь, скованы пока еще достаточно крепким железным обручем. Это дает ему временные тактические преимущества, но это же обрекает его на неизбежное конечное поражение. Единство свободного мира может быть достигнуто только органическим путем. По существу его солидарность—даже и сейчас, при всем его видимом разброде — остается подлинной реальностью, а не фикцией, как у его противников. Мы склонны преувеличивать расхождения между западными союзниками именно потому, что они происходят в атмосфере полной гласности, обсуждаются открыто — и иногда слишком горячо — в печати и в парламентских заседаниях. Всё это неизбежно, всё это входит в ту цену, которую демократиям приходится платить за свободу. Подчас цена эта может казаться излишне высокой, но в минуты слабости полезно напоминать себе и другим, что нет такой цены, которая была бы слишком высока для свободы.

Это не значит, конечно, что в западном мире всё обстоит благополучно. Слишком очевидно, что до благополучия ему еще далеко. Ему надо бороться с постоянно стоящим перед ним соблазном ослабить усилия в борьбе за свое существование, вернуться к спокойной нормальной человеческой жизни, как если бы она была одинаково возможна при всяких обстоятельствах. Вся психология человека свободных стран мало приспособлена к периодам кризисов, к эпохам войн и революций, к необходимости длительного и противоестественного напряжения сил. Это легко осуждать как слабость, но в основе это есть здоровое общечеловеческое чувство, с которым диктаторы тоталитарных режимов справляются — до поры, до времени — мерами беспримерного насилия, но которое перед вождями свободных стран ставит сложнейшие политические задачи.

Сейчас, после смерти Сталина, они стали еще более сложными, чем были раньше. В большей мере в Европе, в значительно меньшей — в Америке, это событие неизбежно повело к некоторому ослаблению деятельности, к возникновению чувства, что наконец-то стало возможно вздохнуть свободнее. Не всё в этом чувстве является иллюзией. Иллюзия, конечно,

то, что можно ждать подлинного перерождения теперешнего кремлевского режима. Но не иллюзия то, что этот режим сам переживает сейчас серьезный кризис, что его положение ослаблено, что его руки в какой-то мере связаны. Недавно американский публицист Уолтер Липпман указал еще на одно часто забываемое обстоятельство: далеко не всё, что было сделано Западом для самозащиты, оказалось бесплодным — положение сейчас всё-таки лучше, чем оно было в первые годы после войны; в частности, Европа всё-таки оправилась от пережитой ею катастрофы и окрепла. Угроза, висевшая над западным миром, не исчезла, но она стала менее непосредственной и шансы на ее преодоление возросли. Объективно это есть положительный фактор, но субъективно, психологически он заключает в себе опасность преждевременного, морального и материального, разоружения. На тяге к такому разоружению и пытается играть противник, а руководителям западной политики приходится принимать ее во внимание во всех их заявлениях и действиях.

Ответом на очередную мирную кампанию Москвы явилась известная речь президента Айзенхауэра, произнесенная им в Вашингтоне 16-го апреля с. г. Она была продиктована желанием показать, что главной целью американской политики является сохранение и упрочение мира, что Америка не хочет войны и сделает всё возможное для того, чтобы ее избежать. Но мир, купленный ценой отказа от основных начал международной справедливости, не может быть ни подлинным, ни прочным. Кроме того, наученная горьким опытом, Америка не готова удовольствоваться миролюбивыми словесными заявлениями со стороны советского правительства: слова должны быть подкреплены соответствующими делами. Центр тяжести речи Айзенхауэра и лежал поэтому в перечислении тех условий, которые одни могут обеспечить всеобщее замирение. Оно начиналось с таких сравнительно ограниченных задач, как прекращение войны в Корее и заключение мирного договора с Австрией, и кончалось освобождением стран Восточной Европы и ограничением вооружений под международным контролем.

В Европе речь Айзенхауэра вызвала повидимому чувства смешанного характера. Утешительно было еще раз услышать из уст американского президента, что Америка стремится избежать войны и готова принять самое активное участие в деле мирного строительства в международном масштабе. Но как и раньше, по другим поводам, так и теперь, упоминание о тех условиях, которые американское правительство считает для

этого необходимым, в некоторых кругах вызвало опасения. Не требует ли Америка слишком многого, не проявляет ли она своего рода политический максимализм, грозящий помешать осуществлению более доступных целей, и, в особенности, не явится ли программа освобождения Восточной Европы препятствием на пути к мирному разрешению международного конфликта? Нам отсюда трудно судить, насколько широко были распространены эти сомнения, но во всяком случае они нашли свое, правда, смягченное, отражение в заявлении Черчилля, сделанном во время дебатов по внешней политике в Палате Общин. Черчилл не отвечал прямо Айзенхауэру, но предостерегал против ошибочного мнения, согласно которому нет смысла договариваться с Советским Союзом, если нельзя добиться решения всех проблем сразу. Из всех условий Айзенхауэра, он выделил только два первых, мир в Корее и мирный договор с Австрией, как предметы для немедленного обсуждения. Главная его забота была о том, чтобы преувеличенными требованиями не отпугнуть кремлевское правительство в тот самый момент, когда оно начало менять свою «аттитуду». Он нашел нужным заверить Советскую Россию, что он признает за ней право на гарантию против немецкого нашествия, и в этой связи говорил о дружественной к России Польше, которая будет играть роль буферного («но, я надеюсь, не марионеточного») государства. Надо признать, что это последнее заявление достаточно странно и двусмысленно. В 1939 году Польша была разделена между гитлеровской Германией и сталинской Россией в результате п р е д в а р и т е л ь н о г о между ними соглашения. Сталинский пакт с Гитлером развязал вторую мировую войну, в процессе которой советско-нацистская дружба, «спаянная кровью», превратилась в ожесточенную борьбу между бывшими союзниками. То обстоятельство, что Советская Россия овладела в то время восточной частью Польши, не защитило ее от немецкого вторжения. Не совсем понятно, каким образом буферное польское государство может обеспечить Россию от такого же вторжения в будущем. Еще менее понятно, каким образом государство, на которое будет возложена обязанность оставаться «дружественным буфером», сумеет не превратиться в «марионетку», т. е. сохранить свою независимость. Невольно приходит в голову мысль, что этими словами Черчилл по тактическим соображениям пытался отгородиться от провозглашенной Айзенхауэром программы «Освобождения Восточной Европы». Если прибавить к этому, что он еще высказался в пользу устройства в близком будущем совещания между гла-

вами правительств ведущих держав («The leading powers») несомненно включая в их число и Маленкова, то картина его расхождения с Айзенхауэром получится достаточно полная.

И всё же можно быть уверенным, что настоящей угрозы для англо-американского сотрудничества это расхождение не представляет. Недаром черчиллевский план конференции с участием Советской России уже заменен американским планом предварительной конференции США, Англии и Франции. Англия и Америка слишком тесно связаны между собой и общими культурно-историческими традициями, и сознанием своей взаимозависимости, чтобы пути их могли разойтись в разные стороны — по крайней мере, при настоящей мировой конъюнктуре. Между ними были и будут расхождения тактического характера, но разрыва быть не может. Да и наметившиеся теперь разногласия при ближайшем их анализе представляются не столь существенными, какими они могут показаться с первого взгляда.

Прежде всего не надо забывать, что в своей речи Айзенхауэр не обращался к советскому правительству с ультимативным требованием немедленного принятия всех его условий. Он просто развернул ту программу международных действий, без осуществления которой настоящий мир установлен быть не может, — и при этом указал, что до сих пор препятствием к ее осуществлению была политика советской диктатуры. Невозможно предположить, чтобы он ожидал немедленного или даже сколько-нибудь быстрого разрешения всех этих проблем в дружественной кооперации с советским правительством! И так же трудно допустить, чтобы он обрекал Америку и весь западный мир на бездействие до наступления того часа, когда Советская Россия согласится на демократические выборы в объединенной Германии, уйдет из стран Восточной Европы и подчинит свои вооружения международному контролю! Силою вещей и Айзенхауэру придется пытаться осуществлять свою программу шаг за шагом, как того хочет Черчилл, — с той только разницей, что он не будет скрывать своих конечных целей, а Черчилл по тем или иным причинам предпочитает о них умалчивать.

Впрочем о том, какими путями эти конечные цели могут быть осуществлены, и Айзенхауэр пока что не говорит. Ясно одно, что он так же как и Черчилл, не только не считает войну неизбежной, но и отвергает ее как метод решения стоящих перед миром проблем. Вместе с тем он, повидимому, в гораздо меньшей степени чем Черчилл верит в возможность договориться с новыми кремлевскими властителями. На пути такого

соглашения попрежнему стоят почти непреодолимые трудности. Они были точно, хотя и в косвенной форме, указаны в советском ответе на выступление Айзенхауэра. В нем, между прочим, отмечается, что, ставя ряд требований Советскому Союзу, президент не указал, какие «соответствующие обязательства» примут на себя США, а несколько дальше в том же параграфе, условия Айзенхауэра критикуются, как несоответствующие «фактическому соотношению сил в международном положении».

В речи Айзенхауэра, действительно, не было никаких указаний на те уступки, которые Америка могла бы сделать Советскому Союзу в обмен на то, что она от него ожидает. Но их там и не могло быть — по той причине, что все возможные уступки уже были сделаны в первые годы после войны и уступать больше нечего. В распоряжении Америки нет того фонда захваченных территорий, стран-сателлитов, сфер влияния, каким располагает Советский Союз, и потому за освобождение Восточной Германии, или Польши, или Чехословакии она никакой соответствующей компенсации предложить не может. Ей освобождать от своего господства некого. В применении к недавним дружеским жестам со стороны Кремля это положение очень хорошо охарактеризовал Черчилл: «Пока что эти жесты сводятся к тому, что они перестали делать по отношению к нам то, чего мы по отношению к ним никогда не делали. Вот почему нам трудно найти определенные поводы, чтобы ответить им тем же». В применении к вопросам международной политики это значит, что на конференции с советскими представителями западные делегаты окажутся в очень невыгодном положении, когда дело дойдет до дипломатического торга: никакого соблазнительного для другой стороны quid pro quo в их распоряжении может не оказаться. Теоретически говоря, они, конечно, могли бы сделать уступки, но эти уступки были бы такого рода, что они повели бы к утрате западными державами морального престижа, не обеспечив при этом их безопасности: я имею в виду частичное признание советских захватов или, например, согласие на создание «независимой» Восточной Германии[1]. Другой отмеченный мною момент в советской критике выступления Айзенхауэра тоже ведет нас к реально ощутимой трудности: программа-максимум американского президента пока еще действительно не соответствует «фактическому соотно-

[1] См. по этому вопросу интересную статью Д. Ю. Далина "Halfway to Moscow Is Suicide", New Leader, 25 May, 1953.

шению сил в международном положении». Как бы серьезен ни был кризис советской диктатуры он всё-таки не ослабил ее настолько, чтобы она была вынуждена пойти на добровольное прекращение своего контроля над Восточной Германией и странами-сателлитами или вообще пойти на какие-нибудь существенные уступки. С другой стороны Западный мир пока еще недостаточно силен — ни психологически, ни организационно, ни в военном отношении, — чтобы оказать на нее надлежащее давление. До тех пор, пока равновесие сил не будет радикально изменено в пользу свободных западных стран, нельзя ожидать коренного решения стоящих перед миром проблем.

Как скоро и какими способами это изменение в равновесии сил может быть достигнуто, является вопросом такой сложности, что обсуждение его выходит за пределы настоящих комментариев.

М. Карпович

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Н. Д. АВКСЕНТЬЕВ

(К 10-летию со дня смерти)

«Подавляющее большинство человечества состоит из правых эс-эров», — с грустью жаловался поэт Блок приятелю своему Зоргенфрею весною 18-го года. («Записки Мечтателей» № 6). Блок тогда упивался еще «музыкой революции» и, под влиянием Иванова-Разумника, примыкал к так называемым левым эс-эрам, вместе с большевиками управлявшими Россией.

Хорошо это или плохо, но Николай Дмитриевич Авксентьев всю свою сознательную жизнь политически принадлежал к «подавляющему большинству человечества» — был и оставался «правым эс-эром». Правые эс-эры неотделимы от Авксентьева так же, как Авксентьев неотделим от правых эс-эров. Самое это понятие возникло, развилось и укрепилось вместе с Авксентьевым, его взглядами и деятельностью.

Правые эс-эры, левые, центр ведут свое происхождение с революции 1905-6 г.г. Когда происходили выборы в 1-ую Государственную Думу и перед партией с. р. встал вопрос об участии в них, Авксентьев был среди тех, кто считал необходимым активно участвовать в выборах. Победило, однако, мнение большинства, которое полагало, что участие в выборах в Думу при сохранении самодержавной власти политически вредно и только может скомпрометировать социалистов-революционеров. Не прошло, однако, и года, и при выборах во 2-ую Думу меньшинство оказалось уже большинством: взгляд Авксентьева и его единомышленников одержал верх, и партия с.-р. провела во 2-ую Думу 37 депутатов, не считая скрытых эс-эров среди 104 трудовиков.

Охарактеризовать политические взгляды и деятельность Авксентьева почти равнозначно с указанием, что́ такое или кто такой правый эс-эр. Начнем с отрицательных признаков. Правый эс-эр — н е максималист: он не провозглашает «всё или ничего», «сейчас или никогда». Правый эс-эр н е монист и н е абсолютист, иными словами он не утверждает верховенства о д н о г о какого-либо начала, исключающего все другие, соотносительные. Правый эс-эр — н е догматик, и тем самым н е фанатик, верующий в чью-либо, хотя бы и свою собственную, непогрешимость. Правый эс-эр и н е

эгоцентрик, претендующий на то, что он сам или группа, к которой он себя причисляет, политическая, профессиональная, научная, религиозная, имеет право на какие-то особые преимущества.

Отсюда и положительные признаки правого эс-эра. Будучи социалистом, он считает, что противникам, по слову Герцена, следует «раскрывать глаза, а не вырывать их». Принимая революцию, правый эс-эр, вместе с Жоресом, считал ее «варварской формой прогресса», «отчаянным средством», к которому иногда вынуждает прибегать трагическое сплетение событий. Правый эс-эр чужд пафоса разрушения ради разрушения в его абсолютной бакунинской формулировке: «дух разрушающий есть и дух созидающий». Он принимает разрушение в том условном смысле, в каком его понимал Ницше, и который, в переводе Авксентьева, звучит: «Лишь как творцы можем мы уничтожить». Правый эс-эр исполнен стремления к свободе, напоен ее пафосом. Самый социализм представляется ему эманацией свободы или распространением ее с обще-духовной и политической сферы на область экономических взаимоотношений, по формуле Вандервельде: «Социализм будет социализмом свободных людей или его вовсе не будет». Правый эс-эр — народник и идеалист прежде всего психологически, что́ равносильно признанию общественных нужд и целей стоящими выше личных и готовность ради этих целей итти на жертвы.

Идеологически правый эс-эр считает себя реалистом. Не всегда кантианец, как Авксентьев, он тем не менее признает и «категорические императивы», и критическую проверку разумом всех сторон жизни. Патриот без шовинизма, правый эс-эр знает, где его родина и предан ей без лести. Ему далеко не безразличен, однако, и весь прочий мир. В Европе ему до́роги не одни только могилы, но и живая жизнь. Он интернационалист — в том смысле, в каком Жорес говорил: «un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme, beaucoup d'internationalisme y ramène», или в несколько свободном пересказе Авксентьева в посвященной Жоресу статье в «Призыве» 29 июля 1916 г.: «Малый патриотизм — узкая и не разумная любовь к родине, — приводит к национальной исключительности; большой же патриотизм — разумная и светлая любовь к своей стране — ведет к интернационализму». Или, продолжая словами Авксентьева, — «живая идея международной солидарности и братства подразумевает не обезличение отдельных народностей, не превращение их в стёртые пятаки, а свободное развитие их, сотрудничество в обще-человеческом творчестве». В юридических терминах это означает федеративное устройство России и организацию мира на федеративных началах.

Приведенные выше утверждения и отрицания не составляют, конечно, исключительного достояния правых эс-эров. Каждый из этих

признаков и даже многие из них общи и другим группировкам справа и слева. Но в своей совокупности они присущи, как мне представляется, только правым эс-эрам. Все они были присущи и Николаю Дмитриевичу Авксентьеву.

Николай Дмитриевич был превосходным оратором и говорил он с бóльшей охотой, чем писал. Но когда писал, он тщательно отделывал свои статьи. Он писал на публицистические и политические темы в партийных органах эс-эров: в «Знамени Труда», «Почине», «Призыве», «Деле Народа», «За Свободу», и в непартийных «Современных Записках». Активнее всего Авксентьев, как публицист, был во время 1-ой мировой войны, когда социалисты-оборонцы стали выпускать «Призыв» под редакцией Авксентьева, Плеханова, Бунакова, Воронова и других. В 60 номерах «Призыва» перу Авксентьева принадлежат свыше 40 статей. Не стану передавать их содержание. Скажу только, что самый факт существования «Призыва», который выходил в течение полутора года (с 1 октября 1915-го года по 31 марта 1917-го года), явно опровергает безответственные суждения о том, что эс-эры — я цитирую — «злейшие внутренние враги величия России», которые «никогда не упустят ни одного удобного случая для уничтожения могущества нашей родины». Только теперь мы узнали, что, когда русское правительство признало в 1908 году аннексию Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией, оно это сделало потому, что премьер Столыпин считал, что «мы не можем меряться с внешним врагом, пока не уничтожены злейшие внутренние враги величия России, эс-эры». (М. П. Бок «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине». — 1953. — Стр. 300 и 346).

В партии эс-эров было немало оборонцев-патриотов, никому не уступавших в преданности России и ее величию. Одним из них, едва ли не виднейшим, был Н. Д. Авксентьев. Для него политические партии были необходимым элементом демократической системы управления. Вместе с тем интересы и задачи своей партии Авксентьев не противопоставлял интересам страны и народа, а как бы сливал их: партия и ее сочлены — слуги государства и народа; они — только средство к удовлетворению стоящих перед нацией и человечеством социально-политических нужд.

Николай Дмитриевич был самолюбив и не считал нужным это скрывать или маскировать. Он бережно охранял свою честь и достоинство. Но не менее высоко ставил он честь и достоинство партии и учреждений, к которым он принадлежал или которые представлял. И особенно — достоинство России и своего народа. Всякое умаление русского достоинства он остро и глубоко переживал, воспринимая его как личное оскорбление, нанесенное ему, Николаю Авксентьеву.

Авксентьев страстно желал и ждал победы России и ее союзников в 1-ую мировую войну, как он ждал и желал ее и во 2-ую.

Во время 1-ой войны он не раз писал: «путь, ведущий к свободе, приведет к победе». Во 2-ую войну он писал: «путь, ведущий к победе, приведет к свободе». Оба эти утверждения, которые, вместе с Авксентьевым, разделяло множество русских патриотов-демократов, увы, не оправдались. Это, конечно, ни в малой мере не опорачивает ни патриотизма, ни свободолюбия тех, чей прогноз не оправдался.

Авксентьева высоко ставили единомышленники и друзья. Но по своему высоко «ценили» его и враги. Из новой Большой Советской Энциклопедии, начавшей выходить в 1950 году, исключены имена едва ли не всех эмигрантов, упоминавшиеся в предыдущем издании 1926-1947 г.г. Имя Авксентьева, однако, сохранено и в новом издании. Энциклопедия не упоминает о том, что в 1950 году минуло уж 7 лет со времени кончины Авксентьева, но она повторяет прежние клеветнические выпады против покойного, сопровождая их лестной, с нашей точки зрения, аттестацией: в 1918 г. «уехал заграницу, где продолжал активно бороться против советской власти».

Николай Дмитриевич учился философии и любил ее. Он основательно изучал и на всю жизнь усвоил Канта и, по своему, — Ницше. Его истолкование Ницше сейчас может показаться неправильным или даже неприемлемым. Но в начале текущего века положительная и высокая оценка Ницше была присуща многим, — в том числе и учителям Авксентьева, Зиммелю и Рилю. Авксентьев любил философию, но ему не дано было возможности уделять ей достаточно внимания и систематически ею заниматься. И только изредка удавалось ему откликаться на чужие философские высказывания. Одним из таких откликов была обширная статья Авксентьева о «Творчестве культуры», направленная против «Этики нигилизма», напечатанной философом С. Л. Франком в сборнике «Вехи». Со взглядами Авксентьева можно не соглашаться, — нельзя, однако, не признать, что статья его на высоком уровне и достойна оппонента.

В 1937 году в «Современных Записках» появилась статья Авксентьева о «Масарике, как философе демократии». Приведу из нее несколько извлечений. «Масарик, — пишет Авксентьев, — был противником всякой догмы и особенно догмы религиозной, противником церкви и церковной организации, как носительницы и защитницы этой догмы. Его вера, свободная от всякого установленного канона, вера в Бога, духовное бессмертие, промысел. Эта вера у Масарика — не созерцательна. Подобно апостолу Иакову, он всем существом утверждает, что «вера без дел мертва». Положительная наука, точное знание и моральное сознание должны дать человеку компас для реального созидания человеческих ценностей здесь, на земле». — «Исторический процесс представляется Масарику, как замена мифа — наукой; веры в чудо — утверждением принципа причинности; теологии — философией. Сообразно этой смене происходит и смена

мировоззрений и общественного уклада. Теократия, аристократизм и деспотизм — формы осужденного на окончательное исчезновение прошлого — сменяются соответственно свободной индивидуальной верой, этическим гуманизмом и демократизмом». — «Развивая свою систему этики, Масарик говорит почти словами Канта. И для него нравственным идеалом является автономная человеческая личность и моральная равноценность людей: «всякая душа равна другой». И для него человек — и творец нравственного закона, который он сам дает себе, и подданный этого закона... Этический гуманизм Масарика приводит к тому же мыслимому завершению нравственного идеала — к идее свободной и нравственно-творческой связи автономных личностей, которое Кант выражает формулой «царство целей».

«И демократия, истинным принципом которой является этический гуманизм, предполагающий глубокую реформу духа, — даже там, где демократический строй существует, — не данность, а только з а д а н н о с т ь. ...еще нигде нет последовательно осуществленной демократии: все демократические государства являются до сих пор лишь о п ы т о м создания демократии... Не о кризисе демократии надо говорить», пишет Масарик, а о «к р и з и с е р о с т а ч е л о в е ч е с к о й л и ч н о с т и. Тяжел созидательный «длительный труд», «реформа духа» далеко не закончена, и рецидивы, к сожалению, возможны: и возврат к «мифу» — сколько классового, расового, государственного «мифотворчества» наблюдаем мы ныне! — и возврат к «чуду», — хотя бы «социализма в одной стране», — и возврат к деспотизму, и, если не к т е о кратии, то к монопольным и догматичным и д е о кратиям». — «Именно потому и социализм Масарика основан на нравственных постулатах: он — этико-гуманитарен. «Мой социализм — просто любовь к ближнему», — говорит Масарик. «Человечность это не старая филантропия. Человечность стремится реформировать самую организацию общества в законе и социальном строе».

В этих извлечениях трудно, — я бы сказал, невозможно, — провести черту, где кончается Масарик и начинается Авксентьев. Один близко напоминает другого, как бы подтверждая известное наблюдение о нередком сходстве в литературном портрете — изображаемого с тем, кто его изобразил.

Я уже упоминал, что Николай Дмитриевич не видел с а м о ц е л и в партиях. Не видел он ее и в с в о е й партии, к которой принадлежал без малого 40 лет. Отсюда и положительное отношение Авксентьева ко всякого рода «сложению сил» и образованию блоков, союзов и коалиций с соседними политическими и общественными группировками. Таково было его отношение, когда он был наверху, у власти, в 17-ом и 18-ом годах, таким же оно осталось и позднее, когда он очутился в эмиграции.

После войны участились попытки объединения русской эмиграции в союзы, лиги, центры. И всякий раз остро ощущалось отсутствие Авксентьева. Его место никто не сумел занять. Может быть потому, что это было и объективно невозможно. А может быть и потому, что недоставало личных качеств покойного Николая Дмитриевича. Авксентьев принадлежал к эсэрам, или к «подавляющему большинству человечества», по уверению Блока. Вместе с тем в нем было нечто индивидуальное, только ему присущее, что выделяло его из этого «большинства».

М. Вишняк

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» КРАСНОЙ АРМИИ 23 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА[1]

23 февраля по всей территории, как Советского Союза, так и подвластных ему «свободных» республик, празднуется традиционный «день рождения» Советской Армии, еще недавно носившей имя «Красной». Но почему именно день «23-го февраля» празднуется как день рождения Красной Армии? Ответ на это дает Сталин, который в своем приказе по Армии 23 февраля 1942 года говорит: «Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, на голову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно потому день 23 февраля объявлен днем рождения Красной Армии»[2].

Посмотрим теперь, что открывают нам документы, опубликованные большевиками с 1918 года.

Как гласит статья о «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» в Малой Советской Энциклопедии (изд. 1929 г.) «уже в декабре Совнарком решил, что надо поставить вопрос о новой вооруженной силе в отличие от частей уже сформированной Красной Гвардии». 20 де-

---

[1] Во избежание путаницы все даты до 1/14 февраля 1918 года даны по обоим стилям. После же этой даты они даны по новому стилю. *А. Т.*

[2] См. «Организация Красной Армии». Сборник документов и материалов. Москва. 1943. Стр. 38.

кабря/2 января 1918 года была образована «Всероссийская Коллегия по организации и учреждению Красной Армии» (См. Б. Галь: «Исто-рия Красной Армии». Москва. 1929 г., стр. 64). Декрет 15/28 января 1918 года был напечатан в Петрограде в «Известиях» от 19 янва- ря/1 февраля, сообщающий об организации «Рабоче-Крестьянской Красной Армии» на принципах «вольного найма»[3]. На организацию Красной Армии, как писали «Известия», было ассигновано 20 мил-лионов рублей. Как мы видим, именно эта дата декрета *15/28 января 1918 года* должна была бы быть датой «рождения» Красной Армии, но уже в 1929 году Малая Советская Энциклопедия в своей статье о «Красной Армии» относит дату декрета к 10/23 февраля. С другой стороны официальный труд Вишнякова и Архипова «Устройство Вооруженных Сил С.С.С.Р.» (Москва, 1926) цитирует и другую дату: «Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии был опуб-ликован и вошел в силу 23 февраля (н. ст.) 1918 года. Этот день считается днем основания Красной Армии и является в ней праздни-ком». Ни о каких победах пока, конечно, не упомянуто. Мы увидим откуда была взята эта дата, начало, так сказать, «легенды о по-бедах».

«Победная» дата Сталина и *новая* версия о «победе» 23 февраля связана с перипетиями Брест-Литовских мирных переговоров. Малая Сов. Энциклопедия 1928 года говорит: — «10/23 февраля (т. е. в день победы. *А. Т.*), имея сведения о *непрерывном продвижении немцев* (подчеркнуто *А. Т.*), Ленин настойчиво предлагал *прекратить политику* революционной фразы, угрожая уходом из Ц. К., после чего 7-ью против 4-х, при 4-х воздержавшихся, было решено под-писать мир, *ухудшенный* новыми условиями (немцев) из-за лишней затяжки ... ». Любопытно отметить, что Большая Советская Энцикло-педия, изданная годом раньше, т. е. в 1927 году, в статье того же названия пишет: «5/18 февраля немцы, не выполнив условий о 7-днев-ном предупреждении, перешли в *наступление,* занимая *без боя* в те-чение нескольких часов столько пространства, сколько им не удалось захватить за многие месяцы войны; германцы захватили неисчисли-мое количество снарядов, чего хватило бы Сов. России на добрую часть гражданской войны ... 5/18 февраля был взят Двинск ... ».

Как раз в это время в Петроградском Совете начались прения по поводу «мира или войны», но, говорит Энциклопедия: «Немцы продолжали наступать и лишь взяв Псков 21 февраля (Sic!), при-слали новый ультиматум со значительно ухудшенными условиями.

---

[3] Декрет «Цика» от 29 мая /10 июня 1918 года о «принудитель-ных наборах» был распубликован в «Известиях» от 27 мая/ 9 июня 1918 года.

Параграф № 3 гласил, что Лифляндия и Эстония немедленно очищаются от русских войск и *Красной Армии* (подчеркнуто *А. Т.*) и в них вводится германская полиция». «Одновременно — добавляет статья, — германцы двинулись на Украину, *сметая Советскую власть*» (стр. 461).

Любопытно отметить, то Большая Советская Энциклопедия, изданная в 1947 году и таким образом уже «очищенная от вредительских элементов», в статье «История С.С.С.Р.» (стр. 642) повторяет более или менее версию своих предшественников, заявляя, что «тридцать немецких дивизий (Sic!) ринулись на Советскую территорию, 15 дивизий из них двигались к Советской Столице Петрограду через Нарву, Псков. Остатки Старой Армии, находившиеся в стадии демобилизации не устояли. За три дня наступления (т. е. с 18-го по 21-е февраля. *А. Т.*) немцы захватили огромную территорию. Она в три раза превосходила ту, которую немцы заняли в 3½ года войны...». Далее статья говорит: «...нападение немецких империалистов вызвало мощный революционный подъем в стране. Началось быстрое формирование Красной Армии. В тылу у двигающихся немцев начали создаваться партизанские отряды. Петроград готовился к обороне...». Тут Энциклопедия 1947 года добавляет: «Молодые части Красной Армии 23 февраля в первых боях под Псковом и Нарвой остановили продвижение немцев. Убедившись, что взять Петроград с налета им не удастся, немцы пошли на продолжение переговоров».

Но в книге, изданной в 1943 году и озаглавленной: «В. И. Ленин. Военная переписка 1917-20 года», мы находим следующее: «Разговоры В. И. Ленина и И. В. Сталина по прямому проводу с членами Двинского Совета. 18 февраля 1918 года. Двинск. У аппарата Члены Совета Двинска. Ленин и Сталин: ...Сию минуту Главковерх (Крыленко. *А. Т.)* послал телеграмму, что нужно отступать... Двинск придется *оставить* (подчеркнуто *А. Т.)*. Что у Вас нового со стороны немцев? — Двинск: Никаких выступлений со стороны немцев пока нет. В городе царит паника... Совет решился остаться до вступления в город немцев...».

За день до «победы», т. е. 22 февраля Ленин ведет по прямому проводу разговор с военным комиссаром В. Н. Подбельским: «Проверенных новых сведений не имею, кроме того, что немцы, вообще говоря, *продвигаются вперед неукоснительно, ибо не встречают сопротивления* (! А. Т.)». Полное собрание сочинений Ленина, том 22, 1917-18 г.г., издания 1929 года, приводит в конце книги «Летопись событий». О «победе» при Пскове и Нарве 23 февраля нет следов. Вот ее содержание: «...20 февраля захвачен немцами Полоцк. 21 февраля захвачены немцами Орша и Режица. 24 февраля — Юрьев, Остров и *Псков* (*А. Т.*). 25 февраля — Ревель и Борисов. 1 марта —

Гомель, 1 марта задержана в Пскове (!) Украинская делегация (Брест-Литовского мира. *А. Т.*). 2 марта захвачена немцами Нарва (*А. Т.*)».

У автора этой статьи имеется о Псковских «боях» свидетельство одного участника этого похода, немца, профессора истории, ныне проживающего в Соединенных Штатах. В этом письме от 2 марта 1944 года говорится: «Сообщаю Вам, как участник этих событий, что Псков, фактически, был взят *без всяких боев,* как в городе, так и в его окрестностях. Более того, в это время было так мало военных действий, что Советская Делегация, направлявшаяся в Брест-Литовск спокойно прибыла в Псков 25 февраля во время занятия его нами...».

Но вернемся к большевистским документам, касающимся судьбы именно города Пскова. Сборник «Организация Красной Армии» (Москва, 1943), в обзоре о «военных действиях» отмечает следующую телеграмму *из Пскова от 22 февраля* (подчеркнуто *А. Т.*): «Сообщаем газете «Правде» о положении во Пскове. Город объявлен на осадном положении... Настроение местного гарнизона... бодрое (! *А. Т.*). Наступление немцев производится *небольшими разъездами* (*А. Т.*), которые *пока не встречают сопротивления* вследствие неимения (у нас. *А. Т.*) об этом определенных инструкций». В том же сборнике приведены два в высшей степени интересных документа. Первый гласит: «Приказ Главнокомандующего Войсками Петроградского Военного Округа от 22 февраля 1918 года (напечатан в «Известиях» от 23 февраля). Приказываю ...6-му Туккумскому Латышскому стрелковому полку немедленно отправиться в город Псков в распоряжение Управления Северного Фронта. Подписал: Главнокомандующий войсками Е. Еремеев...». Второй документ и самый интересный для освещения версии о «победе» говорит: «Телеграмма Председателя Армейского Комитета XII армии Лужского Сов. Р. С. и К. депутатов. Торошино (18 верст к северу по ж. д. от Пскова. *А. Т.*): *Сегодня, 24 февраля* в 6 часов вечера немецкие банды заняли после боя с красными войсками станцию Псков I (главная ж. д. станция в нескольких верстах к югу от города. *А. Т.*). ...Часть красных отрядов частичным порядком отходит в разных направлениях...». В этом же «сборнике» цитируется и другое сообщение от 25 февраля: «Вчера (24 февраля. *А. Т.*) было назначено заседание С.Р.С.Д., на котором было оглашено сообщение, что Псков занят *небольшим* отрядом немцев, прибывших *на мотоциклетах*...». Несмотря на то, что петроградские советские газеты того времени определенно говорят о занятии Пскова небольшим отрядом немцев, в Большой Советской Энциклопедии 1947 года появилась версия о 30-ти дивизиях.

26 февраля «Известия» сообщают под сенсационным заголовком

«Освобождение Пскова» следующее: «По самым последним сведениям Псков опять в наших руках. Немцев удалось оттуда вытеснить». В том же номере газеты помещена телеграмма военного комиссара Фабрициуса Председателю Совнаркома Ленину, которая гласит: «Торошино. 26 февраля 1918 года. Вчера вечером 25 февраля в 16 ч. 30 мин. доблестные красные части Торошинского участка с боя (! *А. Т.*) взяли г. Псков. Белогвардейские банды при дружном натиске наших частей разбежались. В городе приступлено к восстановлению Советской власти». Хотя «самые последние сведения» комиссара были ложью, 30 лет спустя эта фальсификация от 25 февраля (вместо 23-го) оказала услугу Сталину...

Но уже 1-го марта врать было невозможно. «Известия» от этого числа сообщают: «Из разведсводки... Накапливание немцев в *Пскове* продолжается. Обнаружены четыре пехотных и один кавалерийский полки с артиллерией. Немецкие разъезды доходят до Маслостицы и Торошина. Оба эти пункта в наших руках. Кавалерийские заставы противника в Черняковицах. На Порховском направлении немцы на прежнем месте — до станции Березка...». 3-го же марта та же газета извещала, что по сообщению из Великих Лук «неприятель по Бологое... ближе не продвигается...».

Подчеркнем, что в «Военной переписке» Ленина, изданной в 1943 году, ни о каких «победах» не говорится, и приведем еще другую телеграмму Ленина о «наступлении немцев на Петроград». 27 февраля 1918 года Ленин сообщал: «Мир еще не подписан... Германские белогвардейцы и сводные части их регулярной армии, соединенные с нашими белогвардейцами, хищнически дерзко наступают на Петроград... *Большинство наших* (т. е. красных. *А. Т.*) *войск бежит* (подчеркнуто *А. Т.*). Социалистическое отечество в опасности. Взят Двинск, Ревель, Венден, Вольмар, Минск, Псков...» (упоминания о «победе» при Нарве нигде найти нельзя. *А. Т.*).

Известно, что в конце февраля положение большевиков в связи с неподписанием мира и неудержимым продвижением германцев было критическим. «Известия» от 26 февраля на первой странице возвещали: «Товарищи рабочие и солдаты! Пробил последний решительный час... Белые банды генерала Гофмана и Вильгельма... продолжают быстро по ж. д. продвигаться вперед. *Только что получены сведения о падении Пскова,* находящегося в расстоянии 8 часов от столицы. Мы не можем точно знать намерение врага; м. б. он ограничится Псковом, но возможно, что продвижение немцев руководится русской и международной контр-революцией, решившими завладеть Петроградом... Все на защиту. Все к оружию... Революция в опасности. Да здравствует революция! Да здравствует социализм!». В том же номере напечатано следующее: «Командир Революционной охраны

Петрограда... 24 февраля *небольшие* (подч. А. Т.) германские отряды *взяли Псков* (подч. А. Т.) и продвигаются к Петрограду... Дежурство в Смольном всю ночь. Телефон 161-20 и 1-19».

Но все эти призывы к «войне» в том же номере «Известий» отменяются другим сообщением: «Согласно решению ЦИК и Сов. Раб., Солд., Крест. Депутатов от 23 февраля, в 4½ часа ночи, Совет Народных Комиссаров постановил: Условия мира, предложенные Германским Правительством принять ко вниманию делегатам (большевикам. А. Т.) в Брест-Литовске. Председатель С. Н. К. Вл. Ульянов (Ленин) и Народный Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий».

«Священная Война» этим сообщением официально кончалась. Но на следующий день т. е. 27 февраля «Известия» в «ночном бюллетене» сообщают: «Из Луги по прямому проводу в 3 часа сообщают, что ст. Торошино находится в наших руках. Как выясняется Псков был *занят небольшими силами немцев* (подч. А. Т.). Город удалось бы отстоять, если *было бы оказано сопротивление*. К *сожалению* в первый (подч. А. Т.) момент поддались панике и *не предприняли никаких шагов к отпору*. Сила немцев движущихся в Псковский район *немногочисленна* и *исчисляется чуть не ротами*...».

28 февраля «Известия» сообщают: «Новая война. Опровергаются слухи о взятии нами обратно Пскова». 2-го же марта газета сообщила под заголовком «Новая война»: «Сообщение Члена ЦИК товарища Струпена, прибывшего из Пскова. Первое время в городе началась паника. Немцы заняли вокзал и ж. д. мост...» Наконец «Известия» от 5 марта радостно передали телеграмму из Брест-Литовска: «3 марта в 5 часов дня Совету Народных Комиссаров было заявлено Генералом Гофман о «прекращении боевых действий сегодня с часу дня». Издайте немедленно приказ о прекращении боевых действий с нашей стороны. Карахан». Таким образом, как «священная», так и «новая» войны бесславно окончились «похабным» миром. Как мы видели, никаких «побед» и боевых схваток не было и в помине.

А. Тарсаидзе

БИБЛИОГРАФИЯ

И. А. БУНИН. Весной в Иудее и Митина любовь. Изд-во Им. Чехова. 1953. (240 стр. и 224 стр.).

Вышедшие теперь две книги Бунина не являются пестрым собранием уложенных под одну обложку вещей, а представляют собой как бы цельное произведение, в котором нельзя переставить частей, не нарушив скрепляющей их внутренней гармонии. «Солнечный удар» любви еще беззаботной, но уже неодолимой, дает в начале книги первую, короткую ноту печали. Тема проходит, наростая и осложняясь, до последнего выстрела в «Митиной любви».

Для Бунина нет случайностей, которые сплетают и расторгают души в их стремительном влечении. Только раз можно отдать себя другому. Есть ли счастливая любовь в царстве Бунина? Как будто нет. В триедином образе, — расставания, измены, смерти, — разлука разрывает хрупкую нить человеческой любви. Но разве можно сказать, что в бунинском мире нет счастья? Всё творчество Бунина говорит о счастье, утверждает земную радость. Всё оно озарено светом, весенней прелестью, горит юностью, и природа отвечает ему согласным движением зорь и закатов, гроз и облаков, темным очарованием лесов. Сама смерть склоняется перед этой полнотою жизни: она может наложить свою руку, но не в силах даже на мгновение покрыть мраком блеск земного сияния.

Манера бунинского повествования слита с его темой и не была использована до него, как не может быть повторена после него. Быстрые уколы бунинского пера оставляют жгучую, незаживающую в памяти боль. Даже не найдено названия для коротких, на полустраницу, рассказов Бунина, открывающих всего человека, попавшего под луч бунинского фонаря. «В Альпах», конечно, не имеет ни по стилю, ни по содержанию, ничего общего со стихотворением в прозе, — но это и не картина, не очерк, не маленький рассказ. Это созданный Буниным и введенный им в литературу новый жанр, быть может известный поэтам Ренессанса, но совершенно неведомый нашей эпохе. Краткость тут сочетается с богатством и полноценностью образов, к которым как будто ничего более нельзя прибавить. Бунин вводит этот новый жанр и в свои романы и повести, на миг выдвигая и снова убирая яркий человеческий образ, которого мы уже не забудем.

Но и для вещей более долгого дыхания в бунинском творчестве трудно подобрать правильное название, так непохоже это на то, что принято обозначать именем небольшого рассказа или повести. Во

всем своем творчестве Бунин не схож ни с одним из своих современников или предшественников, даже тех, кого любил, как Чехова, или признавал, как Тургенева. Упрямо и одиноко он отказался от всего готового и создавал свою манеру письма, свою тему, свой собственный творческий мир. Нет у него принятого навсегда «бунинского стиля», раз навсегда выработанного «бунинского языка», — каждый раз он кует новое оружие, бесконечно меняя и разнообразя манеру и форму своих вещей. Нет у него и своих «бунинских» повторяющихся типов, «своих» образов, которые переходили бы от одного произведения к другому или заражали бы своими свойствами других героев. Как природа по-новому творит каждый лист, так Бунин каждый раз находит новую форму для передачи явившегося ему образа или чувства. И потому таким новым, как будто еще не виденным нами является каждое рожденное им произведение. Собака в «Снах Чанга» может найти своих предков разве в древней Панчатантра, где звери еще свободны и равны человеку, но ни чеховская Каштанка, ни гоголевские собачки, в своей покорной близости к человеку, не знают скорбей проницательного Чанга, который видит душу своего хозяина и тоскует в своих снах об его былом счастье. Гибнущие, не справившиеся с жизнью, не кажутся Бунину «униженными» и он отдает силу своей нежной жалости безнадежному в падении «Казимиру Станиславовичу», ибо в сердце его не истлела любовь.

Голос Бунина меняется, когда он сворачивает свитки времен и делает далекое простым и близким. Горестное «дней моих на земле уже осталось мало» покрывается мыслью о свершенных судьбах, «ибо дни мои через смерть стали вечны». Но не Лаура, возвещающая своему поэту о бессилии смерти и разрушения, «Прекраснейшая Солнца» для Бунина Россия, которой он посвятил всю свою творческую жизнь. С пламенной страстностью он находит новые и новые ее черты, создает новые и новые ее образы и переходит от любования рязанскими косцами к подлинному славословию нетленной прелести России. Подобно неутомимому исследователю безбрежных земель, Бунин сохранил дерзость искателя, и не успокаиваясь на уже преодоленном, не удовлетворяясь уже найденным, вечно устремлен в будущее, стремясь найти новые пути изображения для передачи вечно томящих его мыслей о цели и смысле бытия. *Ю. Сазонова*

М. АЛДАНОВ. Живи как хочешь. Роман в двух томах. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1952.

«Роман, самый свободный изо всех видов искусства, должен был бы заключать в себе всё: политические, философские, метафизические рассуждения, мог бы переходить из одного периода времени в другой». Так, устами своего героя, писателя Яценко, Алданов опре-

деляет свои взгляды на сущность искусства. «Главное в том, чтобы художественное творчество было адэкватно жизни» и это доступнее всего роману, «особенно если объединить его с драмой» и если «не считаться с предписаниями теории словесности», которыми дорожат только издатели.

В «Живи как хочешь» Алданов осуществляет эти слова Яценко: в роман полностью введены две драмы, действие переносится из одного периода времени в другой и заключает в себе политические, философские и метафизические рассуждения героев. «Живи как хочешь» может относиться и к авторству: пиши как хочешь, как подсказывает тебе чувство. Эпиграфом к своему новому произведению Алданов взял слова Мопассана: «Разве существуют правила для писания романа».

Яценко считает, что в условиях советской жизни писать невозможно и потому в современной России нет литературы, а самая культура обеднена и принижена. Только выехав заграницу, Яценко начал писать, но он утешает себя тем, что в молчании накоплял силы, которые помогли ему сразу проявить себя во Франции. В противность обычаю, читатель сам может судить о пьесах Яценко, которые приводят в восхищение не только профессиональных ценителей — знаменитого импрессарио, видного дельца-финансиста, прославленного режиссера, лучших артистов, — но также и наиболее избалованную публику. Хвалебное обсуждение пьес раскрывает читателю их значение. Начинающему драматургу сразу предлагают самые завидные контракты, ищут его постоянного сотрудничества, указывают на «свежую струю», внесенную им в искусство. Яценко сам объясняет процесс своего творчества. В драмах он «активизирует» взятых из жизни персонажей, которые легко узнают себя в его сценических образах. Но жизнью для Яценко служит созданная Алдановым действительность, в которую, в свою очередь, введены лица, взятые из реальности подлинной. Создается таким образом тройная система зеркал, и в перспективе последовательных отражений отчетливее выступает сущность характеров и событий.

Иногда не только отдельные персонажи, но и целые куски современности переводятся в другую «тональность». Перенесенные в иную эпоху, знакомые фигуры и идеи выступают в свете признанного веками героизма. В этом смысле особенно интересно преображение Лафайета, сведенного с условного пьедестала и некоторыми чертами приближающегося к современному деятелю. Лафайет представлен стариком, сохранившим престиж прошлого и умеющим «вдохновенною» речью развеять укоры в том, что, будучи вождем и «главою заговора», в решительную минуту оказался вне опасности, о которой столько говорил раньше. Казавшиеся почти смехотворными в

своих речах заговорщики на деле были подлинными «Рыцарями Свободы», умевшими бестрепетно умирать за идею; — и Лафайет, в турне по Америке, пробуждает память о них.

«Всего выше в мире свобода, достиженье человеческою душою ее высших форм», записывает Яценко после собрания общества «Афины» у современного философа Дюммлера, который, в длинных монологах с цитатами и эпизодами, излагает свои «политические и метафизические» мысли о прошлом и настоящем. «Афины» являются в романе прототипом изображенного в пьесе Яценко тайного общества «Рыцарей Свободы».

Свобода сияет в далеком образе Америки, которая своим светом озаряет весь роман и притягивает к своим берегам всех действующих лиц. Только русской парижанке Тони не дано ступить на американскую почву и суждено, увидев гавань, вернуться назад. Красавица Тони, символически носящая алмазное ожерелье на шее, ощущает свою связь с прабабкой — ведьмой, соблазненной рыцарем и казненной за сношения с Князем Тьмы. Запись об ее процессе кажется Тони таинственной вестью о ее собственной судьбе. Одиноко несясь в каком-то водовороте несознанных желаний, не в силах прикрепиться любовью ни к одному из своих случайных спутников, ни к одной из чужих идей, Тони не знает жизни вне смутных видений, вызванных уколом шприца; и подобно одурманенной «маковыми головками» прабабке, идет на шабаш пожать холодную руку современного «Князя Тьмы». Тони «четырех измерений», и Яценко не может ввести ее в трехмерную действительность своих пьес. И так же признает над собой власть далекого предка Барон, в суеверном страхе убегающий при виде мистического «знака», которым казненный за сношения с ведьмой рыцарь возвещал гибель членам своего рода. Року подвластны лишь те, кто верит в него. Яценко клянется не вступать ни в какие компромиссы, клонящиеся к ограничению его внутренней свободы. В сущности он сам становится судьбою других, увлекая их за собой в орбиту своего писательского пути.

Любопытно толкование «вечно-женственного» в отражении зеркальной перспективы романа-пьесы. Стремление человека к «высшим формам» умеряется присутствием женщины, умеющей жить на земле, ориентироваться в любой обстановке, использовать любое положение, и забывать непоправимое; ее минутные измены и маленькие пороки лишь придают ее беззаботному облику бо́льшую притягательность. Подруга Яценко, — Надя в романе, Лина в пьесе, — приехав в Америку, тотчас осваивается с нею: при Лафайете умеет выменивать у индейцев соболя за виски, а у импрессарио Пемброка добывать контракт, не обладая талантом. Самое отсутствие у нее таланта делает ее более легкой и приятной подругой, чем была бы подлинная

артистка, отвлеченная собственной творческой работой. В условиях американского города Надя-Лина своеобразно отражает то понятие «женственности», какое находил в своих героинях Лев Толстой, открывая их примитивную связь с природой. Надя-Лина своей чрезмерной практичностью и суетливостью несколько смущает читателя, но нравится решительно всем действующим лицам в романе и пьесе, даже Лафайету, даже его сестре. Читателя все же успокаивает мысль, что связь ее с Яценко вряд ли будет длительной, и они лишь «останутся друзьями», как обещает в конце писатель.

Развитие романа Алданова заключается не столько в действии и в смене событий, сколько в панораме мыслей и в столкновении идей.

Ю. Сазонова.

П. Б. СТРУВЕ. Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности. Париж. 1925.

Boris Nolde. La formation de l'Empire russe: études, notes et documents. V. I. Paris. 1952.

В том, что обе эти книги появились в одном и том же году, можно видеть знаменательное совпадение. Обе были написаны выдающимися русскими учеными, достигшими широкой известности еще до революции и продолжавшими свою научную деятельность в эмиграции. Обе были задуманы, как работы широкого охвата, подведение итога многолетним исследованиям в области русской истории. Обе остались незаконченными и вышли в свет после смерти их авторов.

Книга П. Б. Струве, как на это указывает и ее несколько громоздкое заглавие, не ограничивается обсуждением социально-экономических сторон русского исторического развития. В письме к С. Л. Франку, напечатанному в настоящем издании, покойный автор говорит, что он поставил своей задачей «создать новый синтез всей русской истории». Из авторского предисловия, помеченного декабрем 1938 года, можно узнать о руководившей им при этом основной идее. Вся русская история представлялась ему как непрерывная борьба «почвенных сил свободы» со столь же почвенными «силами принуждения». Силы свободы начали преобладать в последнем, «всероссийском» периоде дореволюционной истории России (1800-1917), когда страна постепенно освобождалась «из уз тяглового уклада». Этот процесс был прерван революцией, в результате которой произошла «грандиозная реакция сил принуждения».

В соответствии с общим своим замыслом, автор говорит в опуб-

ликованных теперь частях этой «социально-экономической» истории и о таких более общих проблемах, как образование первого русского государства, начало национальной русской культуры, влияние монгольского завоевания и возвышение Москвы. Изложение доходит только до начала 16 века. К этим главам редакторы издания (сыновья покойного автора) добавили тесно с ними связанные очерки о русском феодализме и о происхождении наименования «Крестьянин», напечатанные самим П. Б. Струве еще в 1929 году. Весь этот материал составляет свыше трехсот страниц. Можно себе представить, какой монументальный характер имела бы последняя работа П. Б. Струве, если бы ему удалось довести ее до конца!

Трудно дать понятие о богатстве содержания этой книги в поневоле ограниченных пределах журнальной рецензии. Как все научные труды П. Б. Струве, она поражает сочетанием совершенно исключительной эрудиции со способностью к широким социологическим обобщениям. Отличается она также и характерным для П. Б. Струве самостоятельным подходом, который подчас приводит его к расхождению с другими авторитетными исследователями и к высказыванию вызывающих на споры взглядов. Укажу лишь несколько примеров. П. Б. Струве утверждает, что история России начинается только с 9-го века (на том основании, что нельзя «смешивать историю пространства с историей народа»). Это идет вразрез с тенденцией русской историографии последних десятилетий — и притом одинаково у советских и несоветских историков (напр. у М. И. Ростовцева и Г. В. Вернадского) — начинать ее на много веков раньше. Остроумная и для меня убедительная критика, которой П. Б. Струве подвергает «миф об исконном аграрном коммунизме» и «миф о первобытном народоправстве» древней Руси сталкивается одновременно и со славянофильскими течениями в дореволюционной русской историографии, и со многими утверждениями советских историков. Чрезвычайно интересно указание П. Б. Струве на то, что подъем Ростовско-Суздальской земли во второй половине 12 века происходил не на почве ее обособления от Юга, а напротив, на почве ее «всероссийской гегемонии». Это опять-таки расходится не только с концепцией, преобладающей среди украинских историков, но и со взглядами, довольно прочно укоренившимися в русской исторической литературе. Превосходна глава о Новгороде, в котором автор видит наиболее яркое выражение «аристократическо-плутократического» начала древней Руси. Ценно его указание на то, что в отличие от Венеции Новгород «никогда не мог подняться... до ранга и положения морской державы». В этом автор видит одну из причин его падения. Приведу еще одно, очень характерное для историко-социологических взглядов П. Б. Струве, заявление: если крушение северо-рус-

ских республик (Новгорода, Пскова и Вятки) означало для России потерю «очагов свободы, личной и коллективной», то именно потому, что в них «воплотились вовсе не демократические, а, наоборот, аристократические начала и силы».

Кроме глав из неоконченной «Социальной и экономической истории России» и примыкающих к ним очерков, редакторы перепечатали еще десять небольших статей П. Б. Струве по истории русской культуры, в свое время появившихся в разных эмигрантских изданиях. Приложенная к книге библиография печатных трудов П. Б. Струве, занимающая свыше 20-ти страниц, не притязает на полноту, но она все же дает достаточное представление о широте интересов и необыкновенной продуктивности покойного ученого.

Задача Б. Э. Нольде была несколько более ограниченной чем та, что поставил себе П. Б. Струве. Но и образование русской империи — тема достаточно широкая. Б. Э. Нольде задался целью проследить постепенное расширение территории России, начиная с середины 16 века, присоединение к ней новых земель с иноплеменным населением, а также их административное и экономическое освоение. Такой работы, которая охватывала бы этот процесс в целом, в русской исторической литературе до сих пор не было. Не богата она была и научными монографиями, посвященными отдельным частям империи. В отличие от английских историков, русские историки проявляли мало интереса к судьбам той империи, в которой они жили. Задуманная Б. Э. Нольде работа носила таким образом характер пионерского начинания. Тем обиднее, что смерть помешала ему ее закончить.

В опубликованном первом томе мы находим историю покорения и последующей организации средне-волжских и приуральских областей — включая территорию бывшего Казанского ханства, Башкирию и части Западной Сибири. Во втором томе, выход которого был обещан в декабре 1952 г., но который как будто еще не появился, должны были быть напечатаны главы, посвященные присоединению Крыма, Бессарабии и Кавказа. Это всё, что автор успел закончить до своей смерти (не во всех случаях, повидимому, в окончательно отделанном виде). Незатронутыми, таким образом, остались большая часть азиатских владений империи и, за исключением Бессарабии, ее западные области. Некоторым восполнением последнего может служить тот историко-юридический очерк (размером свыше 300 страниц), который вошел в состав появившейся в 1911 году книги Б. Э.

Нольде «Очерки русского государственного права». Но с тех пор до года смерти автора прошло 37 лет, и он несомненно подверг бы свою раннюю работу основательной переработке.

В отличие от П. Б. Струве, Б. Э. Нольде — по крайней мере, в уже напечатанных главах — не делает никаких широких обобщений. Метод его сводится к тщательному установлению фактической стороны событий и столь же тщательному анализу законодательных актов. Но некоторые обобщения вытекают из его текста сами собой, и уже на основании одного только первого тома можно судить об особенностях общего подхода автора к обсуждаемой им проблеме. В его книге нельзя найти отражения той своего рода романтической концепции, согласно которой русская империя сложилась в процессе самопроизвольного и стихийного народного движения (то, что обычно называлось «народной колонизацией») и в которой государственной политике отводилось второстепенное место. Б. Э. Нольде, напротив, подчеркивает руководящую роль правительства не только в завоевании и организации новых территорий, но и в их заселении и экономическом освоении. Нет у него и иллюзий насчет якобы мирного характера этого процесса, и он отводит должное место рассказу о том сопротивлении, которое оказывало распространению русского владычества население присоединенных областей. С другой стороны, ему одинаково чужды преувеличения и тех историков, которые настаивают на примитивно-хищническом характере русской имперской политики. Из фактов сообщаемых им в первом томе, видно, что даже в начальный период экспансии эта политика далеко не была такой примитивной, как это часто изображалось, и что центральное правительство уделяло много внимания проблемам внутренней организации вновь приобретенных территорий. При этом оно не раз делало, правда, не всегда успешные, попытки защитить туземное население и от злоупотреблений местных своих агентов и от давления со стороны русских переселенцев. Не была сплошь «хищнической» и его экономическая политика, в которой тоже были свои положительные, конструктивные стороны. В этой связи Б. Э. Нольде приводит интересные данные, свидетельствующие об экономическом подъеме средне-волжских и приуральских областей, после их присоединения к России, как в области земледелия, так и, в особенности, в горной промышленности.

В заключение следует отметить, что книга Б. Э. Нольде появилась в серии исторических работ, издаваемых парижским Institut d'Etudes Slaves, сыгравшим выдающуюся роль в развитии французского славяноведения.

М. Карпович

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК. Тюрьмы и ссылки. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1953, стр. 414. Цена 3 долл.

Пусть в «Тюрьмах и ссылках» Иванова-Разумника нет стройности и единства настроения, которые так выгодно отличают превосходную книгу Марголина. Это естественно: книга Иванова-Разумника писалась клочками, писалась более десяти лет, рукопись пряталась в СССР, где ее держать было опасно, продолжалась в немецком лагере Кониц, все это урывками, иногда — по горячим следам вчерашних истязаний, иной раз — под наплывом уже иных, немецких лагерных и военных переживаний. Но, может быть поэтому, благодаря этой встревоженности и неровности изложения, благодаря тому, что в этой книге Иванов-Разумник сам — герой страстного и взволнованного рассказа, — может быть благодаря этому, его книга и производит такое потрясающее впечатление.

А какой клад эта книга для исследователей литературы советского периода! Вот рассказ о сборнике «Неизданный Щедрин» и о передрягах его составителя и редактора. Там-же — рассказ об обязательных «марксических» предисловиях к книгам, иногда предисловиях наглых, иногда добрососедских, но обязательно констатирующих, что автор (или редактор издания), мол, не марксист, но... Рассказ о трехдневном пребывании Клюева в камере пыток ленинградского ГПУ, об аресте автора — по адресам в его записной книжке — в первые годы ЧК — Блока, Замятина, Ремизова, Петрова-Водкина и прочих. Не арестовали тогда только Федора Сологуба: не нашли по указанному в книжке адресу: приехали — а в квартире не Сологуб, а какой-то Тетерников*)...

Прекрасны портретные зарисовки населения ленинградских и московских камер следственных тюрем, всех этих вчерашних крупных коммунистов, а сегодня «врагов народа», инженеров и колхозников, журналистов и врачей, партийных деятелей и «бывших» людей.

Жаль, что в книге нет хорошего биографического очерка об авторе, вступительная статья кратка до предела, и что — но это уже совсем мелочь — перечень книг автора, приложенный к «Тюрьмам и ссылкам», назван почему-то «библиографией». ***Борис Филиппов***

Н. НАРОКОВ. Мнимые величины. Роман. Изд-во Имени Чехова. Нью-Йорк. 1953. (411 стр.).

Это интересная книга. «Недостаток» ее только в том, что до нее вышли два романа на ту же тему и оба имели заслуженный международный успех. Я имею ввиду «Darkness at noon» Артура Кёстлера и

*) Как известно фамилия Сологуб — псевдоним Ф .К. Тетерникова.

«L'Affaire Toulaeff» Виктора Сержа. Тема «Мнимых величин» та же — «большевизм и человек». В эмигрантской печати о романе Н. Нарокова уже было несколько положительных отзывов. Они трактовали «Мнимые величины», как бытовой советский роман. Думаю, что это неверно. Задача автора была значительно сложнее. Нароков дает не бытовой «разоблачительный» роман с «положительными» и «отрицательными» типами. Как и романы Кёстлера и Сержа, «Мнимые величины» роман проблемный. Отсюда все его достоинства и недостатки. Достоинства в том, что автор, захваченный большой темой т. н. «нового», по Кёстлеру, «неандертальского» человека, разрешает ее порой убедительно и интересно (не менее интересно, чем Кёстлер и Серж). Но порой «проблемность» романа превращает многие его страницы в некую «нравоучительность» и тогда его персонажи становятся не живыми людьми, а носителями добра (Евлалия) и зла (Любкин), при чем добро, конечно, побеждает. Было бы лучше, если б на протяжении *всего романа* читатель не видел этих «белых ниток» проблемности.

Центральная фигура романа — начальник Областного НКВД Любкин. Время действия — ежовщина. Но эта, прекрасно сделанная Нароковым, центральная фигура чекиста Любкина несколько неубедительно вставлена в раму ежовщины. Думаю, что и тут виновата «проблемность», потребовавшая дать в центре действия не неандертальского большевика, как Гледкин у Кёстлера, а Любкина, большевика «с трещинкой». Любкин же — это, скорее, тип большевика времен гражданской войны, родственник героя «Цемента», как раз тот тип («за что, братишки, боролись?»), который в дальнейшем ходе революции уничтожался, а не других уничтожал в эпоху ежовщины. Несоответствие героя эпохе — несколько мешает теме. Вот помощник Любкина — чекист Супрунов, это чисто неандертальская порода (некоторые эту породу называют Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus) и он совершенно на месте.

В своем романе Нароков дает ряд интересных диалогов между Супруновым и Любкиным. Не могу удержаться, чтобы не привести один, ввиду его полной злободневности в связи с делом освобождения врачей и наказанием Рюмина. При чем надо помнить, что роман вышел задолго до этого государственного «инцидента». Вот диалог:

«— Очень ребята зверствуют на следствиях-то? — совсем понизил голос Любкин, но в тоне его голоса был только деловой интерес, и ничего больше.

— Кто как! — сдвинул брови Супрунов. — Конечно, добиваются признаний, как умеют, но больше только бьют, а на всякие другие фокусы мало кто пускается. Бузук и Саламатов — те, действительно, неистовствуют, а остальные сдерживаются. Бьют, а между прочим оглядываются: а что, если потом за это отвечать придется?

Ведь ни приказа, ни разрешения нет.

— И не будет! — тихо, но сумрачно буркнул Любкин. — В случае чего на ребят всё свалят: превышали, мол, свою власть.

— То-то и оно-то.

— То-то и оно-то, — подтвердил Любкин. — С колокольни спрыгни и в сапоги ногами попади, не иначе».

Многие сцены романа хороши. Например, диалоги Любкина и Супрунова; пытки и составление «легенды» при допросе арестованного коммуниста Варискина; допрос Григория Михайловича, сексота из «бывших»; сцены между ним и его дочерью Евлалией, когда она узнает, что ее отец сексот, предавший ее мужа; и мн. др. Но есть сцены отдающие «театром ужасов». Например, сцена в камере смертников; сцена показательного расстрела; а сцена убийства энкаведиста в НКВД отдает кинематографом. Мы упрекнули бы также автора порой в неточности, а порой и в неряшливости языка. Нельзя писать: «открыла дверь английским замком», «в испуге всполашивалась», «сосала за сердце», «усмехнулся со своим презрительно-брезгливым видом», «сталпливались кучками», «барственной семьи», «оперся кулаком в колени» и многое другое. Это тем более досадно что у Нарокова много сцен, диалогов и описаний, где язык хорош, красочен, точен.

В целом «Мнимые величины» — книга талантливая и политически нужная. Она была бы лучше если бы из нее вырвать некоторые «белые нитки» нравоучительства.

Роман Гуль

А. А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. В защиту права. Изд-ство Имени Чехова. Нью-Йорк. 1952. 267 стр. Printed by Rausen Bros.

В защиту права. Так назвал А. А. Гольденвейзер сборник статей и речей, частью уже видевших свет, частью появляющихся впервые. Сборник распадается на три части. Первая состоит из трех этюдов, о праве у Толстого, Достоевского и Пушкина. Первый из них, самый длинный, представляется попыткой объяснить и в какой-то мере оправдать правовой нигилизм Толстого, задача, пожалуй, не совсем совместимая с общим заданием книги. Зато отличны этюды о Достоевском и Пушкине, особенно последний, прекрасно показывающий, как Пушкин умел сочетать служение свободе с уважением к закону. Мало известно приводимое в книге предсказание Пушкина о том, что после освобождения крестьян в России будут гласные процессы и суд присяжных. Вторая часть сборника посвящена вечной проблеме природы права. А. А. Гольденвейзеру представляется, что главные европейские языки, кроме английского, употребляя одно слово для обозначения права, как системы норм, и права в смысле личных притязаний, склоняют мыслителей придавать праву индивидуалистический и конфликтный характер. По мнению автора, идущего по следам

Дюги, центр тяжести в понятии права должен быть перенесен на обязанности, в которых отражается основной факт социальной жизни, сотрудничество. В конечном счете, по его мнению, — право — это норма социального долга личности. В таком случае, основные институты права, государство и собственность могут получить социальный характер, с упором на обязанности.

Думается, что попытка А. А. Гольденвейзера в значительной мере основана на недоразумении. Формальное определение понятия, в данном случае права, должно покрывать все модальности соответствующего явления, в данном случае и право индивидуалистическое, и право социальное. Нет спора, что в праве неразрывно сочетаются и обязанности; и потому сделать ли в определении права упор на права или на обязанности — по существу безразлично. Ведь права можно в первую очередь приписать коллективу, а не личности, и тем сделать право социальным.

По существу, определение А. А. Гольденвейзера относится не столько к праву, сколько к совокупности социальных норм, среди которых право составляет один из классов. Современные определения права исходят из этого факта и сосредотачивают внимание на нахождении видового отличия права. По этому вопросу имеются большие разногласия. Правовыми почитаются нормы, признаваемые государственной властью, или всякой организованной общественной властью, или, напротив того, только судами. Автор косвенно склоняется к первому решению, отождествляя государство с правом.

Третья часть сборника посвящена адвокатуре. Она начинается с речи, произнесенной в годовщину судебных уставов, в которой автор высказал трезвый взгляд на адвокатуру; по его мнению, она не может претендовать на функцию борьбы за право или защиты невиновности, а должна выполнять функцию содействия нахождению юридической истины, которая рождается из столкновения диаметрально противоположных тезисов. Далее следуют прекрасные характеристики М. М. Винавера, С. А. Андреевского и О. О. Грузенберга.

Книга написана хорошим языком и легко читается.

Н. С. Тимашев

MARIE NOËLE KELLY: Mirror to Russia. Country Life Limited, London 1952. (248 p.) 21 shillings.

MARIE NOËLE KELLY: Picture Book of Russia, compiled by Lady Kelly during her travels in the Soviet Union 1949-1951. London 1953. (66 plates) 16 shillings.

О России писалось и пишется много. Большинство книг о России, вышедших за последние годы, Россию и русский народ не очень жаловали. Поэтому приятно отметить произведение, написанное без надменной предвзятости. Леди Келли — жена великобританского посла

в Москве — опубликовала том путевых заметок. В нем она не мудрствуя лукаво, с чувством большой симпатии к русскому народу, просто и увлекательно описала свое двухлетнее пребывание в Москве.

Но книга охватывает не только центр, а и провинцию и даже такие далекие места, как Грузия. Страстная любительница искусства вообще, и архитектуры, в частности, Келли добилась разрешения на поездки из Москвы в другие города, где посещала монастыри, дворцы, храмы, и куда после второй мировой войны, кроме нее не ступала нога иностранца. Русское зодчество пленило ее; оно и является главной темой ее обеих книг.

Одна из них («Зеркало России») иллюстрирована 62 фотографиями, что делает ее чрезвычайно привлекательной. Фотография-фронтиспис снята в красках: Донской Монастырь, темно-красные стены, опушенные снегом, чудесным силуэтом вырисовываются на зимнем голубом небе. Картина полна настроения и будит такой рой воспоминаний, что перелистывая книгу, невольно несколько раз к ней возвращаешься.

Леди Келли не ограничивается поверхностным описанием богатств, которые ей пришлось видеть. Она изучает и их историю; она знает, когда та или иная церковь была построена и кем. Она понимает, отмечает и восторгается их архитектурными особенностями. Она интересуется судьбой фресок Андрея Рублева во Владимирена-Клязьме, историей Андреевского зала в Кремле (где теперь заседает Верховный Совет), внимательно изучает сходство церкви Вседержителя в Константинополе со Св. Софией в Новгороде; знает, в каком состоянии были церкви и памятники старины в до-революционной России, и часто их сравнивает. К архитектурным и художественным описаниям Келли добавляет и бытовые сценки, которые рассказывает живо и увлекательно. Так, например, в Ростове Ярославском леди Келли и ее муж пошли осматривать Спасо-Яковлевский монастырь, теперь превращенный в казармы. Келли, хотя и с опаской, но всё же сняла фотографию. «За нами погнался взбешенный сержант. Он, конечно, хотел меня арестовать и конфисковать мой аппарат. Телохранитель моего мужа (надо думать из НКВД, *В. К.*) вступился за меня и сказал, что, как это ни странно, я действительно интересуюсь старыми церквами и культурой, а не военными секретами...». Сцен такого рода в книге не мало. В Москве, в Загорске, в Угличе, в Пскове, в Муроме, в Новгороде, в Киеве, в Останкине, в Павловске, в Царском Селе, в Грузии, в Ясной Поляне — всюду леди Келли пытливо вглядывается в архитектуру и в то же время замечает и уличные сценки.

С захватывающим интересом читаются описания теперешнего состояния старинных памятников и дворцов. В Царском Селе целиком сохранилась Камеронова Галлерея (1780) с лестницей, ведущей к

пруду, и Агатовый Павильон. Мы узнаем, что от неподражаемых интерьеров во дворце Царского Села почти ничего не сохранилось. Исчез и «Зал Арабесок», и «Серебряный кабинет», и «Табакерка» и «Комната Рафаэля». Этот перечень важен, ибо в советских книгах перечисление разрушений часто бывает завуалировано.

«Зеркало России» — хорошая, честная, увлекательная книга.

Другая книга («Книга фотографий России») — прекрасное добавление к очеркам о России, хотя она и представляет собою совершенно самостоятельное целое. Перелистывая ее, нельзя насмотреться на эти шатровые церкви и маленькие часовни, громады соборов и звонниц, на пятиглавые храмы, на еще сохранившиеся памятники искусства и на те, которые разрушаются из-за отсутствия присмотра.

Полна символики одна из первых фотографий, на которой снят большой колокол церкви Вознесения в селе Коломенском (1532 г.); о ней в старину говорили: «Зело чудна высотою, и красотою, и светлостью, таковы не бывали прежде сего на Руси...». Церковь теперь превращена в музей. «Великолепный бронзовый колокол, — пишет леди Келли, — лежит одинокий на лужайке, неподалеку от храма. Он словно символ разрушения многих памятников прошлого России, приглушенных голосов верующих».

О том же говорит Покровская церковь в Угличе, где покосившийся крест центрального купола словно молит о пощаде. Трещины на закомарах, выпавшие кирпичи из стен — печальное зрелище. «А ведь, это всё можно и должно было сохранить». Запущены лужайки подмосковной усадьбы Останкино (1796), чудесного творения Кваренги и Баженова, превращенного теперь в музей «жизни бывших правящих классов». Особняком стоит единственная цветная фотография — Сергиевского Монастыря в Загорске, помещенная на обложке. Снимок сделан зимой; крыши церковок, темно-красных с синими куполами, запушены снегом; голые деревья, заезженный снег мостовой, убогая кляча, впряженная в сани; немногочисленные прохожие в валенках. Ни одного автомобиля, ничего современного. Словно фотография снята давным-давно, — только отсутствие креста на одном из куполов выдает время.

Не менее интересны и волнующи бытовые фотографии: полубезпризорные мальчишки, одетые в невероятные лохмотья «счастливого детства сталинских времен», курящие папиросы, данные им леди Келли. Корова в Москве на бульваре, среди домов типа «модерн», на поводу у колхозницы, отдыхающей на скамье; группа ребятишек в Пскове, катающих яйца; десяток босых ребят, зимой, около развалившейся избы, крытой соломой. В Клину леди Келли сфотографировала деревянную дачу Чайковского, со стоящим на ступеньках Владимиром Давыдовым, племянником композитора. В Ясной Поляне

сделана фотография запущенного сада и покрытой цветами могилы Л. Н. Толстого.

Без преувеличения можно сказать, что все 130 фотографий волнуют, уводят в прошлое, заставляют вспоминать прошлое и задумываться о будущем.

Вера Коварская

НИНА ФЕДОРОВА. Семья. Роман. Изд-во Имени Чехова. Нью Йорк. 1952. 350 стр. Цена 2.75.

«Семья» Нины Федоровой — очень талантливая, волнующая книга. Несмотря на то, что этот роман первым изданием вышел в 1940 г. на английском языке, сразу доставив автору видное место среди американских писателей*), он весь в лучшей традиции русской литературы. Поэтому хочется приветствовать его появление в русском автопереводе. «Семья» была переведена на многие языки и всюду имела большой успех. Тема книги — судьба русской эмигрантской семьи, очутившейся после революции в британской концессии Тянцзина до и после японской оккупации 1937 г. Сердце Семьи, бьющееся за всех ее членов с одинаковой жалостью и любовью — это чудная русская Бабушка, чья доброта, терпение, жертвенность и смирение ставят ее, как и других, уже вымирающих русских бабушек и нянь, если не наравне, то ближе всего к лучшим образцам русской святости. Описание приготовления к смерти и смерти Бабушки принадлежит к лучшим страницам книги, может быть, благодаря особенной пронзительности подробностей совершенно нищей и совершенно чистой изгнаннической жизни. Замечательно превращение нервной и глубоко-несчастной Матери в Бабушку после ее смерти: переход от сугубо-личной жизни-горя к жизни для других. «Самый большой дар — это преданность и нежность. Только они и соединяют людей в Семью», — говорит Мать дочери Лиде в конце книги. И мы понимаем, что эти слова относятся не только к Семье-герою романа, но ко всем нам — «одной единственной во вселенной человеческой Семье», и что за маленькими жизнями членов Семьи, изображенных с поразительной экономией экспрессивных средств и с необычайной выразительностью, стоят другие жизни, и другие события уже мирового масштаба. Экономия средств, красок, лиризма — как бы в соответствии с содержанием трудной повседневной жизни героев — дает автору возможность художественно-просто разрешать сложные задачи, никогда не впадая в фальшивый тон. Кроме острой наблюдательности Нина Федорова одарена и чувством юмора. Простота и мастерство — одинаково характеризуют книгу.

---

*) Нина Федорова получила за книгу «Семья» десятитысячную премию американского журнала «Atlantic Monthly» в 1940 году. Книга имела большой успех и выдержала много изданий.

Из всех образов «Семьи», пожалуй, наименее убедителен, несмотря на всю свою привлекательность, образ Лиды, чересчур идеализированный, и образ Пети, может быть, слишком схематичный. Гораздо интереснее Дима, младший мальчик, детскую психологию которого автору удалось одинаково верно изобразить и в ее повседневных проявлениях, и в момент большого перелома в его жизни, когда пароход уносит его, усыновленного богатой англичанкой, навстречу неизвестному будущему. Очень хороши также еврейский врач-идеалист и жена его Роза, язык которой прекрасно индивидуализирован, гадалка Милица и китаец Кан. Менее убедительны муж и жена Черновы, может быть, потому, что профессор Чернов несет, так сказать, философскую функцию книги.

Книгу закрываешь с надеждой на возможность возрождения той высокой человечности, которая на весь мир прославила русскую литературу, и которая еще не совсем умерла и в наше время.

З. Юрьева

To the Actor by Michael Chekhov. Harper and Bros. N. Y. C. 1953 (201 p.).

Книга артиста МХТ М. А. Чехова озаглавлена — «Актеру». Но не только актер, а и любой читатель найдет в этой книге глубокий и волнующий материал и почувствует М. А. Чехова, как мыслителя и художника.

В театральном мире книгу М. А. ждали. Эту книгу я прочитала с огромным волнением. И с таким же волнением хочу поделиться с русским читателем моими впечатлениями о ней. Имя М. А. Чехова, как актера, давно уже приобрело славу и в России и вне ее. Он не только гениальный артист, он любимый всеми артист. Не только незабываемы созданные им сценические образы, но они как-то особенно незабвенны. И у каждого зрителя, присутствовавшего при исполнении Чеховым той или другой из бесконечно разнообразных его ролей, всегда было безошибочное чувство, что это изумительно, это правда, это настоящее искусство. И вот об искусстве актера и театра и говорит М. А. в своей книге, давая глубоко продуманный анализ творческого процесса актера. В предисловии автор говорит, что книга его результат многих лет работы, попыток и дерзаний проникнуть за ту таинственную завесу, которая скрывает «процесс творчества». Эта работа М. А. началась много лет назад, еще в России, в Московском Художественном театре. Страница за страницей Чехов ведет читателя в самую глубину человеческой души. Он пишет увлекательно, просто, с чеканной ясностью мысли.

Книга «Актеру» для всякого актера явится откровением и осветит путь к пониманию процесса творческого перевоплощения,

который впервые был систематизирован К. С. Станиславским и произвел переворот в подходе к театральной работе не только в России, но и в Америке и в Европе. М. А. Чехов много работал со Станиславским, вместе с ним переживал трудности и наслаждения исканий и откровений. Он был радостью и гордостью Станиславского, который любил его талант и любил его самого. Впитав в себя идеи Станиславского, Чехов, как истинный художник, стремительно шел дальше по пути исканий, стараясь глубже заглянуть за «таинственную завесу». Непрестанно работая с актерами, уча, режиссируя, применяя и проверяя свои опыты — и в России, и после, в «Театре Чехова» в Англии, и в Америке, он пришел к открытию, еще не применявшемуся в технике актера. Книга «Актеру» написана об этом открытии и последовательно развивает идеи Чехова в театральном искусстве.

Психологический жест, — говорит он, — воображаемый центр лучеиспускания! Ритмические волны! И много других терминов для актера дает он в своей книге и увлекательно показывает путь, как их достигнуть. Первую главу М. А. начинает так: «Известен факт, что тело человека (физиология) и психология влияют одно на другое и находятся в постоянном взаимоотношении...». Так как актер выражает творческие идеи на сцене при помощи тела, он обязан стремиться к достижению полной гармонии между психологией и выразительным инструментом ее — телом. Актерское тело должно пройти особое развитие, психологически обоснованное для искусства актера. (Известные физические упражнения и танцы полезны сами по себе, но они недостаточны). И Чехов дает весь путь этого развития, открывая этим новые горизонты. Книга иллюстрирована рисунками художника С. Ремизова, выражающими наглядно идеи автора. Гармония между телом актера и психологией. Физическое перевоплощение через психологические побуждения. «Психологический жест», как ключ к перевоплощению актера в ту личность, тот тип, который дан автором пьесы. Актер проникает в самую психологию этой личности, а не изображает «тип», если он овладевает развитием психологического жеста, детально описанного в первых пяти главах книги. Дальше Чехов говорит о «творческой индивидуальности». Актер, который хочет быть артистом сцены, должен стремиться к индивидуальному, его собственному пониманию и интерпретации ролей, а не подражать актерам, создавшим известные образы. Как пример, он берет роль Гамлета. Шекспир написал только одного Гамлета. Но может быть столько Гамлетов, сколько есть талантливых актеров, вдохновленных желанием дать их собственную интерпретацию Гамлета. В главе девятой — «Различные виды представлений» — необычайно интересен подход Чехова к различным

категориям пьес и ролей от трагедии до клоунады. Многие актеры, соприкоснувшись с этим подходом, обогатят свою технику. Глава за главой, книга читается с захватывающим интересом. Особенно поражают анализы пьес — «Король Лир» и «Death of a Salesman».

В главе «Заключительные заметки» М. А. дает возможность читателю близко подойти к его мировоззрению. Чехов говорит, что «в наш век, когда направление жизни, мыслей и желаний становится всё более материалистическим», для культурного прогресса необходимо, чтобы жизнь и особенно искусство питались не только тем, что объяснимо, ощутимо и видимо — материальным, но тем, что не материально, необъяснимо, но что... существует! Через всю книгу проходят своеобразные интересные мысли М. А. Чехова об искусстве. Книга имеет большой успех у американцев. Хочется, чтобы русские, владеющие английским языком, прочитали ее.

Варвара Булгакова

В. С. ЯНОВСКИЙ. Портативное бессмертие. Изд-во Им. Чехова, Нью Йорк, 1953. (Стр. 270).

Парижское «дно», трущобы — открытые Бальзаком, воспетые Бодлером, и позднее многими вновь «воссозданные». Это «Париж» Яновского. Атмосфера книги — сюрреалистическая. А язык — то нарочито-небрежный, то назойливо-затейливый. Всюду многословие, скопления деепричастий или прилагательных. «И всё вместе, похотливо *оборачиваясь, высовываясь, наклоняясь, скользя* и *проваливаясь,* среди гула и смрада — изрыгали хулу». А вот наудачу выбранный портрет «женщины-дантиста». Она — «нечто *пестро-телесно-пышноволосое, птичье-звериное, пушисто-рыбье* (одновременно флора и фауна, натюр-морт и ню)». Что же, конечно, остроумно, но при постоянном повторении этого рода гротески убивают. Читатель уже давно умер от сюрреалистического мышьяка, а отравитель всё еще обсыпает им окачурившуюся жертву. Есть монотония кошмаров в «Портативном бессмертии». Но бесспорно, что Яновский талантлив. Удачно начало романа. Русско-французский доктор дает приют испанской девушке и ее болезненному брату, подростку. Они нищие потерянные дети — в этом огромном, сюрреалистическом Париже. Они всего боятся, не доверяют никому. Чтобы приручить их — доктор надувает щеки, выкатывает глаза, «всячески стремясь придать себе комический облик». И потерянные дети улыбаются. Они поверили доброму «гримаснику». Пусть эта интермедия мелодраматична и несколько напоминает вступление к «Униженным и оскорбленным». Здесь Яновский обнаруживает ум сердца и убеждает простотой, скрытой, но всё же ощутимой в стиле — очень уж непростом.

Кроме кошмаров и сентиментов — еще дидактика. Всех поте-

рянных детей (добрых и злых) спасает орден друзей человечества. Вожак — чудо-доктор Жан Дут. Сначала он лечит почти по Фрейду, под которого подводится «целостное, религиозно-нравственное мировоззрение» (это значит — т. н. русское светское богословие, Достоевский и эмигрантские 30-ые годы — Бердяев, группы «Нового Града» и «Круга»). Рыцари ордена — космополитическая богема Парижа — японский профессор, мулат с Ямайки, потомок ирландского святого, некто Спиноза из Галиции и др. Доктор Жан изобретает чудодейственные лучи любви — Омега. Их направляют на консьержа. «Лицо его издавна скотское, плотоядно-равнодушное (ножки и кошельки) ожило, бледная радостная усмешка преобразила губы. Стройный, помолодевший, с каким-то лучистым нимбом вокруг тела, сияя, весь похожий на столб, он, кланяясь, приближается к нищему, простирает свои объятия...». Далее такие же чудеса в публичном доме. Шведы и арабы, англичане и японцы прикрывают голых женщин пиджаками и кланяются им в ноги, умоляя простить. Наконец, зоологический сад: под влиянием лучей Омега лев кротко пощипывает листья, газель облизывает старую пантеру, медведь блаженно сопит в ноздри зебре. А «волк оцепенел около удивленно выкатившего глаза барашка...». Здесь легко улыбнуться. Но есть прелесть, очарование в этой беспомощной утопии. Да, незащищенный от улыбок и даже хохота (пошлого!), рай Яновского убедительнее его ада. Очень уж бойко-самоуверенно отравляет он своими адско-парижскими ядами. А вот в преображение человечества любовью сам плохо верит и неожиданно убеждает. Это — удача. Его беспомощная утопия вдруг воскрешает читателя, им же убитого где-то на 100-ой или 50-ой странице. Пусть *смешны* эти чудеса в публичном доме или в зоологическом саду, а всё-таки сказка — слушается, приковывает. Белый гротеск просто занимательнее черного...

Как прежде говаривали критики, книга Яновского — *спорная*. И хорошо, что спорная! И хорошо даже, что в ней много «от лукавого». Это — жизнь, творчество. Эту книгу прочесть стоит.

Ю. Иваск

Вестник Русского Христианского Студенческого Движения. Париж. № 26 и 27. 1953 г.

Хотя «Вестник» РСХД существует с 1926-го года, известен он был до сих пор лишь ограниченному кругу читателей. Но если до войны целью журнала было «обслуживание» преимущественно членов Студенческого Движения, то, возродившись после перерыва военных лет, «Вестник» в значительной мере обновил свое лицо. Почти не будет преувеличением сказать, что сейчас он всё больше и больше стремится заполнить место, оставшееся пустым после ис-

чезновения в 1939-м году «Пути». Это «расширение горизонтов» нужно приветствовать и поддержать. У русской эмиграции много церковных изданий. Но ни одно из них не выходит за пределы «церковности» в узком смысле этого слова. В «Вестнике» радует интерес к вопросам культуры, стремление глубоко поставить и в свете православия обсудить главные вопросы жизни. Это дает надежду на сохранение и продолжение славных традиций русской религиозной мысли. Пускай сейчас мы находим в журнале много крох со стола старших, уже ушедших мыслителей — Г. П. Федотова, С. Л. Франка, П. Б. Струве и др. Наряду с ними всё чаще появляются и новые имена: чувствуется, что традиция не прервется. Много внимания в «Вестнике» уделяется и Западу, а также не русским аспектам православия. Журнал интересен и для богослова и для всякого, кто живет «приматом духа». «Вестник» не нашел еще своей окончательной формулы. Но общее его направление и дух не могут не радовать всех тех, для кого дороги судьбы русской христианской культуры. Будущее же его зависит от того, найдет ли он поддержку среди бо́льшего, чем доселе, числа читателей.

А. Ш.

Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ. Последняя книга. Изд-во Им. Чехова. Нью Йорк. 1952 г.

В творчестве Бориса Пантелеймонова слышны отголоски то Бунина, то Ремизова, то Мамина-Сибиряка, то Пришвина. Но это только отголоски. За всем тем — Пантелеймонов самостоятельный, оригинальный художник, со своим ощущением жизни. Своеобразие Пантелеймонова — в его стиле. «Цыгане» и «Деревня» это не циклы рассказов, а, вернее, две повести. В первой рассказано о скитаниях цыганенка Гэто, во второй — о мытарствах учителя Васина. Действие обеих повестей развивается на фоне деревенской жизни, встревоженной предчувствием близящейся революции. «В ночи какой-нибудь чужой планеты сейчас видно землю — переливается на диске зеленый свет. Сонмы жизней уходят в вечность. И в этом луче — вместе жизнь Васина, леса, деревни, радость и страдание, любовь и мука. Ломаной стрелой отражается в водах чужой планеты луч земли». В этих словах Пантелеймонов как бы дал сжатое содержание всей своей книги, которой было суждено стать его последней книгой. Пантелеймонов умеет быть увлекательным. Прозрачность и ясность рисунка его рассказов, необычные художественные образы, это качества Пантелеймонова, как писателя.

Вяч. Завалишин.

С. И. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ. Глухой приход. Изд-во Им. Чехова. Нью Йорк. 1952 г. Printed by Rausen Bros.

«Русский народ христианин не только в силу православия своих убеждений, но благодаря чему-то более задушевному, чем убежде-

ния», писал Ф. И. Тютчев в статье «Россия и революция». Эти слова как нельзя лучше определяют основную идею сборника рассказов Гусева-Оренбургского. В рассказах «Казак Колодин» и «Суд» убедительно показано, как чувство сострадания смягчает ожесточенность человеческих душ, причем переход гнева в умиротворенность представлен, как своего рода закономерность, как особенность русского национального характера. Изображая духовенство в рассказах «Глухой приход» и «Дьякон и смерть», писатель не боится внести в повествование элементы юмора. России Гусева-Оренбургского больше нет — изменились и страна, и люди, и уклад их жизни. В этой книге запечатлена Россия навеки ушедшая, рассказы написаны давно, но они перечитываются с интересом.

Вяч. Завалишин.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ ДЛЯ ОТЗЫВА

От Изд-ва Имени Чехова

Е. ГАГАРИН. *Возвращение корнета.* Н. И. 1953 (289 стр.).

Н. ЛОССКИЙ. *Достоевский и его христианское миропонимание.* Н. И. 1953 (406 стр).

М. П. БОК. *Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине.* Н. И. 1953 (347 стр.).

БОРИС ЗАЙЦЕВ. *Древо жизни.* Н. И. 1952 (203 стр.).

Н. ВАЛЕНТИНОВ. *Встречи с Лениным.* Н. И. 1953 (356 стр.).

ДЖЭМС АДАМС. *Американская эпопея.* Н. И. 1953 (409 стр.).

И. ИЛЬФ и Е. ПЕТРОВ. *Двенадцать стульев.* Н. И. 1953 (368 стр.).

А. И. ДЕНИКИН. *Путь русского офицера.* Н. И. 1953 (381 стр.).

А. ДАМАНСКАЯ. *Миранда.* Роман. Н. И. 1953 (243 стр.).

В. М. ЧЕРНОВ. *Перед бурей.* Воспоминания. Н. И. 1953 (412 стр.).

Н. З. РЫБИНСКИЙ. *Страшная эпидемия.* Комедия в 1 действии. Изд. Н. Н. Мартьянова. Н. И. 1953.

Вестник Института по изучению истории и культуры СССР. Т. III. Мюнхен. 1953 (181 стр.).

Проф. Б. ПЕТРОВ. *Философская нищета марксизма.* 1952 (179 стр.).

Прот. Н. АФАНАСЬЕВ. *Трапеза Господня.* Изд. Религиозно-Педагогического Кабинета при Православном Богосл. Институте в Париже. 1952. (92 стр.).

Прот. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. Наша эпоха. Изд. Религиозн.-Педаг. Кабинета при Православ. Бог. Инст-те в Париже. 1952 (47 стр.).

НИКОЛАЙ БЕЛОЦВЕТОВ. *Жатва.* 3-я кн. стихов. Париж. 1953 (44 стр.).

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ. *Лицом к лицу.* Стихи. Изд. «Рифма». Париж. 1953 (46 стр.).

ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ. *Долг жизни.* 3-я кн. стихов. Изд. автора. Торонто. 1953 (57 стр.).

Е. ПЕЧАТКИНА. *Перекати-поле.* Роман в 3-х частях. Аугсбург. 1953 (284 стр.).

С. МЕЛЬГУНОВ. *Как большевики захватили власть.* Изд. «Возрождение». Париж. 1953 (390 стр.).

АГЛАЯ ШИШКОВА. *Чужедаль.* Стихи. Изд. «Посев». 1953 (39 стр.).

ИЛЬЯ СУРГУЧЕВ. *Детство императора Николая II.* Изд. «Возрождение» 1953 (151 стр.).

Soviet Science. Edited by Ruth C. Christman. Washington, D. C. 1952 (108 p.).

Dr. I. LAZAREVITCH. *La médicine en URSS.* Préface du Dr. Jean Paraf. "Les Iles d'or." Paris. (217 p.).

Russian Ecclesiastical Art. A Descriptive Catalogue of the de Savitsch Collection, compiled by N. Scheffer. Washington, D. C. 1951 (89 p.).

WITOLD GOMBROWICZ. *Trans-Atlantyk. Ślub.* Instytut Literacki. Paryż. 1953 (317 s.).

GEORGE ORWELL. 1984. *Instytut Literacki.* Paryż. 1953 (254 s.).

CZESŁAW MIŁOSZ. *Zniewolony Umysł.* Instytut Literacki. Paryż. 1953 (236 s.).

Kultura. Paryż. Décembre. 1952 (393 s.).

DMITRY CIZEVSKY. *Outline of Comparative Slavic Literatures.* Survey of Slavic Civilization. Volume I. American Academy of Arts and Sciences. Boston, Mass. 1952 (144 p.).

Запісы Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва. № 1-2. Нью Иорк. 1952.

The Northern Sea Route. Its Place in Russian Economic History Before 1917, by *Constantin Krypton.* Research Program on the USSR. N. Y. 1953 (194 pp.).

VYACHESLAV IVANOV. *Freedom and the tragic life.* A study in Dostoevsky. The Noonday Press. N. Y. 1952 (166 pp.).

JAMES BURNHAM. *Bierny opór czy wyzwolenie?* Institut Literacki. Paryż. 1953. (205 s.).

Bulletin Mensuel de la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique. No. 12. Bruxelles. 1952.

STUART RAMSAY TOMPKINS. *The Russian Mind. From Peter the Great Through the Enlightenment.* University of Oklahoma Press. 1953 (291 pp.).

LEONE PACINI SAVOJ. Il "Revisore" e la "Follia Mistica" Gogoliana. Estratto da "Ricerche Slavistiche." (18 p.).

ИСПРАВЛЕНИЯ

Указываем на необходимые исправления. В кн. 32-й Нов. Журн. в поэме Вл. Корвин-Пиотровского «Бродяга Глюк», на стр. 123-й, шестая строка снизу должна быть: «Он был похож на кормчего и бурю». И на стр. 121-й, 8-я строка сверху: — «И будет музыка. Исчезнет всё», должно быть: — «И будет музыка. Исчезнет вес».

В той же книге Нов. Журн. в стихотворении Д. Кленовского «Как больно утром позабыть» последняя строка: — «Изнемогаем возле них», должно быть: — «Изнемогает возле них».

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

продается в Бразилии в магазине «Книга»

LIVRARIA "KNIGA"

rua SAO-BANTO, 217, I andar, sala 124

SAO-PAULO, BRASIL

Цена 30 крузейро

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1953-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

"The New Review", 223 West 105th St. New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня